

К. С.
P179772

73

В. Г. КОРОЛЕНКО

**ОЧЕРКИ
и
РАССКАЗЫ**



*Огиз
Гослитиздат
1944*



В. Г. КОРОЛЕНКО

ОЧЕРКИ и РАССКАЗЫ

ОГИЗ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

МОСКВА 1944

СОДЕРЖАНИЕ

Сон Макара	3
Чудная	28
Мороз	43
«Лес шумит»	65
Река играет	85
Приёмьш (гл. III очерков «В пустынных местах») .	110
На Сеже (гл. IV очерков «В пустынных местах») . .	118
Без языка	123
Парадокс	249
Моё первое знакомство с Диккенсом	265

Редактор *К. Малышева*

Подписано к печати 17/II 1944 г. А2685. Печ. л. 17. Уч.-авт. л. 17,78.
Тираж 25000 экз. Заказ № 5984. Цена 7 руб.

1-я Образцовая типография треста «Полиграфкнига» ОГПЗ
при СНК РСФСР. Москва, Валуевая, 28.

СОН МАКАРА

(Святочный рассказ)

I

Этот сон видел бедный Макар, который загнал своих телят в далёкие, угрюмые страны, — тот самый Макар, на которого, как известно, валятся все шишки.

Его родина — глухая слободка Чалган — затерялась в далёкой якутской тайге. Отцы и деды Макара отвоевали у тайги кусок промёрзшей землицы, и хотя угрюмая чаща всё ещё стояла кругом враждебной стеной, они не унывали. По расчищенному месту побежали изгороди, стали скирды и стога, разрастались маленькие дымные юртёнки; наконец, точно победное знамя, на холмике из середины поселка выстрелила к небу колокольня. Стал Чалган большою слободой.

Но пока отцы и деды Макара воевали с тайгой, жгли её огнём, рубили железом, сами они незаметно дичали. Женясь на якутках, они перенимали якутский язык и якутские нравы. Характеристические черты великого русского племени стирались и исчезали.

Как бы то ни было, всё же мой Макар твёрдо помнил, что он коренной чалганский крестьянин. Он здесь родился, здесь жил, здесь же предполагал умереть. Он очень гордился своим званием и иногда ругал других «погаными якутами», хотя, правду сказать, сам не отличался от якутов ни привычками, ни образом жизни. По-русски он говорил мало и довольно плохо, одевался в звериные шкуры, носил на ногах «торбас», питался в обычное время одною лепёшкой с настоем кирпичного чая, а в

праздники и в других экстренных случаях съедал топленого масла именно столько, сколько стояло перед ним на столе. Он ездил очень искусно верхом на быках, а в случае болезни призывал шамана, который, беснуясь, со скрежетом кидался на него, стараясь испугать и выгнать из Макара засевавшую хворь.

Работал он страшно, жил бедно, терпел голод и холод. Были ли у него какие-нибудь мысли, кроме непрерывных забот о лепёшке и чае?

Да, были.

Когда он бывал пьян, он плакал. «Какая наша жизнь, — говорил он. — господи боже!» Кроме того, он говорил иногда, что желал бы всё бросить и уйти на «гору». Там он не будет ни пахать, ни сеять, не будет рубить и возить дрова, не будет даже молотить зерно на ручном жорнове. Он будет только спасаться. Какая это гора, где она, он точно не знал; знал только, что гора эта есть, во-первых, а во-вторых, что она где-то далеко, — так далеко, что оттуда его нельзя будет добыть самому тойону-исправнику... Податей платить, понятно, он также не будет...

Трезвый он оставлял эти мысли, быть может, сознавая невозможность найти такую чудную гору; но пьяный становился отважнее. Он допускал, что может не найти настоящую гору и попасть на другую. «Тогда пропадать буду», говорил он, но всё-таки собирался: если же не приводил этого намерения в исполнение, то, вероятно, потому, что поселенцы-татары продавали ему всегда скверную водку, настоенную, для крепости, на махорке, от которой он вскоре впадал в бессилие и становился болен.

II

Дело было в канун Рождества, и Макару было известно, что завтра большой праздник. По этому случаю его томило желание выпить, но выпить было не на что: хлеб был в исходе; Макар уже задолжал у местных купцов и у татар. Между тем, завтра большой праздник, работать нельзя — что же он будет делать, если не напьётся? Эта мысль делала его несчастным. Какая его жизнь! Даже в большой зимний праздник он не выпьет одну бутылку водки!

Ему пришла в голову счастливая мысль. Он встал и надел свою рваную *сону* (шубу). Его жена, крепкая, жилистая, замечательно сильная и столь же замечательно

безобразная женщина, знавшая насквозь все его нехитрые помышления, угадала и на этот раз его намерение.

— Куда, дьявол? Опять один водку кушать хочешь?

— Молчи! Куплю одну бутылку. Завтра вместе выпьем.

Он хлопнул её по плечу так сильно, что она покачнулась и лукаво подмигнула. Таково женское сердце: она знала, что Макар непременно её надуёт, но поддалась обаянию супружеской ласки.

Он вышел, поймал в *аласе* старого лысанку, привёл его за гриву к саням и стал запрягать. Вскоре лысанка вынес своего хозяина за ворота. Тут он остановился и, повернув голову, вопросительно поглядел на погружённого в задумчивость Макара. Тогда Макар дёрнул левою вожжою и направил коня на край слободы.

На самом краю слободы стояла небольшая юртёнка. Из неё, как и из других юрт, поднимался высоко, высоко дым камелька, застилая белую, волнующуюся массою холодные звёзды и яркий месяц. Огонь весело переливался, отсвечивая сквозь матовые льдины. На дворе было тихо.

Здесь жили чужие, дальние люди. Как попали они сюда, какая непогода кинула их в далёкие дебри, Макар не знал и не интересовался, но он любил вести с ними дела, так как они его не прижимали и не очень стояли за плату.

Войдя в юрту, Макар тотчас же подошёл к камельку и протянул к огню свои изящные руки.

— Ча! — сказал он, выражая тем ощущение холода.

Чужие люди были дома. На столе горела свеча, хотя они ничего не работали. Один лежал на постели и, пуская кольца дыма, задумчиво следил за его завитками, видимо, связывая с ними длинные нити собственных дум. Другой сидел против камелька и тоже вдумчиво следил, как перебегали огни по нагсревшему дереву.

— Здорово, — сказал Макар, чтобы прервать тяготившее его молчание.

Конечно, он не знал, какое горе лежало на сердце чужих людей, какие воспоминания теснились в их головах в этот вечер, какие образы чудились им в фантастических переливах огня и дыма. К тому же у него была своя забота.

Молодой человек, сидевший у камелька, поднял голову и посмотрел на Макара смутным взглядом, как будто не узнавая его. Потом он тряхнул головой и быстро поднялся со стула.

— А, здорово, здорово, Макар! Вот и отлично. Напьюсь с вами чаю?

Макару предложение понравилось.

— Чаю? — переспросил он. — Это хорошо!.. Вот, брат, хорошо... Отлично!

Он стал живо разоблачаться. Сняв шубу и шапку, он почувствовал себя развязнее, а увидав, что в самоваре запылали уже горячие угли, обратился к молодому человеку с излиянием:

— Я вас люблю, верно!.. Так люблю, так люблю... Ночи не сплю...

Чужой человек повернулся, и на лице его появилась горькая улыбка.

— А, любишь? — сказал он. — Что же тебе надо?

Макар замялся.

— Есть дело, — ответил он. — Да ты почём узнал?.. Ладно. Ужо, чай выпью, скажу.

Так как чай был предложен Макару самими хозяевами, то он счёл уместным пойти далее.

— Нет ли жареного? Я люблю, — сказал он.

— Нет.

— Ну, ничего, — сказал Макар успокоительным тоном, — съем в другой раз... Верно? — переспросил он, — в другой раз?

— Ладно.

Теперь Макар считал за чужими людьми в долгу кусок жареного мяса, а у него подобные долги никогда не пропадали.

Через час он опять сел в свои дровни. Он добыл целый рубль, продав вперёд пять возов дров на сходных сравнительно условиях. Правда, он клялся и божился, что не пропьёт этих денег сегодня, а сам намеревался это сделать немедленно. Но что за дело? Предстоящее удовольствие заглушало укоры совести. Он не думал даже о том, что пьяному ему предстоит жестокая трёпка от обманутой верной супруги.

— Куда же ты Макар? — крикнул, смеясь, чужой человек, видя, что лошадь Макара, вместо того, чтобы ехать прямо, свернула влево, по направлению к татарам.

— Тпру-у!.. Тпру-у!.. Видишь, конь проклятый какой... куда едет! — оправдывался Макар, всё-таки крепко натягивая левую вожжу и незаметно подхлестывая лысанку правой.

Умный конёк, помахивая укоризненно хвостом, тихо поковылял в требуемом направлении, и вскоре скрип Макаровых полозьев затих у татарских ворот.

У татарских ворот стояли на привязи несколько коней с высокими якутскими сёдлами.

В тесной избе было душно. Резкий дым махорки стоял целой тучей, медленно вытягиваемый камельком. За столами и на скамейках сидели приезжие якуты; на столах стояли чашки с водкой; кое-где помещались кучки играющих в карты. Лица были потны и красны. Глаза игроков дико следили за картами. Деньги вынимались и тотчас же прятались по карманам. В углу, на соломе, пьяный якут покачивался сидя и тянул бесконечную песню. Он выводил горлом дикие скрипучие звуки, повторяя на разные лады, что завтра большой праздник, а сегодня он пьян.

Макар отдал деньги, и ему дали бутылку. Он сунул её за пазуху и незаметно для других отошёл в тёмный угол. Там он наливал чашку за чашкой и тянул их одна за другою. Водка была горькая, разведённая, по случаю праздника, водой более чем на три четверти. Заго махорки, видимо, не жалели. У Макара каждый раз захватывало на минуту дыхание, и в глазах ходили какие-то багровые круги.

Вскоре он оьянел. Он тоже опустил на солому и, обхватив руками колени, положил на них отяжелевшую голову. Из его горла сами собой полились те же нелепые скрипучие звуки. Он пел, что завтра праздник, и что он выпил пять возов дров.

Между тем, в избе становилось всё теснее и теснее. Входили новые посетители, якуты, приехавшие молиться и пить татарскую водку. Хозяин увидел, что скоро нехватит всем места. Он встал из-за стола и окинул взглядом собрание. Взгляд этот проник в тёмный угол и увидел там якута и Макара.

Он подошёл к якуту и, взяв его за шиворот, вышвырнул вон из избы. Потом подошёл к Макару. Ему, как местному жителю, татарин оказал больше почёта: широко отворив двери, он поддал бедняге сзади ногою такого леща, что Макар вылетел из избы и ткнулся носом прямо в сугроб снега.

Трудно сказать, был ли он оскорблён подобным обращением. Он чувствовал, что в рукавах у него снег, снег на лице. Кое-как выбравшись из сугроба, он поплёлся к своему лысанке.

Луна поднялась уже высоко. Большая Медведица стала

опускать хвост книзу. Мороз крепчал. По временам, на севере, из-за тёмного полукруглого облака, вставали, слабо играя, огненные столбы начинавшегося северного сияния.

Лысанка, видимо, понимавший положение хозяина, осторожно и разумно поллёлся к дому. Макар сидел на дровнях, покачиваясь, и продолжал свою песню. Он пел, что выпил пять возов дров, и что старуха будет его колотить. Звуки, вырывавшиеся из его горла, скрипели и стонали в вечернем воздухе так уныло и жалобно, что у чужого человека, который в это время взобрался на юрту, чтобы закрыть трубу камелька, стало от Макаровой песни ещё тяжелее на сердце. Между тем, лысанка вынес дровни на холмик, откуда видны были окрестности. Снега ярко блестели, сблितые лунным сиянием. Временами свет луны как будто таял, снега темнели и тотчас же на них переливался отблеск северного сияния. Тогда казалось, что снежные холмы и тайга на них то приближались, то опять удалялись. Макару ясно виднелась под самую тайгой снежная плешь Ямалахского холмика, за которым в тайге у него поставлены были ловушки для всякого лесного зверя и птицы.

Это изменило ход его мыслей. Он запел, что в ловушку его попала лисица. Он продаст завтра шкуру, и старуха не станет его колотить.

В морозном воздухе раздался первый удар колокола, когда Макар вошёл в избу. Он первым словом сообщил старухе, что у них в плашку попала лисица. Он совсем забыл, что старуха не пила вместе с ним водки, и был сильно удивлён, когда, невзирая на радостное известие, она немедленно нанесла ему ногою жестокий удар пониже спины. Затем, пока он повалился на постель, она ещё успела толкнуть его кулаком в шею.

Над Чалганом, между тем, нёсся, разливаясь далеко, далеко, торжественный праздничный звон...

IV

Он лежал на постели. Голова у него горела. Внутри жгло точно огнём. По жилам разливалась крепкая смесь водки и табачного настоя. По лицу текли холодные струйки талого снега, такие же струйки стекали и по спине.

Старуха думала, что он спит. Но он не спал. Из головы у него не шла лисица. Он успел вполне убедиться, что она попала в ловушку, он даже знал, в которую именно.

Он её видел, — видел, как она, прищемлённая тяжёлой плахой, роет снег когтями и старается вырваться. Лучи луны, продираясь сквозь чащу, играли на золотой шерсти. Глаза зверя сверкали ему навстречу.

Он не выдержал и, встав с постели, направился к своему верному лысанке, чтобы ехать в тайгу.

Что это? Неужели сильные руки старухи схватили за воротник его *соны*, и он опять брошен на постель?

Нет, вот он уже за слободою. Полозья ровно поскрипывают по крепкому снегу. Чалган остался сзади. Сзади несётся торжественный гул церковного колокола, а над тёмною чертой горизонта на светлом небе мелькают чёрными силуэтами вереницы якутских всадников в высоких остроконечных шапках. Якуты спешат в церковь.

Между тем, луна опустилась, а вверху, в самом зените, стало белесоватое облачко и засияло переливчатым фосфорическим блеском. Потом оно как будто разорвалось, растянулось, прыснуло, и от него быстро потянулись в разные стороны полосы разноцветных огней, между тем как полукруглое тёмное облачко на севере ещё более потемнело. Оно стало чёрно, чернее тайги, к которой приближался Макар.

Дорога вилась между мелкою частою порослью. Направо и налево подымались холмы. Чем далее, тем выше становились деревья. Тайга густела. Она стояла безмолвная и полная тайны. Голые деревья лиственниц были опущены серебряным инеем. Мягкий свет сполоха, продираясь сквозь их вершины, ходил по ней, кое-где открывая то снежную полянку, то лежащие трупы разбитых лесных гигантов, запущённых снегом... Мгновение — и всё опять тонуло во мраке, полном молчания и тайны.

Макар остановился. В этом месте, почти на самую дорогу, выдвигалось начало целой системы ловушек. При фосфорическом свете ему была ясно видна невысокая городьба из валежника; он видел даже первую плаху — три тяжёлые длинные бревна, упёртые на отвесном колу и поддерживаемые довольно хитрою системой рычагов с волосяными верёвочками.

Правда, это были чужие ловушки; но ведь лисица могла попасть и в чужие. Макар торопливо сошёл с дровней, оставил умного лысанку на дороге и чутко прислушался.

В тайге ни звука. Только из далёкой, невидной теперь слободы несся попрежнему торжественный звон.

Можно было не опасаться. Владелец ловушек, Алёшка чалганец, сосед и кровный враг Макара, наверное был

теперь в церкви. Не было видно ни одного следа на ровной поверхности недавно выпавшего снега.

Он пустился в чащу, — ничего. Под ногами хрустит снег. Плахи стоят рядами, точно ряды пушек с открытыми жерлами, в безмолвном ожидании.

Он прошёл взад и вперёд, — напрасно. Он направился опять на дорогу.

Но, чу!.. Лёгкий шорох... В тайге мелькнула красноватая шерсть, на этот раз в освещённом месте, так близко!.. Макар ясно видел острые уши лисицы; её пушистый хвост вилял из стороны в сторону, как будто заманивая Макара в чащу. Она исчезла между стволами, в направлении Макаровых ловушек, и вскоре по лесу пронёсся глухой, но сильный удар. Он прозвучал сначала отрывисто, глухо, потом как будто отдался под навесом тайги и тихо замер в далёком овраге.

Сердце Макара забилося. Это упала плаха.

Он бросился, пробираясь сквозь чащу. Холодные ветви били его по глазам, сыпали в лицо снегом. Он спотыкался; у него захватывало дыхание.

Вот он выбежал на просеку, которую некогда сам прорубил. Деревья, белые от инея, стояли по обеим сторонам, а внизу, суживаясь, маячила дорожка и в конце её насторожилось жерло большой плахи... Недалеко...

Но вот на дорожке, около плахи, мелькнула фигура, мелькнула и скрылась. Макар узнал чалганца Алёшку: ему ясно была видна его небольшая коренастая фигура, согнутая вперёд, с походкой медведя. Макару казалось, что тёмное лицо Алёшки стало ещё темнее, а большие зубы оскалились ещё более, чем обыкновенно.

Макар чувствовал искреннее негодование. «Вот подлец!.. Он ходит по моим ловушкам». Правда, Макар и сам сейчас только прошёл по плахам Алёшки, но тут была разница... Разница состояла именно в том, что когда он сам ходил по чужим ловушкам, он чувствовал страх быть застигнутым; когда же по его плахам ходили другие, он чувствовал негодование и желание самому настичь нарушителя его прав.

Он бросился наперерез к упавшей плахе. Там была лисица. Алёшка своею развалистою медвежьей походкой направлялся туда же. Надо было поспевать ранее.

Вот и лежащая плаха. Под нею краснеет шерсть прихлопнутого зверя. Лисица рылась в снегу когтями именно так, как она ему виделась прежде, и так же смотрела ему навстречу своими острыми, горящими глазами.

— Тытымá (не тронь)!.. Это мое! — крикнул Макар Алёшке.

— Тытымá! — отдался, точно эхо, голос Алёшки... — Моё!

Они оба побежали в одно время и торопливо, наперебой, стали подымать плаху, освобождая из-под неё зверя. Когда плаха была приподнята, лисица поднялась также. Она сделала прыжок, потом остановилась, посмотрела на обоих чалганцев каким-то насмешливым взглядом, потом, загнув морду, лизнула прищемленное бревном место и весело побежала вперёд, приветливо виляя хвостом.

Алёшка бросился было за нею, но Макар схватил его сзади за полу *соны*.

— Тытымá! — крикнул он. — Это моё! — и сам побежал вслед за лисицей.

— Тытымá! — опять эхом отдался голос Алёшки, и Макар почувствовал, что тот схватил его, в свою очередь, за *сону* и в одну секунду опять выбежал вперёд.

Макар обозлился. Он забыл про лисицу и устремился за Алёшкой.

Они бежали всё быстрее. Ветка лиственницы сдёрнула шапку с головы Алёшки, но тому некогда было подымать её: Макар уже настигал его с яростным криком. Но Алёшка всегда был хитрее бедного Макара. Он вдруг остановился, повернулся и нагнул голову. Макар ударился в неё животом и кувыркнулся в снег. Пока он падал, проклятый Алёшка схватил с головы Макара шапку и скрылся в тайге.

Макар медленно поднялся. Он чувствовал себя окончательно побитым и несчастным. Нравственное состояние было отвратительно. Лисица была в руках, а теперь... Ему казалось, что в потемневшей чаще она насмешливо вильнула ещё раз хвостом и окончательно скрылась.

Потемнело. Белесоватое облачко чуть-чуть виднелось в зените. Оно как будто тихо таяло, и от него, как-то устало и томно, лились ещё замиравшие лучи сияния.

По разгорячённому телу Макара бежали целые потоки острых струек талого снега. Снег попал ему в рукава, за воротник *соны*, стекал по спине, лился за торбаса. Проклятый Алёшка унёс с собой его шапку. Рукавицы он потерял где-то на бегу. Дело было плохо. Макар знал, что лютый мороз не шутит с людьми, которые уходят в тайгу без рукавиц и без шапки.

Он шёл уже долго. По его расчётам он давно должен бы уже выйти из Ямалаха и увидеть колокольню, но он

всё кружил по тайге. Чаша, точно заколдованная, держала его в своих объятиях. Издали доносился всё тот же торжественный звон. Макару казалось, что он идёт на него, но звон всё удалялся, и по мере того, как его переливы доносились все тише и тише, в сердце Макара вступало тупое отчаяние.

Он устал. Он был подавлен. Ноги подкашивались. Его избитое тело ныло тупою болью. Дыхание в груди захватывало. Руки и ноги коченели. Обнажённую голову стягивало точно раскалёнными обручами.

«Пропадать буду, однако!» — всё чаще и чаще мелькало у него в голове. Но он всё шёл.

Тайга молчала. Она только смыкалась за ним с каким-то враждебным упорством и нигде не давала ни просвета, ни надежды.

«Пропадать буду, однако!» — всё думал Макар.

Он совсем ослаб. Теперь молодые деревья прямо, без всяких стеснений, били его по лицу, издеваясь над его беспомощным положением. В одном месте на прогалину выбежал белый ушкән (заяц), сел на задние лапки, повёл длинными ушами с чёрными отметинками на концах и стал умываться, делая Макару самые дерзкие рожи. Он давал ему понять, что он отлично знает его, Макара, знает, что он и есть тот самый Макар, который настроил в тайге хитрые машины для его, зайца, гибели. Но теперь он над ним издевался.

Макару стало горько. Между тем, тайга всё оживлялась, но оживлялась враждебно. Теперь даже дальние деревья протягивали длинные ветви на его дорожку и хватили его за волосы, били по глазам, по лицу. Тетерева выходили из тайных логовищ и уставлялись в него любопытными круглыми глазами, а косачи бегали между ними, с распущенными хвостами и сердито оттопыренными крыльями, и громко рассказывали самкам про него, Макара, и про его козни. Наконец, в дальних чашах замелькали тысячи лисьих морд. Они тянули воздух и насмешливо смотрели на Макара, поводя острыми ушами. А зайцы становились перед ними на задние лапки и хохотали, докладывая, что Макар заблудился и не выйдет из тайги.

Это было уже слишком.

«Пропадать буду!» — подумал Макар и решил сделать это немедленно.

Он лёг в снег.

Мороз крепчал. Последние переливы сияния слабо мерцали и тянулись по небу, заглядывая к Макару сквозь

вершины тайги. Последние отголоски колокола доносились с далёкого Чалгана.

Сияние полыхнуло и погасло. Звон стих.

И Макар умер.

V

Как это случилось, он не заметил. Он знал, что из него должно что-то выйти, и ждал, что вот-вот оно выйдет... Но ничего не выходило.

Между тем, он сознавал, что уже умер, и потому лежал смирно, без движения. Лежал он долго, так долго, что ему надоело.

Было совершенно темно, когда Макар почувствовал, что его кто-то толкнул ногою. Он повернул голову и открыл сомкнутые глаза.

Теперь лиственницы стояли над ним смиренные, тихие, точно стыдясь прежних проказ. Мохнатые ели вытягивали свои широкие, покрытые снегом, лапы и тихо, тихо качались. В воздухе так же тихо садились лучистые снежинки.

Яркие добрые звёзды заглядывали с синего неба сквозь частые ветви и как будто говорили: «вот, видите, бедный человек умер».

Над самым телом Макара, толкая его ногою, стоял старый попик Иван. Его длинная ряса была покрыта снегом; снег виднелся на меховом *бергесе* (шапке), на плечах, в длинной бороде попа Ивана. Всего удивительнее было то обстоятельство, что это был тот самый попик Иван, который умер назад тому четыре года.

Это был добрый попик. Он никогда не притеснял Макара насчет руги, никогда не требовал даже денег за требы. Макар сам назначал ему плату за крестины и за молебны и теперь со стыдом вспомнил, что иногда платил мало, а порой не платил вовсе. Поп Иван и не обижался; ему требовалось одно: всякий раз надо было поставить бутылку водки. Если у Макара не было денег, поп Иван сам посылал за бутылкой, и они пили вместе. Попик напивался непременно до положения риз, но при этом дрался очень редко и не сильно. Макар доставлял его, беспомощного и беззащитного, домой на попечение матушки-попады.

Да, это был добрый попик, но умер он нехорошею смертью. Однажды, когда все вышли из дому и пьяный попик остался один лежать на постели, ему вздумалось

покурить. Он встал и, шатаясь, подошёл к огромному, жарко натопленному камельку, чтобы закурить у огня трубку. Он был слишком уж пьян, покачнулся и упал в огонь. Когда пришли домохадцы, от попа остались лишь ноги.

Все жалели доброго попа Ивана; но так как от него остались одни только ноги, то вылечить его не мог уже ни один доктор в мире. Ноги похоронили, а на место попа Ивана назначили другого.

Теперь этот попик, в целом виде, стоял над Макаром и поталкивал его ногою.

— Вставай, Макарушко, — говорил он. — Пойдём-ка.

— Куда я пойду? — спросил Макар с неудовольствием.

Он полагал, что раз он «пропал», его обязанность — лежать спокойно и ему нет надобности итти опять по тайге, бродя без дороги. Иначе зачем было ему пропадать?

— Пойдем к большому Тойону¹.

— Зачем я пойду к нему? — спросил Макар.

— Он будет тебя судить, — сказал попик скорбным и несколько умилённым голосом.

Макар вспомнил, что действительно после смерти надо итти куда-то на суд. Он это слышал когда-то в церкви. Значит, попик был прав. Приходилось подняться.

И Макар поднялся, ворча про себя, что даже после смерти не дают человеку покоя.

Попик шёл впереди. Макар за ним. Шли они всё прямо. Лиственницы смиренно сторонились, давая дорогу. Шли на восток.

Макар с удивлением заметил, что после попа Ивана не остаётся следов на снегу. Взглянув себе под ноги, он также не увидел следов: снег был чист и гладок, как скатерть.

Он подумал, что теперь ему очень удобно ходить по чужим ловушкам, так как никто об этом не может узнать; но попик, угадавший, очевидно, его сокровенную мысль, повернулся к нему и сказал:

— *Кобысь* (брось, оставь)! Ты не знаешь, что тебе достанется за каждую подобную мысль.

— Ну, ну! — ответил недовольно Макар. — Уж нельзя и подумать! Что ты нынче такой стал строгий? Молчи ужё!..

Попик покачал головой и пошёл дальше.

¹ *Тойон* — господин, хозяин, начальник.

— Далеко ли итти? — спросил Макар.

— Далеко, — ответил попик сокрушённо.

— А чего будем есть? — спросил опять Макар с беспокойством.

— Ты забыл, — ответил попик, повернувшись к нему, — что ты умер и что теперь тебе не надо ни есть, ни пить.

Макару это не очень понравилось. Конечно, это хорошо в том случае, когда нечего есть, но тогда уж надо бы лежать так, как он лежал тотчас после своей смерти. А итти, да ещё итти далеко, и не есть ничего, это казалось ему ни с чем не сообразным. Он опять заворчал.

— Не ропщи! — сказал попик.

— Ладно! — ответил Макар обиженным тоном, но сам продолжал жаловаться про себя и ворчать на дурные порядки: «Человека заставляют ходить, а есть ему не надо! Где это слыхано?»

Он был недоволен всё время, следуя за попом. А шли они, повидимому, долго. Правда, Макар не видел ещё рассвета, но, судя по пространству, ему казалось, что они шли уже целую неделю: так много они оставили за собой падей и сопок¹, рек и озёр, так много прошли они лесов и равнин. Когда Макар оглядывался, ему казалось, что тёмная тайга сама убегает от них назад, а высокие снежные горы точно таяли в сумраке ночи и быстро скрывались за горизонтом.

Они как будто поднимались всё выше. Звёзды становились всё-больше и ярче. Потом из-за гребня возвышенности, на которую они поднялись, показался краешек давно закатившейся луны. Она как будто торопилась уйти, но Макар с попиком её нагоняли. Наконец она вновь стала подниматься над горизонтом. Они пошли по ровному, сильно приподнятому месту.

Теперь стало светло, — гораздо светлее, чем при начале ночи. Это происходило, конечно, оттого, что они были гораздо ближе к звёздам. Звёзды, величиною каждая с яблоко, так и сверкали, а луна, точно дно большой золотой бочки, сияла, как солнце, освещая равнину от края и до края.

На равнине совершенно явственно виднелась каждая снежинка. По ней пролегалo множество дорог, и все они сходились к одному месту на востоке. По дорогам шли и ехали люди в разных одеждах и разного вида.

¹ *Падь* — ущелье, овраг между горами; *сопка* — остроконечная гора.

Вдруг Макар, внимательно всматривавшийся в одного всадника, свернул с дороги и побежал за ним.

— Постой, постой! — кричал попик, но Макар даже не слышал. Он узнал знакомого татарина, который шесть лет назад увёл у него пегого коня, а пять лет назад скончался. Теперь татарин ехал на том же пегом коне. Конь так и взвивался. Из-под копыт его летели целые тучи снежной пыли, сверкавшей разноцветными переливами звездных лучей. Макар удивился при виде этой бешеной скачки, как мог он, пеший, так легко догнать конного татарина. Впрочем, завидев Макара в нескольких шагах, татарин с большою готовностью остановился. Макар запальчиво напал на него.

— Пойдём к старосте! — кричал он. — Это мой конь. Правое ухо у него разрезано... Смотри, какой ловкий!.. Едет на чужом коне, а хозяин идёт пешком, точно нищий.

— Постой! — сказал на это татарин: — Не надо к старосте. Твой конь, говоришь? Ну, и бери его! Проклятая животина! Пятый год еду на ней, и всё как будто ни с места... Пешие люди то и дело обгоняют меня; хорошему татарину даже стыдно.

И он занёс ногу, чтобы сойти с седла, но в это время запыхавшийся попик подбежал к ним и схватил Макара за руку.

— Несчастный! — вскричал он, — что ты делаешь? Разве не видишь, что татарин хочет тебя обмануть?

— Конечно, обманывает, — вскричал Макар, размахивая руками, — конь был хороший, настоящая хозяйская лошадь... Мне давали за неё сорок рублей ещё по третьей траве... Не-ет, брат! Если ты испортил коня, я его зарезу на мясо, а ты заплатишь мне чистыми деньгами. Думаешь, что — татарин, так и нет на тебя управы?

Макар горячился и кричал нарочно, чтобы собрать вокруг себя побольше народу, так как он привык бояться татар. Но попик остановил его.

— Тише, тише, Макар! Ты всё забываешь, что ты уже умер... Зачем тебе конь? Да притом разве ты не видишь, что пешком ты подвигаешься гораздо быстрее татарина? Хочешь, чтоб тебе пришлось ехать целых тысячу лет?

Макар смекнул, почему татарин так охотно уступал ему лошадь.

«Хитрый народ!» — подумал он и обратился к татарину.

— Ладно ужò! Поезжай на коне, а я, брат, сделаю на тебя прощение.

Татарин сердито нахлобучил шапку и хлестнул коня. Конь взвился, клубы снега посыпались из-под копыт, но пока Макар с попом не тронулись, татарин не уехал от них и пяди.

Он сердито плюнул и обратился к Макару:

— Послушай, *догór* (приятель), нет ли у тебя листочка махорки, страшно хочется курить, а свой табак я выкурил уже четыре года назад.

— Собака тебе приятель, а не я! — сердито ответил Макар. — Видишь ты: украл коня и просит табаку! Пропадай ты совсем, мне и то не будет жалко.

И с этими словами Макар тронулся далее.

— А ведь напрасно ты не дал ему листок махорки, — сказал ему поп Иван. — За это на суде Тойон простил бы тебе не менее сотни грехов.

— Так что ж ты не сказал мне этого ранее? — огрызнулся Макар.

— Да уж теперь поздно учить тебя. Ты должен был узнать об этом от своих попов при жизни.

Макар осердился. От попов он не видал никакого толку: получают ругу, а не научили даже, когда надо дать татарину листок табаку, чтобы получить отпущение грехов. Шутка ли: сто грехов... и всего за один листочек!.. Это ведь чего-нибудь стоит!

— Постой, — сказал он. — Будет с нас одного листочка, а остальные четыре я отдам сейчас татарину. Это будет четыре сотни грехов.

— Оглянись, — сказал попик.

Макар оглянулся. Сзади расстилалась только белая пустынная равнина. Татарин мелькнул на одну секунду далекою точкой. Макару казалось, что он увидел, как белая пыль летит из-под копыт его пегашки, но через секунду и эта точка исчезла.

— Ну, ну, — сказал Макар. — Будет татарину и без табаку ладно. Видишь ты: испортил коня, проклятый!

— Нет, — сказал попик, — он не испортил твоего коня, но конь этот краденый. Разве ты не слышал от стариков, что на краденном коне далеко не уедешь?

Макар действительно слышал это от стариков, но так как во время своей жизни видел нередко, что татары уезжали на краденых конях до самого города, то, понятно, он старикам не давал веры. Теперь же он пришёл к убеждению, что и старики говорят иногда правду.

И он стал обгонять на равнине множество всадников. Все они мчались так же быстро, как и первый. Кони ле-

тели, как птицы, всадники были в поту, а между тем, Макар то и дело обгонял их и оставлял за собою.

Большую частью это были татары, но попадались и коренные чалганцы; некоторые из последних сидели на краденых быках и подгоняли их талинками.

Макар смотрел на татар враждебно и каждый раз ворчал, что этого им ещё мало. Когда же он встречался с чалганцами, то останавливался и благодушно беседовал с ними: всё-таки это были приятели, хоть и воры. Порой он даже выражал своё участие тем, что, подяв на дороге талинку, усердно подгонял сзади быков и коней; но лишь только сам он делал несколько шагов, как уже всадники оставались сзади чуть заметными точками.

Равнина казалась бесконечною. Они то и дело обгоняли всадников и пеших людей, а между тем, вокруг всё казалось пусто. Между каждыми двумя путниками лежали как будто целые сотни или даже тысячи вёрст.

Между другими фигурами Макару попался незнакомый старик, он был, очевидно, чалганец; это было видно по лицу, по одежде, даже по походке, но Макар не мог припомнить, чтоб он когда-либо прежде его видел. На старике была рваная *сома*, большой ухастый *бергес*, тоже рванный, кожаные старые штаны и рваные телячьи торбасá. Но что хуже всего, — несмотря на свою старость, он тащил на плечах ещё более древнюю старуху, ноги которой волочились по земле. Старик трудно дышал, заплетался и тяжело налегал на палку. Макару стало его жалко. Он остановился. Старик остановился тоже.

— *Калсè* (говори)! — сказал Макар приветливо.

— Нет, — ответил старик.

— Что слышал?

— Ничего не слышал.

— Что видел?

— Ничего не видал.

Макар помолчал немного и тогда уже счёл возможным расспросить старика, кто он и откуда плетётся.

Старик назвалсá. Давно уже, — сам он не знает, сколько лет назад, — он оставил Чалган и ушёл на «гору» спасаться. Там он ничего не делал, ел только морошку и корни, не пахал, не сеял, не молот на жёрнове хлеба и не платил податей. Когда он умер, то пришёл к Тойону на суд. Тойон спросил, кто он и что делал. Он рассказал, что ушёл на «гору» и спасалсá. «Хорошо, — сказал Тойон, — а где же твоя старуха? Поди, приведи сюда твою старуху». И он пошёл за старухой, а старуха перед

смертью побиравалась, и её некому было кормить, и у неё не было ни дома, ни коровы, ни хлеба. Она ослабела и не может волочить ног. И он теперь должен тащить к Тойону старуху на себе.

Старик заплакал, а старуха ударила его ногою, точно быка, и сказала слабым, но сердитым голосом:

— Неси!

Макару стало ещё более жаль старика, и он порадовался от души, что ему не удалось уйти на «гору». Его старуха была громадная, рослая старуха, и ему нести её было бы ещё труднее. А если бы, вдобавок, она стала пинать его ногою, как быка, то, наверное, скоро заездила бы до второй смерти.

Из сожаления он взял было старуху за ноги, чтобы помочь догору, но едва сделал два-три шага, как должен был быстро выпустить старухины ноги, чтоб они не остались у него в руках. В одну минуту старик с своей ношей исчезли из виду.

В дальнейшем пути не встречалось более лиц, которых Макар удостоил бы своим особенным вниманием. Тут были воры, нагруженные, как вьючная скотина, краденым добром и подвигавшиеся шаг за шагом; толстые якутские тойоны тряслись, сидя на высоких сёдлах, точно башни, задевая за облака высокими шапками. Тут же, рядом, вприпрыжку бежали бедные *комночиты* (работники), поджарые и лёгкие, как зайцы. Шёл мрачный убийца, весь в крови, с дико блуждающим взором. Напрасно кидался он в чистый снег, чтобы смыть кровавые пятна. Снег мгновенно обагрался кругом, как кипень, а пятна на убийце выступали яснее, и в его взоре виднелись дикое отчаяние и ужас. И он всё шёл, избегая чужих испуганных взглядов.

А маленькие детские души то и дело мелькали в воздухе, точно птички. Они летели большими стаями, и Макара это не удивляло. Дурная, грубая пища, грязь, огонь камельков и холодные сквозняки юрт выжили их из одного Чалгана чуть не сотнями. Поровнявшись с убийцей, они испуганной стаей кидались далеко в сторону, и долго ещё после того слышался в воздухе быстрый тревожный звон их маленьких крыльев.

Макар не мог не заметить, что он подвигается сравнительно с другими довольно быстро, и поспешил приписать это своей добродетели.

— Слушай, *агабыт* (отец), — сказал он, — как ты думаешь? Я хоть и любил при жизни выпить, а человек был хороший. Бог меня любит...

Он пытливо взглянул на попа Ивана. У него была задняя мысль: выведать кое-что от старого попика. Но тот сказал кратко:

— Не гордись! Уже близко. Скоро узнаешь сам.

Макар и не заметил раньше, что на равнине как будто стало светать. Прежде всего из-за горизонта выбежали несколько светлых лучей. Они быстро пробежали по небу и потушили яркие звёзды. И звёзды погасли, а луна закатилась. И снежная равнина потемнела.

Тогда над нею поднялись туманы и стали кругом равнины, как почётная стража.

И в одном месте, на востоке, туманы стали светлее, точно воины, одетые в золото.

И потом туманы заколыхались, золотые воины наклонились долу.

И из-за них вышло солнце и стало на их золотистых хребтах и оглянуло равнину.

И равнина вся засияла невиданным ослепительным светом.

И туманы торжественно поднялись огромным хороводом, разорвались на западе и, колеблясь, понеслись кверху.

И Макару казалось, что он слышит чудную песню. Это была как будто та самая, давно знакомая песня, которую земля каждый раз приветствует солнце. Но Макар никогда ещё не обращал на неё должного внимания и только в первый раз понял, какая это чудная песня.

Он стоял и слушал и не хотел идти далее, а хотел вечно стоять здесь и слушать...

.....

Но поп Иван тронул его за рукав.

— Войдём, — сказал он. — Мы пришли.

Тогда Макар увидел, что они стоят у большой двери, которую раньше скрывали туманы.

Ему очень не хотелось идти, но, делать нечего, он повиновался.

VI

Они вошли в хорошую, просторную избу, и только войдя сюда, Макар заметил, что на дворе был сильный мороз. Посредине избы стоял камелёк чудной резной работы, из чистого серебра, и в нём пылали золотые поленья, давая ровное тепло, сразу проникавшее всё тело. Огонь этого чудного камелька не резал глаз, не жёг, а

только грел, и Макару опять захотелось вечно стоять здесь и греться. Поп Иван также подошел к камельку и протянул к нему иззябшие руки.

В избе было четверо дверей, из которых только одна вела наружу, а в другие то и дело входили и выходили какие-то молодые люди в длинных белых рубахах. Макар подумал, что это, должно быть, работники здешнего Тойона. Ему казалось, что он где-то их уже видел, но не мог вспомнить, где именно. Не мало удивляло его то обстоятельство, что у каждого работника на спине болтались большие белые крылья, и он подумал, что, вероятно, у Тойона есть ещё другие работники, так как эти, наверное, не могли бы с своими крыльями пробираться сквозь чащу тайги для рубки дров или жердей.

Один из работников подошёл тоже к камельку и, повернувшись к нему спиною, заговорил с попом Иваном:

— Говори!

— Нечего, — отвечал попик.

— Что ты слышал на свете?

— Ничего не слышал.

— Что видел?

— Ничего не видал.

Оба помолчали, и тогда поп сказал:

— Привёл вот одного.

— Это чалганец? — спросил работник.

— Да, чалганец.

— Ну, значит, надо приготовить большие весы.

И он ушёл в одну из дверей, чтобы распорядиться, а Макар спросил у попа, зачем нужны весы и почему именно большие.

— Видишь, — отетил поп несколько смущённо, — весы нужны, чтобы взвесить добро и зло, какое ты сделал при жизни. У всех остальных людей зло и добро приблизительно уравнивают чашки; у одних чалганцев грехов так много, что для них Тойон велел сделать особые весы с громадной чашкой для грехов.

От этих слов у Макара как будто скребнуло по сердцу. Он стал робеть.

Работники внесли и поставили большие весы. Одна чашка была золотая и маленькая, другая — деревянная, громадных размеров. Под последней вдруг открылось глубокое чёрное отверстие.

Макар подошёл и тщательно осмотрел весы, чтобы не было фальши. Но фальши не было. Чашки стояли ровно, не колеблясь.

Впрочем, он не вполне понимал их устройство и предпочёл бы иметь дело с безменом, на котором в течение долгой жизни он отлично выучился продавать и покупать с некоторой выгодой для себя.

— Тойон идёт, — сказал вдруг пэп Иван и стал быстро обдёргивать ряску.

Средняя дверь отворилась, и вошёл старый-престарый Тойон, с большою серебристою бородой, спускавшеюся ниже пояса. Он был одет в богатые, неизвестные Макару меха и ткани, а на ногах у него были тёплые сапоги, обшитые пливом, какие Макар видел на старом иконописце.

И при первом же взгляде на старого Тойона Макар узнал, что это тот самый старик, которого он видел нарисованным в церкви. Только тут с ним не было сына; Макар подумал, что, вероятно, последний ушел по хозяйству. Зато голубь влетел в комнату и, покругившись у старика над головою, сел к нему на колени. И старый Тойон гладил голубя рукою, сидя на особо приготовленном для него стуле.

Лицо старого Тойона было доброе, и когда у Макара становилось слишком уж тяжело на сердце, он смотрел на это лицо и ему становилось легче.

А на сердце у него становилось тяжело потому, что он вспомнил вдруг всю свою жизнь до последних подробностей, вспомнил каждый свой шаг и каждый удар топора, и каждое срубленное дерево, и каждый обман, и каждую рюмку выпитой водки.

И ему стало стыдно и страшно. Но, взглянув в лицо старого Тойона, он ободрился.

А ободрившись, подумал, что, быть может, кое-что удастся и скрыть.

Старый Тойон посмотрел на него и спросил, кто он и откуда, и как зовут и сколько ему лет от роду.

Когда Макар ответил, старый Тойон спросил:

— Что сделал ты в своей жизни?

— Сам знаешь, — ответил Макар. — У тебя должно быть записано.

Макар испытывал старого Тойона, желая узнать, действительно ли у него записано всё.

— Говори сам, не молчи! — сказал старый Тойон.

И Макар опять ободрился.

Он стал перечислять свои работы, и хотя он помнил каждый удар топора и каждую срубленную жердь, и каждую борозду, проведённую сохою, но он прибавлял

целые тысячи жердей и сотни возов дров, и сотни брёвен и сотни пудов посева.

Когда он всё перечислил, старый Тойон обратился к попу Ивану:

— Принеси-ка сюда книгу.

Тогда Макар увидел, что поп Иван служит у Тойона *суруксумом* (писарем), и очень осердился, что тот по-приятельски не сказал ему об этом раньше.

Поп Иван принёс большую книгу, развернул её и стал читать.

— Загляни-ка, — сказал старый Тойон, — сколько жердей?

Поп Иван посмотрел и сказал с прискорбием:

— Он прибавил целых тринадцать тысяч.

— Врёт он! — крикнул Макар запальчиво. — Он, верно, ошибся, потому что он пьяница и умер нехорошею смертью!

— Замолчи ты! — сказал старый Тойон. — Брал ли он с тебя лишнее за крестины или за свадьбы? Вымогал ли он ругу?

— Что говорить напрасно! — ответил Макар.

— Вот видишь, — сказал Тойон, — я знаю и сам, что он любил выпить...

И старый Тойон осердился.

— Читай теперь его грехи по книге, потому что он обманщик, и я ему не верю, — сказал он попу Ивану.

А между тем работники кинули на золотую чашку Макаровы жерди, и его дрова, и его пахоту, и всю его рабству. И всего оказалось так много, что золотая чашка весов опустилась, а деревянная поднялась высоко, высоко, и её нельзя было достать руками, и молодые божьи работники взлетели на своих крыльях, и целая сотня тянула её верёвками вниз.

Тяжела была работа чалганца!

А поп Иван стал вычитывать обманы, и оказалось, что обманов было — двадцать одна тысяча девятьсот тридцать три обмана; и поп стал высчитывать, сколько Макар выпил бутылок водки, и оказалось четыреста бутылок, — и поп читал далее, а Макар видел, что деревянная чашка весов перетягивает золотую, и что она опускается уже в яму, и пока поп читал, она всё опускалась.

Тогда Макар подумал про себя, что дело его плохо и, подойдя к весам, попытался незаметно поддержать чашку ногою. Но один из работников увидел это, и у них вышел шум.

— Что там такое? — спросил старый Тойон.

— Да вот он хотел поддержать весы ногою, — ответил работник.

Тогда Тойон гневно обратился к Макару и сказал:

— Вижу, что ты обманщик, ленивец и пьяница... И за тобой осталась недоимка и поп за тобою считает ругу, и исправник грешит из-за тебя, ругая тебя каждый раз скверными словами!..

И, обратясь к попу Ивану, старый Тойон спросил:

— Кто в Чалгане кладёт на лошадей более всех клади, и кто гоняет их всех больше?

Поп Иван ответил:

— Церковный трапезник. Он гоняет почту и возит исправника.

Тогда старый Тойон сказал:

— Отдать этого ленивца трапезнику в мерины и пусть он возит на нём исправника, пока не заедит... А там мы посмотрим.

И только что старый Тойон сказал это слово, как дверь отворилась и в избу вошёл сын старого Тойона и сел от него по правую руку.

И сын сказал:

— Я слышал твой приговор... Я долго жил на свете и знаю тамошние дела: тяжело будет бедному человеку возить исправника. Но... да будет!.. Только, может быть, он ещё что-нибудь скажет. Говори, *барахсан* (бедняга)!

Тогда случилось что-то странное. Макар, тот самый Макар, который никогда в жизни не произносил более десяти слов кряду, вдруг ощутил в себе дар слова. Он заговорил и сам изумился. Стало как бы два Макара: один говсрил, другой слушал и удивлялся. Он не верил своим ушам. Речь у него лилась плавно и страстно, слова гнались одно за другим вперегонку и потом становились длинными, стройными рядами. Он не робел. Если ему и случалось запнуться, то тотчас же он оправлялся и кричал вдвое громче. А главное — чувствовал сам, что говорил убедительно.

Старый Тойон, немного осердившийся сначала за его дерзость, стал потом слушать с большим вниманием, как бы убедившись, что Макар не такой уж дурак, каким казался сначала. Поп Иван в первую минуту даже испугался и стал дёргать Макара за полу *соны*, но Макар отмахнулся и продолжал попрежнему. Потом и попик перестал пугаться и даже расцвёл улыбкой, видя, что его прихожанин режет правду, и что эта правда приходится по

сердцу старому Тойону. Даже молодые люди в длинных рубахах и с белыми крыльями, жившие у старого Тойона в работниках, приходили из своей половины к дверям и с удивлением слушали речь Макара, поталкивая друг друга локтями.

Он начал с того, что не желает итти к трапезнику в мерины. И не потому не желает, что боится тяжёлой работы, а потому, что это решение неправильно. А так как это решение неправильно, то он ему не подчинится и не поведёт даже ухом, не двинет ногою. Пусть с ним делают, что хотят! Пусть даже отдадут чертям в вечные *комночиты*, — он не будет возить исправника, потому что это неправильно. И пусть не думают, что ему страшно положение мерина: трапезник гоняет мерина, но кормит его овсом, а его гоняли всю жизнь, но овсом никогда не кормили.

— Кто тебя гонял? — спросил старый Тойон с сердцем.

Да, его гоняли всю жизнь! Гоняли старосты и старшины, заседатели и исправники, требуя подати; гоняли попы, требуя ругу; гоняли нужда и голод; гоняли морозы и жары, дожди и засуха; гоняла промёрзшая земля и злая тайга!.. Скотина идёт вперёд и смотрит в землю, не зная, куда её гонят... И он также... Разве он знал, что поп читает в церкви и за что идёт ему руга? Разве он знал, зачем и куда увели его старшего сына, которого взяли в солдаты, и где он умер, и где теперь лежат его бедные кости?

Говорят, он пил много водки? Конечно, это правда: его сердце просило водки...

— Сколько, говоришь ты, бутылок?

— Четыреста, — ответил поп Иван, заглянув в книгу.

Хорошо! Но разве это была водка? Три четверти было воды и только одна четверть настоящей водки, да ещё настой табаку. Стало быть триста бутылок надо скинуть со счёта.

— Правду ли он говорит всё это? — спросил старый Тойон у попа Ивана, и видно было, что он ещё сердится.

— Чистую правду, — торопливо ответил поп, а Макар продолжал.

Он прибавил тринадцать тысяч жердей? Пусть так! Пусть он нарубил только шестнадцать тысяч. А разве этого мало? И притом две тысячи он рубил, когда у него была больна первая его жена... И у него было тяжело на сердце, и он хотел сидеть у своей старухи, а нужда его

гнала в тайгу... И в тайге он плакал, и слёзы мёрзли у него на ресницах, и от горя холод проникал до самого сердца... А он рубил!

А после баба умерла. Её надо было хоронить, а у него не было денег. И он паялся рубить дрова, чтобы заплатить за женин дом на том свете... А купец увидел, что ему нужна, и дал только по десяти копеек... И старуха лежала одна в нетопленной мёрзлой избе, а он опять рубил и плакал. Он полагал, что эти возы надо считать впятеро и даже более.

У старого Тойона показались на глазах слёзы, и Макар увидел, что чашки весов колыхнулись, и деревянная приподнялась, а золотая опустилась.

А Макар продолжал: у них всё записано в книге... Пусть же они поищут: когда он испытал от кого-нибудь ласку, привет или радость? Где его дети? Когда они умирали, ему было горько и тяжело, а когда вырастали, то уходили от него, чтобы в одиночку биться с тяжёлою нуждой. И он состарился один со своей второю старухой и видел, как его оставляют силы и подходит злая, бесприютная дряхлость. Они стояли одинокие, как стоят в степи две сиротливые ёлки, которых бьют отовсюду жестокие метели.

— Правда ли? — спросил опять старый Тойон.

И поп поспешил ответить:

— Чистая правда!

И тогда весы опять дрогнули... Но старый Тойон задумался.

— Что же это, — сказал он, — ведь есть же у меня на земле настоящие праведники... Глаза их ясны, и лица светлы, и одежды без пятен... Сердца их мягки, как добрая почва; принимают доброе семя и возвращают крин сельный и благовонные всходы, запах которых угоден передо мною. А ты посмотри на себя...

И все взгляды устремились на Макара, и он устыдился. Он почувствовал, что глаза его мутны и лицо темно, волосы и борода всклокочены, одежда изорвана. И хотя задолго до смерти он всё собирался купить сапоги, чтобы явиться на суд, как подобает настоящему крестьянину, но всё пропивал деньги, и теперь стоял перед Тойоном, как последний якут в дрянных торбасишках... И он пожелал провалиться сквозь землю.

— Лицо твоё тёмное, — продолжал старый Тойон, — глаза мутные и одежда разорвана. А сердце твоё поросло бурьяном и тернием и горькою полынью. Вот почему я

люблю моих праведных и отвращаю лицо от подобных тебе нечестивцев.

Сердце Макара сжалось. Он чувствовал стыд собственного существования. Он было понурил голову, но вдруг поднял её и заговорил опять.

О каких это праведниках говорит Тойон? Если о тех, что жили на земле в одно время с Макаром в богатых хоромах, то Макар их знает... Глаза их ясны, потому что не проливали слёз столько, сколько их пролил Макар, и лица их светлы, потому что обмыты духами, а чистые одежды сотканы чужими руками.

Макар опять понурил голову, но тотчас же опять поднял её.

А между тем, разве он не видит, что и он родился, как другие, — с ясными, открытыми очами, в которых отражались земля и небо, и с чистым сердцем, готовым раскрыться на всё прекрасное в мире?

И если теперь он желает скрыть под землёю свою мрачную и позорную фигуру, то в этом вина не его... А чья же? — Этого он не знает... Но он знает одно, что в сердце его истошилось терпение.

VII

Конечно, если бы Макар мог видеть, какое действие производила его речь на старого Тойона, если бы он видел, что каждое его гневное слово падало на золотую чашку, как свинцовая гиря, он усмирил бы своё сердце. Но он всего этого не видел, потому что в его сердце вливалось слепое отчаяние.

Вот он оглядел всю свою горькую жизнь. Как мог он до сих пор выносить это ужасное бремя? Он нёс его потому, что впереди всё ещё маячила — звёздочкой в тумане — надежда. Он жив, стало быть может, должен ещё испытать лучшую долю. Теперь он стоял у конца, и надежда угасла...

Тогда в его душе стало темно, и в ней забушевала ярость, как буря в пустой степи глухою ночью. Он забыл, где он, пред чьим лицом предстоит, — забыл всё, кроме своего гнева...

.....

Но старый Тойон сказал ему:

— погоди, *барахсан!* Ты не на земле... Здесь и для тебя найдётся правда...

И Макар дрогнул. На сердце его пало сознание, что его жалеют, и оно смягчилось; а так как перед его глазами всё стояла его бедная жизнь, от первого дня до последнего, то и ему стало самого себя невыносимо жалко. И он заплакал...

И старый Тойон тоже плакал... И плакал старый попик Иван, и молодые божьи работники лили слёзы, утирая их широкими белым рукавами.

А весы всё колыхались, и деревянная чашка подымалась всё выше и выше!

.....

1883 г.

ЧУДНАЯ

Очерк из 80-х годов

I

— Скоро ли станция, ямщик?

— Не скоро ещё, — до метели вряд ли доехать, — вишь, закуржавело как, сивера́ идёт.

Да, видно до метели не доехать. К вечеру становится всё холоднее. Слышно, как снег под полозьями поскрипывает, зимний ветер, — сивера́, — гудит в тёмном бору, ветви елей протягиваются к узкой лесной дороге и угрюмо качаются в опускающемся сумраке раннего вечера.

Холодно и неудобно. Кибитка узка, под бока давит, да ещё некстати шашки и револьверы провожатых болтаются. Колокольчик выводит какую-то длинную, однообразную песню, в тон запевающей метели.

К счастью, вот и одинокий огонёк станции на опушке гудящего бора.

Мои провожатые, два жандарма, бряца целым арсеналом вооружения, стряхивают снег в жарко натопленной, тёмной, закопчённой избе. Бедно и неприветно. Хозяйка укрепляет в светильне дымящую лучину.

— Нет ли чего поесть у тебя, хозяйка?

— Ничего нет-то у нас...

— А рыбы? Река тут у вас недалече.

— Была рыба, да выдра всю позобала.

— Ну, картошки...

— И-и, батюшки! Помёрзла картошка-то у нас ноне, вся помёрзла.

Делать нечего, — самовар к удивлению нашёлся. Погрелись чаем, хлеба и луковиц принесла хозяйка в лукошке. А выюга на дворе разыгрывалась, мелким снегом в окна сыпало, и по временам даже свет лучины вздрагивал и колебался.

— Нельзя вам ехать-то будет, — ночуйте! — говорит старуха.

— Что ж, — ночуем. Вам ведь, господин, торопиться-то некуда тоже. Видите, тут сторона-то какая!.. Ну, а там ещё хуже, верьте слову, — говорит один из провожатых.

В избе всё смолкло. Даже хозяйка сложила свою пряницу с пряжей и улеглась, перестав светить лучину. Водворился мрак и молчание, нарушаемое только порывистыми ударами налетавшего ветра.

Я не спал. В голове, под шум бури, поднимались и летели одна за другой тяжёлые мысли.

— Не спится, видно, господин, — произносит тот же прсвожатый — «старшой», — человек довольно симпатичный, с приятным, даже как будто интеллигентным лицом, расторопный, знающий своё дело и поэтому не педант. В пути он не прибегает к ненужным стеснениям и формальностям.

— Да, не спится.

Некоторое время проходит в молчании, но я слышу, что и мой сосед не спит — чуется, что и ему не до сна, что и в его голове бродят какие-то мысли. Другой провожатый, молодой «подручный», спит сном здорового, но крепко утомлённого человека. Временами он что-то невнятно бормочет.

— Удивляюсь я вам, — слышится опять ровный, грудной голос унтера, — народ молодой, люди благородные, образованные, можно сказать, а как свою жизнь проводят...

— Как?

— Эх, господин! Неужто мы не можем понимать!.. Довольно понимаем, не в эдакой, может, жизни были и не к этому с измальства-то привыкли...

— Ну, это вы пустое говорите... Было время и отвыкнуть...

— Неужто весело вам? — произносит он тоном сомнения.

— А вам весело?..

Молчание. Гаврилов (будем так звать моего собеседника), повидимому, о чём-то думает:

— Нет, господин, невесело нам. Верьте слову: иной раз бывает, — просто, кажется, на свет не глядел бы... С чего уж это, не знаю; только иной раз так подступит, — нож острый, да и только.

— Служба, что ли, тяжёлая?

— Служба службой... Конечно, не гулянье, да и начальство, надо сказать, строгое, а только всё же не с этого...

— Так отчего же?

— Кто знает?..

Опять молчание.

— Служба что. Сам себя веди аккуратно, только и всего. Мне тем более домой скоро. Из сдаточных я, так срок выходит. Начальник и то говорит: «Оставайся, Гаврилов, что тебе делать в деревне? На счету ты хорошем»...

— Останетесь?

— Нет. Оно правда, и дома-то... От крестьянской работы отвык... Пища тоже. Ну и, само собой, обхождение... Грубость эта...

— Так в чём же дело?

Он подумал и потом сказал:

— Вот я вам, господин, ежели не поскучаете, случай один расскажу... Со мной был...

— Расскажите...

II

Поступил я на службу в 1874 году, в эскадрон, прямо из сдаточных. Служил хорошо, можно сказать, с полным усердием, всё больше по нарядам: в парад куда, к театру, — сами знаете. Грамоте хорошо был обучен, ну, и начальство не оставляло. Майор у нас земляк мне был и, как видя моё старание, призывает раз меня к себе и говорит: «Я тебя, Гаврилов, в унтер-офицеры представляю... Ты в командировках бывал ли?» — Никак нет, говорю, ваше высокоблагородие. — «Ну, говорит, в следующий раз назначу тебя в подручные, — присмотришься, дело не хитрое». — Слушаю, говорю, ваше высокоблагородие, рад стараться.

А в командировках я точно что не бывал ни разу, — вот с вашим братом, значит. Оно, хоть, скажем, дело-то не хитрое, а всё же, знаете, инструкции надо усвоить, да и расторопность нужна. Ну, хорошо...

Через неделю этак места зовёт меня дневальный к начальнику, и унтер-офицера одного вызывает. Пришли. — «Вам, говорит, в командировку ехать. Вот тебе — говорит унтер-офицеру — подручный. Он ещё не бывал. Смотрите, не зевать, справьтесь, говорит, ребята, молодцами, — барышню вам везти из замка, политичку, Морозову. Вот вам инструкция, завтра деньги получай и с богом!..»

Иванов, унтер-офицер, в старших со мною ехал, а я в подручных, — вот как у меня теперь другой-то жандарм. Старшему сумка казённая даётся, деньги он на руки получает, бумаги; он расписывается, счёты эти ведёт, ну, а рядовой в помощь ему: послать куда, за вещами присмотреть, то, другое.

Ну, хорошо. Утром, чуть свет ещё, — от начальника вышли, — гляжу: Иванов мой уж выпить где-то успел. А человек был, — надо прямо говорить, — не подходящий, — разжалован теперь... На глазах у начальства как следует быть унтер-офицеру, и даже так, что на других кляузы наводил, выслуживался. А чуть с глаз долой, сейчас и завертится, и первым делом — выпить!

Пришли мы в замок, как следует, бумагу подали, — ждём, стоим. Любопытно мне, — какую барышню везти-то придётся, а везти назначено нам по маршруту далеко. По самой этой дороге ехали, только в город уездный она назначена была, не в волость. Вот мне и любопытно в первый-то раз: что, мол, за политичка такая?

Только прождали мы этак с час места, пока её вещи собирали, — а и вещей-то с ней узелок маленький, — юбочка там, ну, то, другое, — сами знаете. Книжки тоже были, а больше ничего с ней не было; небогатых, видно, родителей, думаю. Только выводят её, — смотрю, молодая ещё, как есть ребёнком мне показалась. Волосы русые, в одну косу собраны, на щеках румянец. Ну, потом увидел я — бледная совсем, белая во всю дорогу была. И сразу мне её жалко стало... Конечно, думаю... Начальство, извините... зря не накажет... Значит, сделала какое-нибудь качество по этой, по политической части... Ну, а все-таки... жалко, так жалко, — просто, ну!

Стала она одеваться: пальто, калоши... Вещи нам её показали, — правило значит: по инструкции мы вещи смотреть обязаны. «Деньги, спрашиваем, с вами какие будут?» Рубль двадцать копеек денег оказалось, — старшой к себе взял. «Вас, барышня, говорит ей, я обыскать должен».

Как она тут вспыхнет. Глаза загорелись, румянец ещё

гуще выступил. Губы тонкие, сердитые... Как посмотрела на нас, — верите: оробел я и подступиться не смею. Ну, а старшой, известно, выпивши: лезет к ней прямо. «Я, говорит, обязан, у меня, говорит, инструкция!..»

Как тут она крикнет — даже Иванов, и тот от неё попятился. Гляжу я на неё, — лицо побледнело, ни кровинки, а глаза потемнели, и злая-презлая... Ногой топает, говорит шибко, — только я, признаться, хорошо и не слушал, что она говорила... Смотритель тоже испугался, воды ей принёс в стакане. «Успокойтесь, — просит её, — пожалуйста, говорит, сами себя пожалейте!» Ну она и ему не уважила. «Барвары вы, говорит, холопы!» И прочие тому подобные дерзкие слова выражает. Как хотите: супротив начальства это ведь нехорошо. Ишь, думаю, змеёныш... Дворянское отродье!

Так мы её и не обыскивали. Увёл её смотритель в другую комнату, да с надзирательницей тотчас же и вышли они. «Ничего, говорит, при них нет». — А она на него глядит и точно вот смеётся в лицо ему, и глаза злые всё. А Иванов, — известно, море по колена, — смотрит да всё своё бормочет: «Не по закону, у меня, говорит, инструкция!..» Только смотритель внимания не взял. Конечно, как он пьяный. Пьяному какая вера!

Поехали. По городу проезжали, — всё она в окна кареты глядит, точно прощается, либо знакомых увидеть хочет. А Иванов взял да занавески опустил, — окна и закрыл. Забилась она в угол, прижалась и не глядит на нас. А я, признаться, не утерпел таки: взял за край одну занавеску, будто сам поглядеть хочу, — и открыл так, чтобы ей видно было... Только она и не посмотрела, — в уголку сердитая сидит, губы закусила... В кровь, так я себе думал, искушает.

Поехали по железной дороге. Погода ясная этот день стояла, — осенью дело это было, в сентябре месяце. Солнце-то светит, да ветер свежий, осенний, а она в вагоне окно откроет, сама высунется на ветер, так и сидит. По инструкции-то оно не полагается, знаете, окна открывать, да Иванов мой, как в вагон ввалился, так и захрапел; а я не смею ей сказать. Потом осмелился, подошёл к ней и говорю: — Барышня, говорю, закройте окно. — Молчит, будто не ей и говорят. Постоял я тут, постоял, а потом опять говорю:

— Простудитесь, барышня, холодно ведь.

Обернулась она ко мне и уставилась глазами, точно удивилась чему... Поглядела да и говорит: — Оставьте! —

И опять в окно высунулась. Махнул я рукой, отошёл в сторону.

Стала она спокойнее будто. Закроет окно, в пальтишко закутается вся, греется. Ветер, говорю, свежий был, студёно! А потом опять к окну сядет, и опять на ветру вся, — после тюрьмы-то, видно, не наглядится. Повеселела даже, глядит себе, улыбается. И так на неё в те поры хорошо смотреть было!.. Верите совести!..

Рассказчик замолчал и задумался. Потом продолжал, как будто слегка конфузясь:

— Конечно, не с привычки это... Потом много возил, привык. А тот раз чудно мне показалось: куда, думаю, мы её везём, дитё этакое... И потом... признаться вам, господин, уж вы не осудите: что, думаю, ежели бы у начальства попросить, да в жёны её взять... Ведь уж я бы из нее дурь-то эту выкурил. Человек я, тем более, слушающий... Конечно, молодой разум... глупый... Теперь могу понимать... Попу тогда на духу рассказал, он говорит: вот от этой самой мысли порча у тебя и пошла. Потому что она, верно, и в бога-то не верит..

От Костромы на тройке ехать пришлось, — Иванов у меня пьян-пьянёшенек: проспится и опять заливает. Вышел из вагона, шатается. Ну, думаю, плохо, как бы денег казённых не растерял. Ввалился в почтовую телегу, лёг и разом захрапел. Села она рядом, — неловко. Посмотрела на него, ну, точно вот на гадину на какую. Подобралась так, чтобы не тронуть его как-нибудь, — вся в уголку и прижалась, а я-то уж на облучке уселся. Как поехали, — ветер сиверный, — я и то продрог. Закашляла крепко и платок к губам поднесла, а на платке, гляжу, кровь. Так меня будто кто в сердце кольнул булавкой. — Эх, говорю, барышня, как можно! Больны вы, а в такую дорогу поехали — осень, холодно!.. Нешто, говорю, можно этак!

Вскинула она на меня глазами, посмотрела, и точно опять внутри у неё закипать стало.

— Что вы, говорит, глупы, что ли? Не понимаете, что я не по своей воле еду. Хорошо, говорит: сам везёт, да туда же ещё с жалостью суётся!

— Вы бы, говорю, начальству заявили, — в больницу хоть слегли бы, чем в этакой холод ехать. Дорога-то ведь не близкая!

— А куда? — спрашивает.

А нам, знаете, строго запрещено объяснять преступникам, куда их везти приказано. Видит она, что я позамялся, и отвернулась.

— Не надо, — говорит, — это я так... Не говорите ничего, да уж и сами не лезьте.

Не утерпел я. — Вот, говорю, куда вам ехать. Не близко! — Сжала она губы, брови сдвинула, да ничего и не сказала. Покачал я головой... — Вот, то-то, говорю, барышня. Молоды вы, не знаете ещё, что это значит!

Крепко мне досадно было... Рассердился... А она опять посмотрела на меня и говорит:

— Напрасно, говорит, вы так думаете. Знаю я хорошо, что это значит, а в больницу всё-таки не слегла. Спасибо! Лучше уж, коли помирать, так на воле, у своих. А то, может, ещё и поправлюсь, так опять же на воле, а не в больнице вашей тюремной. Вы думаете, говорит, от ветру я, что ли, заболела, от простуды? Как бы не так!.. «Там у вас, спрашиваю, сродственники, что ли, находятся?» Это я потому, как она мне выразила, что у *своих* поправляться хочет.

— Нет, говорит, у меня там ни родни, ни знакомых. Город-то мне чужой, да, верно, такие же, как и я, ссыльные есть, товарищи. — Подивился я, как это она чужих людей своими называет, — неужто, думаю, кто её без денег там поить-кормить станет, да ещё незнакомую?.. Только не стал её расспрашивать, потому вижу я: брови она поднимает, недовольна, зачем я расспрашиваю.

— Ладно, думаю... Пушай! Нужды ещё не видала. Хлебнёт горя, узнает, небось, что значит чужая сторона...

К вечеру тучи надвинулись, ветер подул холодный, — а там и дождь пошёл. Грязь и прежде была не высохши, а тут до того развезло, — просто кисель, не дорога! Спину-то мне как есть грязью всю забрызгало, да и ей порядочно попадать стало. Одним словом сказать, что погода, на её несчастье, пошла самая скверная: дождиком прямо в лицо сечёт: оно хоть, положим, кибитка-то крытая, и рогожей я её закрыл, да куда тут! Течёт всюду, продрогла, гляжу: вся дрожит и глаза закрыла. По лицу капли дождевые потекли, а щёки бледные, и не двинется, точно в бесчувствии. Испугался я даже. Вижу: дело-то выходит неподходящее, плохое... Иванов пьян, храпит себе, горюшка мало... Что тут делать, тем более я в первый раз.

В Ярославль город самым вечером приехали. Растолкал я Иванова, на станцию вышли, — велел я самовар согреть. А из городу из этого пароходы ходят, только по инструкции нам на пароходах возить строго воспрещается. Оно хоть нашему брату выгоднее, — экономию загнать можно, да боязно. На пристани, знаете, полицейские стсят, а то и

наш же брат, жандарм местный, клюзу подвести всегда может. Вот, барышня-то и говорит нам: «Я, говорит, далее на почтовых не поеду. Как знаете, говорит, пароходом везите». А Иванов еле глаза продрал с похмелья, сердитый. «Вам об этом, говорит, рассуждать не полагается. Куда повезут, туда и поедете!» Ничего она ему не сказала, а мне говорит:

— Слышали, говорит, что я сказала: не еду.

Отозвал я тут Иванова в сторону. «Надо, говорю, на пароходе везти. Вам же лучше: экономия останется». Он на это пошёл, только трусит. «Здесь, говорит, полковник, так как бы чего не вышло. Ступай, говорит, спросись, мне, говорит, нездоровится что-то». А полковник неподалеку жил. «Пойдём, говорю, вместе и барышню с собой возьмём». Боялся я: Иванов-то, думаю, спать завалится спяну, так как бы чего не вышло. Чего доброго уйдёт она или над собой что сделает, — в ответ попадёшь. Ну, пошли мы к полковнику. Вышел он к нам. «Что надо?» — спрашивает. Вот она ему и объясняет, да тоже и с ним неладно заговорила. Ей бы попросить смирененько: так и так, мол, сделайте божескую милость, — а она тут по-своему. «По какому праву» говорит, ну и прочее; всё, знаете, дерзкие слова выражает, которые вы, вопче, политики, любите. Ну, сами понимаете, начальству это не нравится. Начальство любит покорность. Однако выслушал он её и ничего, — вежливо отвечает: «Не могу-с, говорит, ничего я тут не могу. По закону-с... нельзя!» Гляжу, барышня-то моя опять раскраснелась, глаза точно угли. «Закон!» — говорит, и засмеялась по-своему, сердито да громко. «Так точно, — полковник ей, — закон-с!»

Признаться, я тут позабылся немного, да и говорю: «Точно что, вашескородие, закон, да они, ваше высокоблагородие, больны». Посмотрел он на меня строго. «Как твоя фамилия?» — спрашивает. — «А вам, барышня, говорит, если больны вы, в больницу тюремную не угодно ли-с?» Отвернулась она и пошла вон, слова не сказала. Мы за ней. Не захотела в больницу, да и то надо сказать: уж если на месте не осталась, а тут без денег, да на чужой стороне, точно что не приходится.

Ну, делать нечего. Иванов на меня же накинулся: «Что, мол, теперь будет: непременно из-за тебя, дурака, оба в ответе будем». Белел лошадей запрягать и ночь переждать не согласился, так к ночи и выезжать пришлось. Подошли мы к ней: «Пожалуйте, говорим, барышня, лошади поданы». А она на диван прилегла, — только со-

греваться стала. Вспрыгнула на ноги, встала перед нами, — выпрямилась вся, — прямо на нас смотрит в упор, даже, скажу вам, жутко на неё глядеть стало. «Проклятые вы», говорит, и опять по-своему заговорила, непонятно. Ровно бы и по-русски, а ничего понять невозможно. Только сердито да жалко: «Ну, говорит, теперь ваша воля, вы меня замучить можете, что хотите делайте. Еду!» А самовар-то всё на столе стоит, она ещё и не пила. Мы с Ивановым свой чай заварили, и ей я налил. Хлеб с нами белый был, я тоже ей отрезал. «Выкушайте, говорю, на дорожку. Ничего, хоть согреетесь немного». Она калоши надевала, бросила надевать, повернулась ко мне, смотрела, смотрела, потом плечами повела и говорит:

— Что это за человек такой! Совсем вы, кажется, сумасшедший. Стану я, говорит, ваш чай пить! — Вот до чего мне тогда обидно стало: и посейчас вспомню, кровь в лицо бросается. Вот вы не брезгаете же с нами хлеб-соль есть. Рубанова господина везли, штаб-офицерский сын, а тоже не брезгал. А она побрезгала. Велела потом на другом столе себе самовар особо согреть и уж известно: за чай за сахар вдвое заплатила. А всего-то и денег — рубль-двадцать!

III

Рассказчик смолк, и на некоторое время в избе водворилась тишина, нарушаемая только ровным дыханием младшего жандарма и шипением метели за окном.

— Вы не спите? — спросил у меня Гаврилов.

— Нет, продолжайте, пожалуйста; я слушаю.

— ...Много я от нее, — продолжал рассказчик, помолчав, — много муки тогда принял. Дорогой-то, знаете, ночью всё дождик, погода злая... Лесом поедешь, лес стонет. Её-то мне и не видно, потому ночь тёмная, ненастная, зги не видать, а поверите, — так она у меня перед глазами стоит, то есть даже до того, что вот, точно днём, её вижу: и глаза её, и лицо сердитое, и как она иззябла вся, а сама всё глядит куда-то, точно все мысли свои про себя в голове ворочает. Как со станции поехали, стал я её тулупом одевать. «Наденьте, говорю, тулуп-то, всё, знаете, теплее». Кинула тулуп с себя. «Ваш, говорит, тулуп, — вы и надевайте». Тулуп, точно, что мой был, да догадался я и говорю ей: «Не мой, говорю, тулуп, казённый, по закону арестованным полагается». Ну, оделась...

Только и тулуп не помог: как рассвело, — глянул я на неё, а на ней лица нет. Со станции опять поехали, приказала она Иванову на облучок сесть. Поворчал он, да не посмел ослушаться, тем более, — хмель-то у него прошёл немного. Я с ней рядом сел.

Трои сутки мы ехали и нигде не ночевали. Первое дело: по инструкции сказано — не останавливаться на ночлег, а «в случае сильной усталости» — не иначе, как в городах, где есть караулы. Ну, а тут, сами знаете, какие города!

Приехали-таки на место. Точно гора у меня с плеч долой, как город мы завидели. И надо вам сказать: в конце она почитай что на руках у меня и ехала. Вижу — лежит в повозке без чувств; тряхнет на ухабе телегу, так она головой о переплёт и ударится. Поднял я её на руку на правую, так и вёз, всё легче. Сначала оттолкнула было меня: «Прочь! — говорит, не прикасайтесь!» А потом ничего. Может, оттого, что в беспамятстве была... Глаза-то закрыты, веки совсем потемнели, и лицо лучше стало, не такое сердитое. И даже так было, что засмеётся сквозь сон и просветлеет, прижимается ко мне, к тёплому-то. Верно ей бедной, хороше во сне грезилось. Как к городу подъезжать стали, очнулась, поднялась... Погода-то прошла, солнце выглянуло, — повеселела...

...Только из губернии её далее отправили, в городе в губернском не оставили, и нам же её дальше везти привелось, — тамошние жандармы в разъездах были. Как уезжать нам, — гляжу, в полицию народу набирается: барышни молодые да господа, студенты, видно, из ссыльных... И все, точно знакомые, с ней говорят, за руку здороваются, спрашивают. Денег ей сколько-то принесли, платок пуховый на дорогу, хороший... Проводили...

Ехала весёлая, только кашляла часто. А на нас и не смотрела.

Приехали в уездный город, где ей жительство назначено, сдали её под расписку. Сейчас она фамилию какую-то называет. «Здесь, говорит, такой-то?» — Здесь, отвечают. Исправник приехал. «Где, говорит, жить станете?» — «Не знаю, говорит, а пока к Рязанову пойду». Покачал он головой, а она собралась и ушла. С нами и не попрощалась...

IV

Рассказчик смолк и прислушался, не сплю ли я.

— Так вы её больше и не видели?

— Видал, да лучше бы уж не видеть было...

...И скоро даже я опять её увидел. Как приехали мы из командировки, сейчас нас опять нарядили и опять в ту же сторону. Студента одного возили, Загрязского. Весёлый такой, песни хорошо пел и выпить был не дурак. Его ещё дальше послали. Вот поехали мы через город тот самый, где её оставили, и стало мне любопытно про жизнь её узнать. «Тут, спрашиваю, барышня-то наша?» — «Тут, говорят, только чудная она какая-то: как приехала, так прямо к ссыльному пошла, и никто её после не видал, — у него и живёт. Кто говорит: больна она, а то бают: вроде она у него за любовницу живёт. Известно, народ болтает»... А мне вспомнилось, что она говорила: «Помереть мне у *своих* хочется». И так мне любопытно стало... и не то что любопытно, а, попросту сказать, потянуло. Схожу, думаю, повидать её. От меня она зла не видала, а я на ней зла не помню. Сам схожу...

Пошёл, — добрые люди дорогу показали; а жила она в конце города. Домик маленький, дверца низенькая. Вошёл я к ссыльному-то к этому, гляжу: чисто у него, комната светлая, в углу кровать стоит, и занавеской угол отгорожен. Книг много — на столе, на полках... А рядом мастерская махонькая, там на скамейке другая постель положена.

Как вошёл я, она на постели сидела, шалью обернута и ноги под себя подобрала, — шьёт что-то. А ссыльный, Рязанцев господин по фамилии... рядом на скамейке сидит, в книжке ей что-то вычитывает. В очках, человек, видно, сурьезный. Шьёт она, а сама слушает. Стукнул я дверью, она как увидала, приподнялась, за руку его схватила, да так и замерла. Глаза большие, тёмные, да страшные... ну, всё, как и прежде бывало, только ещё бледнее с лица мне показалась. За руку его крепко стиснула, — он испугался, к ней кинулся. «Что, говорит, с вами? Успокойтесь!» А сам меня не видит. Потом отпустила она руку его, — с постели встать хочет. «Прощайте, говорит ему, — видно, им для меня и смерти хорошей жалко». Тут и он обернулся, увидал меня, — как вскочит на ноги. Думал я, — кинется... убьёт, пожалуй. Человек, тем более, рослый, здоровый...

Они, знаете, подумали так, что опять это за нею приехали... только видит он, — стою я и сам ни жив, ни мёртв, да и один. Повернулся к ней, взял за руку. «Успокойтесь, говорит. А вам, спрашивает, кавалер, что здесь собственно понадобилось?.. Зачем пожаловали?»

Я объяснил, что, мол, ничего мне не нужно, а так при-

шёл, сам по себе. Как вёз, мол, барышню, и были они нездоровы, так узнать пришёл... Ну, он обмяк. А она все такая же сердитая, кипит вся. И за что бы, кажется? Иванов, конечно, человек необходимый. Так я же за неё заступался...

Разобрал он, в чём дело, засмеялся к ней. «Ну вот видите, говорит, я же вам говорил». Я так понял, что уж у них был разговор обо мне... Про дорогу она, видно, рассказывала.

— Извините, говорю, ежели напугал вас... Не во-время или что... Так я и уйду. Прощайте, мол, не поминайте лихом, добром, видно, не помянете.

Встал он, в лицо мне посмотрел и руку подаёт.

— Вот что, говорит, поедете назад, свободно, будет, заходите, пожалуй. — А она смотрит на нас да усмеяется по-своему, нехорошо.

— Не понимаю я, говорит, зачем ему заходить? И для чего зовёте? — А он ей: — Ничего, ничего! Пусть зайдёт, если сам опять захочет... заходите, заходите, ничего!

Не всё я, признаться, понял, что они тут ещё говорили. Вы ведь, господа, мудроно иной раз промеж себя разговариваете... А любопытно. Ежели бы так остаться, послушать... ну, мне неловко, — как бы чего не подумали. Ушёл.

Ну, только свезли мы господина Загряжского на место, едем назад. Призывает исправник старшего и говорит: «Вам тут оставаться вперёд до распоряжения; телеграмму получил. Бумаг вам ждать по почте». Ну, мы, конечно, остались.

Вот я опять к ним: дай, думаю, зайду, хоть у хозяев про неё спрошу. Зашёл. Говорит хозяин домовый: «Плохо, говорит, как бы не померла. Боюсь, в ответ не попасть бы, — потому собственно, что попа звать не станут». Только стоим мы, разговариваем, а в это самое время Рязанцев вышел. Увидел меня, поздоровался да и говорит: «Опять пришёл? Что ж, войди, пожалуй». Я и вошёл тихонько, а он за мной вошёл. Поглядела она, да и спрашивает: «Опять этот странный человек!.. Вы, что ли, его позвали?» — «Нет, говорит, не звал я, сам он пришёл». Я не утерпел и говорю ей:

— Что это, говорю, барышня, за что вы сердце против меня имеете? Или я враг вам какой?

— Враг и есть, говорит, — а вы разве не знаете? Конечно, враг! — Голос у неё слабый стал, тихий, на щеках румянец так и горит, и столь лицо у неё приятное... ка-

жется, не нагляделся бы. Эх, думаю, не жилища она на свете, — стал прощения просить, — как бы, думаю, без прощения не померла. «Простите меня, говорю, коли вам зло какое сделал». Известно, как по-нашему, по-христиански полагается... А она опять, гляжу, закипает... «Простить! вот ещё! Никогда не прощу, и не думайте, никогда! Помру скоро... так и знайте: не простила!»

Рассказчик опять смолк и задумался. Потом продолжал тише и сосредоточеннее:

— Опять у них промежду себя разговор пошёл. Вы вот человек образованный, — по-ихнему понимать должны, так я вам скажу, какие слова я упомнил. Слова-то запали, и посейчас помню, а смыслу не знаю. Он говорит:

— Видите: не жандарм к вам пришёл сейчас... Жандарм вас вез, другого повезёт, так это он всё по инструкции. А сюда-то его разве инструкция привела? Вы вот что, говорит, господин кавалер, не знаю, как звать вас...

— Степан, — говорю.

— А по батюшке как?

— Петровичем звали.

— Так вот, мол, Степан Петрович. Вы ведь сюда почему пришли? По человечеству? Правда?

— Конечно, говорю, по человечеству. Это, говорю, вы верно объясняете. Ежели по инструкции, так это нам вовсе даже не полагается, чтоб к вам заходить без надобности. Начальство узнает — не похвалит.

— Ну, вот видите, — он ей говорит и за руку её взял. Она вдруг выдернула.

— Ничего, говорит, не вижу. Это вы видите чего и нет. А мы с ним вот (это значит со мной) люди простые. Враги так враги, и нечего тут антимионии разводить. Ихнее дело — смотри, наше дело — не зевай. Он, вот видите: стоит, слушает. Жалко, не понимает, а то бы в донесении всё написал...

Повернулся он в мою сторону, смотрит прямо на меня, в очки. Глаза у него острые, а добрые. «Слышите? — мне говорит. — Что же вы скажете?.. Впрочем, не объясняйте ничего: я так считаю, что вам это обидно».

Оно, скажем, конечно... по инструкции так полагается, что ежели что супротив интересу, то обязан я, по присяжной должности, на отца родного донести... Ну, только как я не затем, значит, пришёл, то верно, что обидно мне показалось, просто за сердце взяло. Повернулся к дверям, да Рязанов удержал.

— Погоди, говорит, Степан Петрович, не уходи ещё. А ей говорит: «Нехорошо это... Ну, не прощайте, и не миритесь. Об этом что говорить. Он и сам, может, не простил бы, ежели бы как следует всё понял... Да ведь и враг тоже человек бывает... А вы этого-то вот и не признаёте. Сек-тан-тка вы, говорит, вот что!

— Пусть, — она ему, — а вы равнодушный человек. Вам бы, говорит, только книжки читать...

Как она ему это слово сказала, он — чудное дело — даже на ноги вскочил. Точно ударила его. Она, вижу, испугалась даже.

— Равнодушный? — он говорит. — Ну, вы сами знаете, что неправду сказали.

— Пожалуй, — она ему отвечает... — А вы мне — правду?..

— А я, говорит, правду: настоящая вы боярыня Морозова..

Задумалась она, руку ему протянула; он руку-то взял, а она в лицо ему посмотрела-посмотрела, да и говорит: «Да, вы, пожалуй, и правы!» А я стою, как дурак, смотрю, а у самого так и сосёт что-то у сердца, так и подступает. Потом обернулась ко мне, посмотрела и на меня без гнева и руку подала. «Вот, говорит, что я вам скажу: враги мы до смерти... Ну, да бог с вами, руку вам подаю, желаю вам когда-нибудь человеком стать — вполне, не по инструкции... Устала я», — говорит ему.

Я и вышел. Рязанцев тоже за мной вышел. Стали мы во дворе, и вижу я: на глазах у него будто слеза поблёскивает.

— Вот что, говорит, Степан Петрович. Долго вы ещё тут пробудете?

— Не знаю, говорю, может, и ещё дня три, до почты.

— Ежели, говорит, ещё зайти захотите, так ничего, зайдите. Вы, кажется, говорит, человек по своему делу, ничего...

— Извините, говорю, напугал...

— То-то, говорит, уж вы лучше хозяйке сначала скажите.

— А что я хочу спросить, говорю: вы вот про боярыню говорили, про Морозову. Они, значит, боярского роду?

— Боярского, говорит, или не боярского, а уж порода такая: сломать её, говорит, можно... Вы и то уж сломали... Ну а согнуть, — сам чай видел: не гнутся этакие.

На том и попрощались.

...Померла она скоро. Как хорошили её, я и не видал, — у исправника был. Только на другой день ссыльного этого встретил; подошёл к нему, — гляжу: на нём лица нет...

Росту был он высокого, с лица сурьёзный, да ранее приветливо смотрел, а тут зверем на меня, как есть, глянул. Подал было руку, а потом вдруг руку мою бросил и сам отвернулся. «Не могу, говорит, я тебя видеть теперь. Уйди, братец, бога ради, уйди!..» Опустил голову, да и пошёл, а я на фатеру пришёл и так меня засосало, — просто, пищи дни два не принимал. С этих самых пор тоска и увязалась ко мне. Точно порченый.

На другой день исправник призвал нас и говорит: «Можете, говорит, теперь отправляться: пришла бумага, да поздно». Видно, опять нам её везти пришлось бы, да уж бог её пожалел: сам убрал.

...Только что ещё со мной после случилось, — не конец ведь ещё. Назад едучи, приехали мы на станцию одну... Входим в комнату, а там на столе самовар стоит, закуска всякая, и старушка какая-то сидит, хозяйку чаем угощает. Чистенькая старушка, маленькая, да весёлая такая и говорливая. Всё хозяйке про свои дела рассказывает. «Вот, говорит, собрала я пожитки, дом-то, по наследству который достался, продала и поехала к моей голубке. То-то обрадуется! Уж и побранит, рассердится, знаю, что рассердится, а всё же рада будет. Писала мне, не велела приезжать. Чтобы даже ни в каком случае не смела я к ней ехать. Ну, да ничего это!»

Так тут меня ровно кто под левый бок толкнул. Вышел я в кухню. «Что за старушка?» — спрашиваю у девки-прислуги. — «А это, говорит, самой той барышни, что вы тот раз везли, матушка родная будет». Тут меня шатнуло даже. Видит девка, как я в лице расстроился, спрашивает: «Что, говорит, служивый, с тобой?»

— Тише, говорю, что орёшь... барышня-то померла.

Тут она, девка эта, — и девка-то, надо сказать, гулящая была, с проезжающими баловала, — как всплеснёт руками да как заплачет, и из избы вон. Взял и я шапку, да и сам вышел, — слышал только, как старуха в зале с хозяйкой всё болтают, и так мне этой старухи странно стало, так страшно, что и выразить невозможно. Побрёл я прямо по дороге, — после уж Иванов меня догнал с телегой, я и сел.

...Вот какое дело!.. А исправник донёс, видно, начальству, что я к ссыльным ходил, да и полковник костромской тоже донёс, как я за неё заступался, — одно к одному и подошло. Не хотел меня начальник и в унтер-офицеры представлять. «Какой ты, говорит, унтер-офицер, баба ты! В карцер бы тебя, дурака!» Только я в это время в равнодушии находился и даже нисколько не жалел ничего!

И всё я эту барышню сердитую забыть не мог, да и теперь то же самое: так и стоит, бывает, перед глазами.

Что бы это значило? Кто бы мне объяснил! Да вы, господин, не спите?

Я не спал.. Глубокий мрак закинутой в лесу избушки томил мою душу, и скорбный образ умершей девушки вставал в темноте под глухие рыдания бури..

1880 г.

МОРОЗ

I

Мы ехали берегом Лены на юг, а зима догоняла нас с севера. Однако, могло показаться, что она идёт нам навстречу, спускаясь сверху по течению реки.

В сентябре под Якутском было еще довольно тепло, на реке ещё не было видно ни льдинки. На одной из близких станций мы даже соблазнились чудесною лунною ночью и, чтобы не исчевать в душной юрте станочника, только что смазанной снаружи (на зиму) ещё тёплым навозом, легли на берегу, устроив себе постели в лодках и укрывшись оленьими шкурами. Ночью мне показалось, однако, что кто-то жжёт мне пламенем правую щеку. Я проснулся и увидел, что лунная ночь ещё более побелела. Кругом стоял иней, иней покрыл мою подушку, и это его прикосновение казалось мне таким горячим. Моему товарищу, спавшему в одной лодке со мною, снилось, вероятно, то же самое. Луна светила ему прямо в лицо, и я видел ужасные гримасы, появлявшиеся на нём то и дело. Сон его был крепок и, вероятно, очень мучителен. В это время в соседней лодке встал другой мой спутник, приподняв дохи и шкуры, которыми он был покрыт. Всё было бело и пушисто от изморози, и весь он казался

белым привидением, внезапно возникшим из холодного блеска инея и лунного света.

— Брр... — сказал он. — Мороз, братцы...

Лодка под ним колыхнулась, и от её движения на воде послышался звон, как бы от разбиваемого стекла. Это в местах, защищённых от быстрого течения, становились первые «забереги», ещё тонкие, сохранившие следы длинных кристаллических игл, ломавшихся и звеневших, как тонкий хрусталь... Река как будто отяжелела, почувствовав первый удар мороза, а скалы вдоль горных берегов её, наоборот, стали легче, воздушнее. Покрытые инеем, они уходили в неясную, озарённую даль, искрящиеся, почти прозрачные...

Это был первый привет мороза в начале длинного пути... Привет весёлый, задорный, почти шутливый.

По мере того, как мы медленно и с задержками подвигались далее к югу, — зима всё крепла. Целые затоны стояли уже, покрытые плёнкой темного девственно-чистого льда, и камень, брошенный с берега, долго катился, скользя по гладкой поверхности и вызывая странный, всё повышавшийся переливчатый звон, отражаемый эхом горных ущелий. Далее лёд, плотно схватив уже края реки и окрепшие «забереги», противился быстрому течению. Мороз всё продолжал свои завоевания, забереги расширялись, и каждый шаг в этой борьбе отмечался чертой изломанных льдинок, показывавших, где ещё недавно было живое течение, отступившее опять на сажень-другую к середине...

Потом кое-где на берегах лежал уже снег, резко оттеняя тёмную, тяжёлую речную струю. Ещё дальше, — мелкие горные речки присоединялись к этой борьбе. Постепенно прибывая от истоков, они то и дело взламывали свой лёд в устьях и кидали его в Лену, загромаждая свободное течение и затрудняя её собственную борьбу с морозом... Черты изломов на реке становились всё выше; льдины, выбрасываемые течением на края заберегов, всё толще. Они образовали уже настоящие валы, и порой нам было видно с берега, как среди этих валов начиналось тревожное движение. Это река сердито кидала в сковывавшие её неподвижные ледяные укрепления свободно ещё двигавшимися по её стрежню льдинами, пробивала бреши, крошила лёд в куски, в иглы, в снег, но затем опять в бессилии отступала, а через некоторое время оказывалось, что белая черта излома продвинулась ещё дальше, полоса льда стала шире, русло сузилось...

Чем дальше, тем эта борьба становилась упорнее и грандиознее. Река швыряла уже не гонкие льдины, а целые огромные глыбы так называемого «тороса», которые громоздились друг на друга в чудовищном беспорядке. Картина становилась всё безотраднее. Ближе к берегам торос уже застыл безобразными массами, а в середине он всё ещё ворочался тяжёлыми, беспорядочными валами, скрывая от глаз застывающее русло, как одичалая толпа закрывает место казни... Вся природа, казалось, была полна испуга и печального, почти торжественного ожидания. Пустынные ущелья горных берегов покорно отражали сухой треск ломающихся ледяных полей и тяжёлое кряхтение изнемогающей реки.

Ещё через некоторое время темная струя в середине тоже побелела: по ней, тихо ворочаясь, сталкиваясь, шурша, густо плыли белые льдины сплошного ледохода, готового окончательно стиснуть присмирившее и обессиленное течение.

II

Однажды с небольшого берегового мыса мы увидели среди этих тихо передвигавшихся ледяных масс какой-то чёрный предмет, ясно выделявшийся на бело-жёлтом фоне. В пустынных местах всё привлекает внимание, и среди нашего маленького каравана начались разговоры и догадки.

— Ворона, — сказал кто-то.

— Медведь, — возражал другой ямщик.

Мнения разделились. Одним чёрная точка казалась не больше вороны, другим — не меньше медведя: отдалённое однообразие этих белых подвижных масс, лениво проплывавших между высокими горами, — совершенно извращало перспективу.

— Откуда же взяться медведю на середине реки? — спросил я у ямщика, высказавшего предположение о медведе.

— С того берега. В третьем годе медведица вон с того острова переправилась с тремя медвежатами.

— Ноцце тоже зверь с того берега на наш идёт... Видно, зима будет лютая...

— Мороз гонит, — прибавил третий.

Весь наш караван остановился у мыса, ожидая приближения заинтересовавшего всех предмета. Белая ледяная каша, между тем, тихо подвигалась к нам, и было

заметно, что чёрная точка на ней меняет место, как бы, действительно, переправляясь по льдинам к нашему берегу.

— А ведь это, братцы, козуля, — сказал, наконец, один из ямщиков.

— Две, — прибавил другой, взглядевшись.

Действительно, это оказались горные козы и, действительно, их было две. Теперь нам уже ясно были видны их тёмные изящные фигурки среди настоящего ледяного ада. Одна была побольше, другая поменьше. Может быть, это были мать и дочь. Вокруг них льдины бились, сталкивались, вертелись и крошились; при этих столкновениях в промежутках что-то кипело и брызгало пеной, а нежные животные, насторожившись, стояли на большой, сравнительно, льдине, подобрав в одно место свои тоненькие ножки...

— Ну, что будет! — сказал молодой ямщик с глубоким интересом.

Огромная льдина, плывшая впереди той, на которой стояли козы, стала как будто замедлять ход и потом начала разворачиваться, останавливая движение задних. От этого вокруг животных поднялся вновь целый ад разрушения и плеска. Льдины становились вертикально, лезли друг на друга и ломались с громким, как выстрелы, треском. По временам между ними открывалась и смыкалась опять тёмная глубь. На мгновение два жалких тёмных пятнышка совсем было исчезли в этом хаосе, но затем мы тотчас же заметили их на другой льдине. Опять собрав свои тонкие, дрожащие ножки, козы стояли на другой ледяной площадке, готовые к новому прыжку. Это повторилось несколько раз, и каждый прыжок с рассчитанной неуклонностью приближал их к нашему берегу и удалял от противоположного.

Можно было уже проследить план умных животных. Невдалеке от нас конец мыса выступал острым краем в реку, и здесь льдины, разгоняемые течением, разбивались с особенною силой. Зато более отдалённые, избегавшие линии удара, тотчас же подхватывались отражённой струёй и уносились опять к другому берегу реки. Старшая из двух коз, видимо руководившая переправой, с каждым прыжком, очевидно, направлялась на этот мысок, гремевший от напора ледохода... Видела ли она нас или нет, — но наше присутствие она явно не принимала в соображение. Мы тоже стояли на самом мысу неподвижно, и даже большая остроухая и хищная станочная собака, увязав-

шаяся за нами, очевидно, была заинтересована совершенно бескорыстно исходом этих смелых и трагически-опасных эволюций... Совсем уже близко от берега, в десятке саженей от целой кучки людей, козы всё так же были поглощены только столкновением льдин и своими прыжками. Когда льдина, на которой они стояли, тихо кружась, подошла к роковому месту, у нас даже захватило дыхание... Мгновение... Сухой треск, хаос обломков, которые вдруг поднялись кверху и поползли на обледенелые края мыса, — и два чёрные тела легко, как брошенный камень, метнулись на берег, поверх этого хаоса.

Они были уже на берегу. Но на другой стороне косы была тёмная полоса воды, а проход загораживала кучка людей. Однако, умное животное не задумалось ни на минуту. Я заметил взгляд её круглых глаз, глядевших с каким-то странным доверием, и затем она понеслась сама и направила младшую прямо к нам. Станочная собака, большой мохнатый Полкан, сконфуженно посторонилась, когда старшая коза, загораживая младшую, пробежала мимо неё, почти коснувшись боком её мохнатой шерсти. Собака только поджала хвост и задумчиво отбежала в сторону, как будто озадаченная собственным великодушием и опасаясь, что мы истолкуем его в невыгодном для неё смысле. Но мы одобряли её сдержанность и только радостно смотрели кверху, где два стройных тела мелькали на лету, распластываясь над верхушками скал...

III

Эту станцию с нами вместе ехал случайным попутчиком Иван Родионович Сокольский, начальник разведочной приисковой партии. Когда-то какая-то буря занесла его в далёкую Сибирь, и он уже не старался вырваться отсюда, втянувшись в богатую своеобразными впечатлениями жизнь приискового разведчика. Это был человек крупный, с обветренным лицом, седеющей гривой волос и как бы застывшими чертами, нелегко выдававшими душевные движения. Его чувства, казалось, так же скрывались под невыразительной физиономией, как течение реки под льдами. В его кошеве (в которой эту станцию я ехал с ним вместе) лежало ружьё в чехле из лосиной кожи, и хотя он стоял рядом, и ему стоило только протянуть руку, чтобы вынуть ружьё, он не сделал этого движения. Его твёрдые серые глаза все время не отрывались от животных, и

мне в первый раз в течение нашего — недолгого, впрочем, — знакомства показалось, что в этих серых глазах мелькает что-то, не совсем холодное и не совсем заурядное.

Когда весь этот маленький эпизод закончился благополучно, мы все уселись опять, и наш караван двинулся далее, растянувшись под каменистым берегом. Все были настроены как-то весело, и все обсуждали смелый подвиг животного, сумевшего сохранить такое самообладание среди стольких опасностей.

— Впрочем, — сказал я, улыбаясь, — кое-что надо отнести и на наш счёт. Можно подумать, что мороз имеет свойство пробуждать добрые чувства.

— Из чего вы это заключаете? — спросил Сокольский серьёзно.

— Из совершенно необычного поведения этого Полкана, а также, простите сопоставление, — вашего собственного: ваше ружьё осталось в чехле.

— Да, — ответил прискаатель. — Это правда. Эти бедные животные на наших глазах преодолели столько опасностей, и, я думаю, даже Полкану было совестно закончить всё это простым убийством на берегу... Заметили вы, с каким самоотвержением старшая закрыла младшую от собаки?.. Всякий ли человек делает это при таких обстоятельствах?

— Всякая мать, я думаю... — сказал я, улыбнувшись. — Вообще, мне кажется, на вас этот маленький эпизод произвёл сильное действие.

Лицо Сокольского носило следы внутреннего волнения, глаза глядели с мягкой грустью...

— Да, — ответил он задумчиво. — Это напомнило мне одну историю и одного человека... Вот вы сказали о действии мороза и о добрых чувствах. Нет, мороз — это смерть. Думали ли вы, что в человеке может замёрзнуть, например... совесть?

— И даже весь человек может превратиться в льдину, то есть перестанет быть человеком, — ответил я, опять улыбнувшись. Настроение моего спутника казалось мне всё более загадочным.

— Нет, — ответил он с той же странной мягкой грустью. — Нет, гораздо раньше. Вот я расскажу вам, если хотите... Кстати и было это почти в этих самых местах. Я вот еду теперь с вами, и мне кажется, что... я переживаю начало моего рассказа, а вы поедете дальше и встретите его продолжение...

«Эго было в 18... таком-то году. В то время я только что получил место и ехал с товарищем на прииск. Осень, как и нынешняя, сильно запоздала, зима медлила, и мы подвигались очень тихо. Здесь вот приблизительно мы также встретили первый ледоход. Дальше лёд всё крепче схватывал реку, течение становилось всё уже, потом оно стало перерываться заторами. Вот посмотрите сами, что это такое... В одном месте густо сталкиваются огромные льдины и загораживают течение. Река нагромождает их всё больше, ломает лёд, образует пороги, ревет, беснуется... Кругом на целые вёрсты стоит гул и грохот... Потом лёд опять прорвётся и сплывёт вниз, а на середине реки мало-помалу остаются только полыньи, над которыми носится густой пар, прохваченный морозом.

Я ехал с товарищем — поляком из ссыльных. Он участвовал в известном восстании на кругобайкальской дороге и был ранен. Усмиряли их тогда жестоко, и у него на всю жизнь остались на руках и ногах следы железа: их вели в кандалах без подкандалников по морозу... От этого он был очень чувствителен к холоду... И вообще, существо это было хлипкое, слабое, — в чём душа, как говорится... Но в этом маленьком теле был темперамент прямо огромный. И вообще, весь он был создан из странных противоречий... Фамилия его была Игнатович»...

Сокольский задумался, и некоторое время мы ехали в молчании. Молчание это длилось долго, и я хотел уже напомнить моему спутнику о продолжении рассказа, как вдруг он опять повернулся ко мне.

«Боюсь, что я не сумею вам передать, что это была за натура... Идеалист и романтик, воспитанный на Красинском, Словацком и Мицкевиче. Нам, русским, всегда было чуждо это настроение, эти... как бы сказать... экстатические преувеличения, что ли. Есть у Мицкевича одно стихотворение: кто-то, какое-то огромное я головой поднялось в надзвёздные высоты... Кругом головы венец из солнц, руки он возложил на звёзды, и их хоры, как клавиши, звучат созданной им мировой симфонией... В этом роде... Я всегда оставался холоден к этим образам и с некоторым удивлением слушал, как мой приятель (мы жили с ним в Якутске около года) декламировал их с необыкновенным огнём и увлечением. И, не понимая сам ни возможности, ни красоты этих картин и этого настроения, — я всё же должен был признать, что они могут будить от-

ветные отголоски: мой маленький приятель, казалось, вырастал, голос его начинал звенеть, глаза сверкали, и... если не образы, которые мне всё-таки казались ненатурально преувеличенными и странными, — то звуки его голоса заражали даже меня...

Я думаю, что это можно назвать романтизмом... Какое-то преувеличенное представление о человеке, о его «божественном начале», об его титаническом значении. Но в этом настроении моего приятеля не было цельности. Кажется, уже во время самого восстания, за которое он и попал в Сибирь, человеческая природа повернулась к нему своими не особенно привлекательными и во всяком случае далеко не божественными сторонами... Потом было что-то и с женщиной. Когда она представляется в надзвёздных высотах, созданной из лучей, то, разумеется, обратная сторона женской натуры воспринимается с болезненной чуткостью... Как бы то ни было, на него находили порой целые полосы мизантропии. Тогда он становился почти невыносим, особенно в совместной жизни. В его взгляде, пронизывающем и холодном, виднелось что-то вроде презрения — к вам, к незнакомому прохожему, к самому себе. В эти периоды он становился материалистом и циником, говорил резкости, и... я тогда старался уйти куда-нибудь надолго, по возможности на несколько дней... Товарищ же мой с особенной заботливостью принимался ухаживать за животными...

Любовь к животным была тоже выдающейся чертой этого странного человека. Бывали целые периоды, когда наше скромное жилище положительно превращалось в лечебницу. Целую неделю он возился с замёрзшей вороной, которую вернул к жизни, а больную лошадь водил в поводу на прогулку по два раза в день, не смущаясь насмешками. И замечательно, что чем более он сердился на человека, тем более нежности отдавал животным. В конце концов пессимист и циник (в такие периоды) по отношению к «царю природы», он превозносил её меньших тварей. Он не только признавал в них ум, память, соображение, совесть, но даже считал эти стороны интеллекта исключительно их принадлежностью, совершенно чуждой человеку... При этом он становился дьявольски, невыносимо остроумен и саркастичен, и порой, когда мне некуда было скрыться в периоды его мизантропии, я совершенно изнемогал под градом его парадоксов и начинал, право же, чувствовать себя действительно ниже всякого скота, в то время как какая-нибудь собака со спиной, перешиб-

ленной поленом досужего бездельника, казалась мне чуть не сознательным страдальцем и философом. Впрочем, когда эти припадки проходили, он опять оживал, опять парил под небесами и декламировал «мировые симфонии». В то время он тоже получил место на прииске чем-то вроде смотрителя материального склада... В практических вопросах я всегда имел преимущество. Я нашёл ему эту должность и уговорил принять её. Он пассивно подчинился, и мы отправились в путь, как только получили аванс. Обстоятельства наши были не особенно блестящи.

Ехали мы всё-таки несколько быстрее вашего, и несмотря на то, что одежка у нас была неважная, как-то ещё не успели озябнуть настоящим образом до самой Олекмы и даже дальше. Морозы были порядочные, но озябнешь и отогреешься, а на следующий день выезжаешь как ни в чём не бывало.

За Олекмой река уже остановилась, оставались только полыньи... Однажды, проезжая мимо одной из них, мы увидели двух уток. На них нам указал ямщик кнутовищем. Трудно мне теперь передать вам это истинно жалостное зрелище. Утки были отсталые. Товарищи давно улетели, а они, застигнутые болезнью или недостатком сил для перелёта, остались умирать на этой холодной реке. Пока течение было ещё свободно хоть на середине, они плавали, спасаясь как-то от ледохода; потом пространство воды всё суживалось, потом остались только эти полыньи. Когда и они замёрзнут, уткам предстояла гибель. Теперь они вдвоём метались по узкой полынье, охваченные холодным паром, а кругом на них смотрели вот такие же сумрачные и безучастно холодные горы.

Я помню, что ямщик смеялся, скаля свои белые зубы... Мне стало немного жутко и холодно, и я запахнулся дохой, как будто это подо мной была эта тёмная холодная глубина. Но мой товарищ сразу заволновался и вспыхнул.

— Стой! — закричал он ямщику. — Неужели вы способны проехать мимо?.. — обратился он ко мне с горечью и, не ожидая, пока ямщик остановит лошадей, выскочил из кошевы, затем, скользя и падая на торосьях, кинулся к полынье.

Ямщик смеялся, как сумасшедший, и я тоже не мог удержаться от улыбки при виде того, как мой товарищ, наклонившись над узкой, но длинной полыньей, старался поймать уток. Птицы, разумеется, кинулись от него. Тогда мой маленький спутник перебежал на нижний конец полыньи, правильно рассчитав, что уток теперь понесёт

течением к нему, особенно когда, заинтересованный этим эпизодом, я тоже вышел на лёд и погнался за ними книзу... Нырять они боялись, так как течение несло под лёд. Одна из этих птиц поднялась было на воздух, но другая, потерявшая силы, а может быть когда-нибудь подстреленная, летать не могла, она только взмахнула крыльями и осталась. Тогда и другая, сделав круг над холодными льдами реки, вернулась к своей подруге.

Я не могу вам описать, какое действие произвело это проявление великодушия на моего друга. Он стоял на льду, следя за полётом птицы, мелькавшей на фоне угрюмых гор, опущённых снегами, и когда она самоотверженно шлёпнулась в нескольких шагах на воду, с очевидным намерением разделить общую опасность, у него на глазах появились слёзы... Затем он решительно заявил, что мы можем, если угодно, ехать дальше, а он останется здесь, пока не поймает обеих уток.

Я знал, что он непременно исполнит свою угрозу, и у нас началась своеобразная охота, к которой, наконец, присоединился и ямщик. В результате одна птица, именно та, которая пыталась улететь, — утонула. Она нырнула из моих рук и течением её унесло под лёд... Другая очутилась в руках ямщика. Игнатович сильно вымок, и с рукавов его дохи лилась вода.

Это было очень серьёзно, так как до станции было ещё не близко. Я укутал его, чем мог, но на станке мы едва отёрли его обмороженные пальцы, и целые сутки после этого мы не говорили друг с другом. Утку эту мы повезли дальше, и хотя я принимал участие в её спасении и под конец даже увлёкся этим благотворительным спортом, но всё-таки сознавал, что это сантиментально и глупо, тем более что всюду наш третий пассажир вызывал справедливые, по-моему, насмешки станочников. Игнатович чувствовал это моё настроение и презирал меня.

В конце концов утка всё-таки издохла, и мы её кинули на дороге, а сами поехали дальше. Несколько дней шёл густой пушистый снег, покрывший на $\frac{3}{4}$ аршина и лёд, и землю.. Он массами лежал на деревьях и порой падал с них комьями, рассыпаясь мелкою пылью в светлом воздухе.

Потом ударил мороз в 30, 35, 40 градусов. Потом на одной из станций мы уже видели замёрзшую в термометре ртуть, и нам сказали, что так она стоит несколько дней.

Птицы замедляли полёт, судорожно взмахивали крыльями и падали на землю, медведи зябли в берлогах и выхо-

дили тощие, испуганные и злые... Охотники на белок прекратили из-за этих озлобленных медведей свой промысел.

Мы тоже начали зябнуть. Вы ведь знаете, что это такое: дыхания нехватает, моргнёшь глазами — между ресницами протягиваются тонкие льдинки, холод забивается под одёжу, потом в мускулы, в кости, до мозга костей, как говорится, — и говорится не даром... Вас охватывает дрожь, какая-то внутренняя, пронизывающая, неприятная и даже, право, унижительная... Приедешь на станцию, — до полуночи едва начнёшь обогреться, а на утро трогаешься в путь и чувствуешь, что в тебе что-то убыло, что начнёшь зябнуть раньше, чем вчера, и приедешь на ночлег ещё более озябший... Настроение меняется, впечатления постепенно тускнеют, люди кажутся неприятнее... Сам себе тоже становишься противен... В конце концов закутываешься как можно плотнее, садишься поудобнее и стараешься об одном: как можно меньше движений, как можно меньше мыслей... организм инстинктивно избегает всякой траты... Сидишь, и pojemногу стынешь, и ждёшь с каким-то испугом, когда кончатся эти ужасные 40—50-вёрстные перегоны...

Наконец мы стали приближаться к Витиму. С N-ской станции выехали мы светлым, сверкающим снежным утром. Вся природа как будто застыла, умерла под своим холодным, но поразительно роскошным нарядом. Среди дня солнце светило ярко, и его косые лучи были густы и желты.... Продираясь сквозь чащу соснового бора, они играли кое-где на стволах, на ветвях, выхватывая их из белого, одноцветного и сверкающего сумрака.

Перегон был необычайно длинен. Ямщик (им здесь ездить приходится не счень часто) сначала был очень бодр и даже пел какую-то безобразную приисковую песню... Потом и он смолк и то и дело бежал вприпрыжку рядом с санями, усиленно топая ногами и хлопая озябшими руками в рукавицах... Мой спутник, казалось, совсем застыл. Во всё время он заговаривал только раз, но его голос показался мне скрипучим и неприятным, и я проворчал что-то сердитое и невнятное даже для меня самого. Потом он молчал, как закоченелый, и я представлял себе его лицо — с мизантропическим и противно-злым выражением. Я тоже молчал и отворачивался в сторону, чтобы изморозь моего дыхания не попадала мне в лицо через отверстие в башлыке...

Дорога пошла лесом, полозья скрипели; лошади то и дело фыркали, и тогда ямщик останавливался и извлекал

пальцами льдины из их ноздрей... Высокие сосны проходили перед глазами, как привидения, белые, холодные и как-то не оставлявшие впечатления в памяти...

Уже вечерело, последние лучи солнца, ещё желтее и гуще, уходили из лесу, с трудом карабкаясь по вершинам. А внизу ровный белый сумрак как бы ещё более настывал и синел. Звон колокольчика болтался густо и как-то особенно плотно: точно ударяли ложечкой по наполненному жидкостью стакану. Эти звуки тоже раздражали и тревожили нервы...

В одном месте в глаза мне попало неожиданное впечатление: невдалеке от дороги вылся тонкий дымок между валежником. На пне сидел человек, и его фигура одна чернела среди общей белизны тёмным пятном... Над ним со всех сторон свесились мохнатые лапы лесной заросли, вверху ещё освещённые солнцем, внизу уже охваченные сумраком наступающей ночи... Зрелище это промелькнуло мимо моего неподвижного взгляда... В последнее мгновение мне показалось, что фигура шевельнулась, и что это имело какое-то отношение к нам, к нашему суетливому колокольчику, к нашему быстрому движению. Но я не повернул головы, не повёл глазами. Видение пронеслось мимо и исчезло, и впечатления плыли к сознанию застывшие, мёртвые, неподвижные, ничего в нём не будя и не шевеля воображения...

Ямщик повернулся к нам и, наклонясь, стал говорить что-то, и помню, что он смеялся. Но для меня это были только разрозненные звуки, точно звенели льдинки... Самые слова были пусты, в них для меня в ту минуту не было никаких понятий. Смех ямщика тоже не казался мне смехом и не производил на меня того впечатления, какое произвёл бы при других обстоятельствах. Я просто видел неприятно-желтоватое лицо в рамке мехового малахая, два глаза с ресницами, опущёнными инеем. Челюсти на этом лице двигались, рот был неприятно перекошен, и из него вылетали вместе с паром пустые звуки, как звон по стеклу... Вот и всё... Мой спутник зашевелился и тоже пробормотал что-то. Кажется, он сердито торопил ямщика...

Короткий день давно угас, когда мы достигли станка и расположились на ночлег.

Помню, это была кучка лагун, как и большинство станков — под отвесными скалами. Те, кто выбирали места для этих станков, мало заботились об удобствах будущих обитателей. N-ский станок стоял на открытой каменной

площадке, выступавшей к реке, которая в этом месте вьётся по равнине, открытой прямо на север. Несколько вёрст далее станок мог бы укрыться за выступом горы. Здесь он стоял, ничем не прикрытый, как бы отданный в жертву страшному северному ветру.

Кроме официального названия, жители называли его ещё «Холодным станком». И действительно, трудно найти что-нибудь более вызывающее представление о холоде, чем эти кучки брёвен, глины и навоза на каменистой площадке, замётённые снегом и вздрагивавшие от ветра. Лес, который мы оставили позади, кончился у начала лугов, в низинке, и не закрывал станка, а только наполнял воздух протяжным, пугающим гулом.

Впрочем, мы рады были и этому приюту, и доехали как раз во-время, чтобы быть ещё в состоянии отогреть застывшие члены. К счастью, лесу в окрестностях было довольно, не принадлежащего никому, кроме бога, поэтому скоро в камельке запылал яркий огонь, и мы, разостлав на полу одеяло и шкуры, легли прямо против пламени, проглотив наскоро по стакану чаю. Стаканы было трудно держать в заоченелых руках, но ощущение теплоты потерялось; мы только обжигались, а не согревались кипятком и, бросив чай, заползли под свои шубы. Зубы у меня всё ещё стучали, озноб чувствовался даже в костях.

Хозяин, допив наш чай, угостив также сильно озябшего ямщика, подложил ещё дров и скрылся в какой-то угол. В тёмной избушке всё затихло.

Только снаружи слышался ровный гул, как будто кто-то огромный шагал от времени до времени по окованной морозом земле. Земля глухо гудела и смолкала до нового удара... Удары эти становились всё чаще и продолжительнее. По временам наша избушка тоже как будто начинала вздрагивать, и внутренность её гудела, точно пустой ящик под ветром. Тогда, несмотря на шубы, я чувствовал, как по полу тянет холодная струя, от которой внезапно сильнее разгорался огонь и искры вылетали гуще в камин.

— Беда! — сказал в одну из таких минут хозяин, обращаясь к засыпавшему ямщику. — Как поедешь? Поднялся сивер, позёмка идёт.

— Да... — ответил тот. — А мороз не стал меньше... Такому ветру, — прибавил он, по-своему коверкая русский язык, — гляди и почта не ходит...

— Не дай бог, — прибавил хозяин, зевая.

Я понял, что это начинается сравнительно редкое явление — морозная буря, когда налетающий откуда-то ветер

толчется в отяжелевший морозный воздух. Отдельные толчки и гул служили признаками первых усилий ветра, ещё не могущего двинуть сгущённую атмосферу... Потом толчки стали продолжительнее, гул становился ровным, непрерывным. Охлаждённый ниже 40 градусов воздух тронулся с места и тянул, точно над нашей площадкой неслись волны бездонного океана...

Под этот шум я стал засыпать, всё ещё плохо сознавая происходящее и только радуясь животной радостью при мысли, что я в избе, близко к огню, что всё то, что во мне так неприятно застыло и ооченело, скоро должно оттаять и распуститься...

И действительно, что-то «оттаяло... и распустилось»...

V

«Как и когда оказалось, что я уже не сплю, и притом совсем не сплю, — сказать я бы не мог. Я проснулся незаметно, но некоторое время мне казалось, что я ещё вижу сон, или что я тщательно берегу в памяти остатки сна, как бы боясь, что он исчезнет, и я не успею рассмотреть в нём что-то очень важное и очень нужное. А между тем, сон был самый простой.

Мне снилось, что я опять еду той же дорогой, и опять мне холодно, и опять кругом меня опушённый инеем лес, и косые лучи солнца, густые и жёлтые, уходят из этого леса, играя кое-где на стволах и мохнатых ветках... Только где-то за лесом что-то ещё гудит глухими, стонущими ударами, как будто гонится за нашими санями.

Потом я увидел кучу деревьев, составлявших как бы беседку под мохнатыми ветвями, белыми от снега, и тонкий, как будто замирающий дымок, и около костра тёмную фигуру... И всё это, по обычной нелогичности сна, казалось мне острыми, колючими льдинками, потавшими мне в грудь и холодившими сердце.

Потом я увидел ещё лицо ямщика, сначала бессмысленное и лишённое выражения... Постепенно, однако, оно менялось, становилось знакомым, и, под влиянием его взгляда, льдинки в груди начали вдруг мучительно быстро таять. И вместе с тем я чувствовал, что беседка из ветвей в лесу встаёт во всех подробностях, которых я не замечал раньше, и всякая подробность обрастает в воображении особенными впечатлениями, и мне страшно вглядеться в лицо человека, как будто зашевелившегося на сне, но ямщик требует от меня, чтобы я непременно взгля-

делся... Я сержусь на него, но потом вижу, что это уже не ямщик, а Игнатович, и что под влиянием его взгляда, полного мучительной тоски, всё то, что лежало в глубине моей памяти бесцветными холодными льдинками, вдруг растаяло...»

Рассказчик остановился и, помолчав, сказал:

«Вы помните, вероятно, легендарные рассказы о полярных странах средневековых путешественников. Зимой слова замерзают и лежат мёрзлыми льдинами до тепла. А потом оттаивают и опять становятся словами... Если понимать это как метафору, в этом есть глубокий смысл. По крайней мере в эту минуту я вдруг вспомнил слова ямщика, которые он говорил ещё тогда, на дороге, и которые до этого времени лежали у меня где-то в глубине памяти лишёнными смысла. Да, несомненно, он говорил тогда об этом человеке в лесу и о том, что он «убился» где-то на приисках и идёт пешком от станка к станку... Только теперь эти слова вдруг оттаяли, и от них в груди у меня что-то мучительно зануло...»

Я невольно застонал и раскрыл глаза. Огонь в камине почти догорел. На дворе всё ещё тянул ветер, надо мной наклонилось лицо моего спутника...

Никогда в моей жизни, ни прежде, ни после, я не видел ничего ужаснее этого лица, освещённого трепетным пламенем камня... Оно было совершенно искажено выражением ужаса и как будто мучительного вопроса. Нижняя челюсть его дрожала, зубы стучали, как будто от озноба...

— Что такое? Ради бога! — сказал я, подымаясь.

— Вы не знаете? — спросил он, глядя на меня своими угасшими и помутневшими глазами. — Скажите, разве это... был только сон?

— Что именно?

— То, от чего вы сейчас застонали и проснулись, — сказал он резко и затем подозрительно взглянул на меня. И видя, что я не отвечаю, он всё так же подозрительно всматривался мне в лицо:

— Вы не заметили там, в лесу... человека?..

Я промолчал и невольно отвёл глаза.

— Послушайте, — заговорил он, — скажите мне что-нибудь... Я ещё думаю, что это был сон... Ведь не может быть, чтобы это было наяву!.. Чтобы мы...

— Да ведь это и был почти сон, — сказал я. — Мороз так притушает впечатления...

Он сделал резкое движение и сразу сел на своём месте; глаза его странно сверкнули...

— Правда?.. — сказал он жалобно и потом вдруг прибавил с какой-то дикой энергией: — Не лгите! Не изворачивайтесь... Я тоже лгал... Я знал, что это было наяву... Мы всё видели... всё... Этот человек подымался, он хотел что-то крикнуть... Вы это знаете, и я знаю, и тогда знал... Вы будете подыскивать оправдания... Совесть замерзла!.. О, конечно, это всегда так бывает: стоит понизиться на два градуса температуре тела, и совесть замерзает... закон природы... Не замерзает только соображение о своих удобствах и подлое, фарисейское лицемерие... О, какая низость!..

Он схватил голову руками, и несколько секунд прошло в молчании... Наша избушка всё продолжала вздрагивать, но ровный гул прекратился: опять слышались толчки, и мне положительно казалось, будто там, над рекой, лесом и ущельями, размеренно шагал кто-то огромный и тяжёлый...

— Да встаньте же, наконец, вы... негодяй! — крикнул вдруг Игнатович с дикой враждой. — Ведь мы с вами убили человека. Понимаете ли вы, себялюбивое животное! Хозяин, вставай... Зови всех... Господи боже!.. Что делать, что теперь делать?..

В освещённом пространстве около камина появилось испуганное лицо нашего хозяина. Уже с минуту он шевелился, прислушиваясь к непонятному и тревожному разговору незнакомых проезжих людей, упоминающих об убийстве. И теперь, всё ещё полусонный, испуганный не столько, вероятно, словами, сколько дикой энергией, звучащей в голосе почти помешанного человека, он быстро вскочил и стал напяливать на себя верхнюю одежду. Потом, не говоря ни слова, он открыл дверь и вышел в темноту. Ямщик, привезший нас, тоже проснулся, зевнул, сошёл с своего места и подбросил поленьев в камин... Он, видимо, совсем не понимал, в чём дело. В углу заплакал ребёнок, и послышался успокаивающий его женский голос.

Всё это навсегда врезалось мне в память, и никогда не забыть мне этой ужасной ночи, тёмной избушки с тихо набиравшимся в неё народом и этого протяжного гула снаружи. Знаете, порой есть что-то изумительно сознательное в голосах природы... Особенно, когда она грозит...»

VI

— Послушайте, может быть, вы всё-таки доскажете, что было дальше? — спросил я через некоторое время, видя, что мой спутник задумался и как будто забыл

о своём рассказе, глядя прямо перед собой на освещённые солнцем горы нашего берега. Реки с ледоходом теперь не было видно. Мы ехали лугом, впереди плелись мои спутники, о чём-то весело балагуря с своим ямщиком.

— Да, простите, пожалуйста!.. — заговорил рассказчик. — Я задумался. Это очень тяжёлые воспоминания, но... конечно, я доскажу... остановился я на том, что...

— Что в избу стали набираться ямщики, которых, вероятно, созвал хозяин.

— Да, да, конечно... Хозяин созвал их чуть не всех, думая, что в самом деле надо будет вязать убийц. Ямщики входили робко, зевая, крестясь, и жались к сторонке, оставляя вокруг нас пустое пространство. Скоро в углу около дверей образовалась тёмная куча людей, лица которых с любопытством и испугом тянулись из-за плечей стоявших впереди, глядя в нашу сторону. Последним явился староста с десятскими. Перекрестясь на икону, он резко ступил прямо к нам и заговорил грубо, очевидно, стараясь ободрить и себя и станочников:

— Ну, что такое набедокурили? Винуйтесь богу, великому государю...

Однако, когда я стал разъяснять, в чём дело, в избе постепенно водворялось что-то вроде разочарования. Этим людям жилось всегда так холодно, и мой рассказ, правда, бессвязный и сбивчивый, не облекался для них тем захватывающим, трагическим смыслом, какой он имел теперь для нас. Где-то в углу послышался даже смех.

— Да это Митрохин, поселенец! — сказал кто-то.

— Верно, он... Недели, сказывают, уж три плетётся с приисков. Надоели нам...

— И верно, — вставил своё замечание привезший нас ямщик. — У нас на станке третьего дня был. Лошадь просил. Свезите, говорит, Христа ради, ноги не ходят.

— Ну, что ж, не дали? — спросил староста сурово.

— Надоело уж нам возить-то их. Да и бумаги нет... — ответил ямщик, отворачиваясь. — Была бы бумага, или бы к нам привезли его, а то пешком же пришел... Как люди, так и мы...

— Пешком пришёл! Умные! То, чай, тепло было, а тут, видишь, сивер. Застынет теперь... Заседатель с доктором, небось, пешком не придут... Возить же доведется... А вы, господа, что народ зря булгачите?.. Ночное дело...

— У него теплина была (костёр), — вставил ямщик в виде оправдания.

— Как же «зря»? — сказал я, чувствуя, что почва у нас

начинает ускользать. — Ведь человек замёрзнет. Надо по-мочь.

— Как поможешь?.. Ежели бог сохранит, придёт, дальше свезём... Почто, Тимофей, не подобрал его? — обратился он опять к нашему ямщику.

— Где посадил бы я? Сами махоньки, сам окошел...

— Верно и то... Трое ехали... Что ж теперь делать? Теплина была, так, может, господь упасёт...

— Постойте! — крикнул я с тоской. — Нельзя же этак!.. Ведь в эту минуту, может быть, человек умирает... Слышите, что делается...

На мгновение водворилась тишина, и опять со двора слышны были удары, точно кто размеренно и с промежутками толкает что-то в ступе. И по временам воображение примешивало к этому стоны... Это доносился, вероятно, звенящий гул лесных верхушек, или, может быть, на реке трескался лёд.

В избе послышались вздохи. Тем не менее дверь открывалась. Ямщики начинали понемногу выходить.

— Спаси господи! — прошептал кто-то, и чей-то другой голос прибавил резко:

— Сами тоже стынем... Зима не пройдёт, чтобы на ближних станках не застыл человек, а то двое. Перегон у нас лютый!

— Третий год Федька в этом лесу застыл.

— В прошлом годе баба с мальчонком.

— А у меня внук не застыл, что ли? — злобно выкрикнул в толпе какой-то старик.

— Этому ветру почта не ходит, — опять сказал наш ямщик.

Двери скрипнули ещё и ещё... Народу убывало.

— Постойте! — сказал я в отчаянии. — Возьмите деньги, что ли! Десять рублей — кто согласится поехать со мною...

В это время мой взгляд упал на Игнатовича, безмолвно сидевшего на скамье у стола, с совершенно помертвевшим лицом, и мне стало вдруг как-то жутко. Голос мой сорвался...

Помню, что в эту минуту староста с внезапным участием взглянул мне в лицо и сделал движение...

— Двадцать, тридцать, всё, что у нас есть! — сказал я, почти задыхаясь от волнения.

— Стойте! — крикнул староста своим грубо-решительным голосом, от которого толпа ямщиков сразу остановилась. — Никто не уходит! Слышите, люди деньги дают, а

и без денег всё одно надо бы. Верно, что грех!.. Надо бога вспомнить! Ну, чья очередь? Говорите, старики!..

Толпа отхлынула от порога к середине избы. Староста стоял рядом со мною, и я теперь не сводил с него глаз. Это был мужик средних лет, рослый, смуглый, с грубыми, но приятными чертами лица и глубокими чёрными глазами. В них виднелась решительность и как будто забота.

— Эх, господин, — сказал он мне сурово, когда среди ямщиков начался тот говор, которым открывается обыкновенно обсуждение мирского дела на сходе. — Совесть у тебя есть, а ума мало... Без денег-то бы, пожалуй, лучше было... Я уже хотел объявить наряд... Теперь пойдёт склёка.

И действительно, началась мучительная «склёка». Вы знаете, эти ленские ямщики составляют своеобразные ямские общины, обломок прошлых веков. Земли у них нет, и состоят они на жалованьи. «Пара лошадей» составляет основание подушной раскладки, «душа» равняется части лошади, которой соответствует часть жалованья. Все доходы станка и все повинности приурочены к этому основанию... Теперь мои деньги вступали в эту раскладочную машину и притом деньги экстренные. Предстояло разверстать их на мир, а мир должен был выставить очередных.

Поднялись споры... Прогонная плата, части лошадей, старые счёты, очереди, возка дров, прогон почты, провоз заседателей и исправников, сироты, кормёжка арестантов — всё это теперь выступило на сцену и обсуждалось горячо и всесторонне.

Я несколько раз пытался остановить эти споры тоскливым напоминанием о том, что человек в это время может погибнуть, но ближайший ямщик сказал мне с серьёзной непреклонностью:

— Ничего не поделаешь, не мешай! Дело мирское... Помешаешь — хуже...

Споры продолжались. Решение всё ещё не выяснилось. Снаружи нёсся всё тот же злоеший гул...

Наконец вмешался староста, которому как будто сообщалось моё нетерпение. Он лучше меня, конечно, знал ту развёрсточную машину, которая так шумно действовала перед нашими глазами, и видел, что, пока она сделает точно и справедливо своё дело, пройдёт ещё немало времени. И вот он выступил вперёд, одним окриком остановил шум, потом повернулся к иконе и перекрестился широким крестом. Кое-где в толпе руки тоже поднялись инстинктивно

для креста... Тревожная ночь производила своё действие на грубые нервы...

— Братцы, — сказал он, — нельзя эдак-ту... Видит бог, святая владычица... Я отказываюсь. Не надо мне денег. Я еду не в зачёт, без очереди. Когда господь ежели поможет, — оставьте свои деньги, господин... Свечку, когда что, поставите...

В толпе водворилось молчание, и через минуту один из станочников, ещё недавно много споривший и горячившийся из-за какой-то неочередной «выти», первый сказал со спокойным сочувствием:

— Ну, помоги тебе господи... Ежели охотой...

— Дело твоё...

— Не в зачёт, — твоя воля... И то сказать: душа дороже денег... Тут и сам застынешь...

— Ишь ведь сиверко... Господи помилуй... Верно, почта не пойдёт... Ну их и с деньгами. Своя душа дороже...

— Помоги тебе владычица, Софрон Семёныч.

Я с безотчётным облегчением взглянул в ту сторону, где сидел Игнатович. Мне казалось, что в великодушном предложении старосты и в том, как оно было принято, есть что-то разрешающее и как бы оправдывающее также и нас. Но Игнатовича на этом месте уже не было.

Вскоре изба очистилась. Остались только хозяин, несколько замешкавшихся ямщиков и я. Игнатовича нигде не было видно. Ямщики говорили, что он вышел, одевшись, ещё до окончания развёрстки...

У меня сжалось сердце каким-то предчувствием. Я вспомнил его бледное лицо во время переговоров. Вначале на нём было обычное мизантропическое выражение, с примесью злого презрения к себе и другим. Но в последнюю минуту мне запомнилось только выражение глубокой, безнадежной печали. Это было в то время, когда я предложил деньги и среди ямщиков начались споры.

Я вышел на площадку, искал и звал его, прибавляя на всякий случай, что дело сделано и что я скоро еду за человеком в лесу... Но ответа не было, в окнах встревоженного станка гасли огни, ветер тянул попрежнему; по временам трещали стены станочных мазанок, и издали доносился стонущий звук лопающегося льда...

— Товарища кличешь? — спросил меня проходивший мимо ямщик. — Да он, чай, ушёл спать в другую избу... Беспокойно было у вас... Может, попросился к шабрам.

В это время к избе подъехали широкие розвальни, запряжённые парой лошадей, и староста, весь закутанный в меха, в огромных рукавицах, соскочил с них и подошёл ко мне.

— Что такое? — спросил он. — Что ещё?

— Скорей, скорей, ради бога! — сказал я, охваченный нервным ознобом. У меня возникла внезапная уверенность, что я найду Игнатовича по дороге.

— Ну, нет, — сказал он. — Погоди, бариин, этак нельзя. Одежда у тебя не по этому ветру. На вот, я привёз тебе. Одевайся!

И он настоял, чтобы я оделся в его меха... Мы выехали почти уже на рассвете, захватив с собой ещё кучу одёжи на всякий случай.

Ветер был тяжёлый и палящий. На небе светила полная луна, а внизу мчалась так называемая позёмка.

Вы знаете, что это? Ветер подымал с земли сухой снег и нёс вам навстречу ровно, непрерывно, упорно... Это не метель, но хуже всякой метели... В такую погоду всякое движение останавливается; кажется, мы действительно кой-чем рисковали в это утро. Мне потом отрезали два пальца...»

— Нашли вы этого человека? — спросил я нетерпеливо, видя, что Сокольский опять остановился.

— Нашли, — ответил он как-то беззвучно. — Это было уже серым утром... Ветер стал стихать... Сел холодный туман... У него был огонь, но он давно потух. Он, вероятно, заснул... Глаза у него, впрочем, были раскрыты и на зрачках осел иней...

— А ваш товарищ? Он, действительно, остался на станке?

Сокольский посмотрел на меня помутившимся и потускневшим взглядом.

— Я был глубоко убеждён, что он пошёл по дороге в лес, и потому всю дорогу ночью кричал и вглядывался. Староста успокаивал меня. Он, во-первых, никак не понимал, что человек может бесцельно отправиться на гибель, а во-вторых, дорога от станка была только одна и притом широкая и обставленная вехами, так что сбиться было невозможно, особенно в светлую всё-таки ночь...

Когда мы поехали обратно, уложив нашу печальную находку и закутав в меха, было уже утро. Ветер стих, и мороз внезапно сдался. Потом взошло солнце. Следов нигде не было...

— Значит, вы ошиблись?

— Мы приехали на станок... Там его тоже не было...

Сокольский замолчал, и на растроганном грубоватом лице его проступило выражение глубокой нежности...

— Он был непрактичен и беспомощен, как ребёнок, — сказал он. — Никогда он не умел найти дорогу... Выйдя из избы, он пошёл спасать замерзающего, но... взял в другую сторону...

Рассказчик повернулся ко мне.

— Понимаете вы это? Взял сразу из станка в другую сторону и пошёл всё прямо. Дорога тут была такая же широкая, и скоро опять начинался лес. В этом густом лесу на следующий день ещё сохранились в затишных местах следы. Они шли всё прямо, не сворачивая. Прошёл он удивительно много и... не отступил ни шагу, пока...

Сокольский замолчал и довольно долго смотрел в сторону.

— Надеялся ли он спасти этого незнакомого человека?.. Не думаю. Он пошёл, как был, захватив, впрочем, трут и огниво, которыми едва ли даже сумел бы распорядиться. Говорю вам — совершенный ребёнок. Ему просто стало невыносимо... И ещё... Мне порой приходит в голову, что он казнил в себе подлую человеческую природу, в которой совесть может замёрзнуть при понижении температуры тела на два градуса... Романтик в нём казнил материалиста...

Он опять замолк.

— Вы сказали, кажется, — подлую человеческую природу? — сказал я через некоторое время.

Он оглянулся, как будто несколько удивлённый.

— Ах, да!.. Не знаю я, не знаю!.. Просто ничего не знаю. Знаю одно, что погибают часто не те, кому бы следовало, а мы, которые остаёмся...

Он не досказал, махнул рукой, и всё остальное время мы ехали молча, пока из-за откоса не показались дымки станка, на котором нам пришлось расстаться. Сокольский очень торопился к своей партии и уехал вперёд, а мы поневоле ехали тише.

VII

Дня через два после этого, когда мы проезжали густым лесом, ямщик, молодой мальчишка, подросток, указал мне кнутовищем большой каменный крест в чаще, в стороне от дороги, и сказал:

— Человек тут застыл... двое... Крест поставил приискатель, Сокольский, — может, знаете? Вчера проезжал. Гляди, его следы это...

Действительно, по глубокому снегу, освещённому продиравшимися сквозь чащу лучами солнца, ясно виднелись чьи-то крупные следы от дороги к кресту и обратно.

— Никогда мимо не проедет, — сказал опять ямщик, повернувшись на облучке и улыбаясь. — Всегда вылезет. Постоит-постоит, опять садится. Креститься не крестится, а, видно, молится... Когда и заплачет... Чудак, а барки хороший.

И, хлестнув лошадь, он прибавил задумчиво:

— Видно, приятели были...

1901 г.

«ЛЕС ШУМИТ»

(Полесская легенда)

Было и былём поросло

Лес шумел...

В этом лесу всегда стоял шум — ровный, протяжный, как отголосок дальнего звона, спокойный и смутный, как тихая песня без слов, как неясное воспоминание о прошедшем. В нём всегда стоял шум, потому что это был старый, дремучий бор, которого не касались ещё пила и топор лесного барышника. Высокие столетние сосны с красными могучими стволами стояли хмурою ратью, плотно сомкнувшись сверху зелёными вершинами. Внизу было тихо, пахло смолой; сквозь полог сосновых игл, которыми была усыпана почва, пробились яркие папоротники, пышно раскинувшиеся причудливою бахромой и стоявшие недвижимо, не шелохнув листом. В сырых уголках тянулись высокими стеблями зелёные травы; белая кашка склонялась отяжелевшими головками, как будто в тихой истоме. А сверху, без конца и перерыва, тянул лесной шум, точно смутные вздохи старого бора.

Но теперь эти вздохи становились всё глубже, сильнее. Я ехал лесною тропой, и хотя неба мне не было видно, но по тому, как хмурился лес, я чувствовал, что над ним тихо подымается тяжёлая туча. Время было не раннее. Между стволов кое-где пробивался ещё косой луч заката, но в чащах расползались уже мглистые сумерки. К вечеру сбиралась гроза.

На сегодня нужно было уже отложить всякую мысль об охоте; впору было только добраться перед грозой до ночлега. Мой конь постукивал копытом в обнажившиеся корни, храпел и настораживал уши, прислушиваясь к гулко щёлкающему лесному эхо. Он сам прибавлял шагу к знакомой лесной сторожке.

Залаяла собака. Между поредевшими стволами мелькают мазанные стены. Синяя струйка дыма вьётся под нависшею зеленью; покосившаяся изба с лохматою крышей приютилась под стеной красных стволов; она как будто вырастает в землю, между тем как стройные и гордые сосны высоко покачивают над ней своими головами. Посредине поляны, плотно примкнувшись друг к другу, стоит кучка молодых дубов.

Здесь живут обычные спутники моих охотничьих экскурсий — лесники Захар и Максим. Но теперь, повидимому, сбоих нет дома, так как никто не выходит на лай громадной овчарки. Только старый дед, с лысою головой и седыми усами, сидит на завалинке и ковыряет лапоть. Усы у деда болтаются чуть не до пояса, глаза глядят тускло, точно дед всё вспоминает что-то и не может припомнить.

— Здравствуй, дед! Есть кто-нибудь дома?

— Эге! — мотает дед головой. — Нет ни Захара, ни Максима, да и Мотря побрела в лес за коровой... Корова куда-то ушла, — пожалуй, медведи... задрали... Вот это как, нет никого!

— Ну, ничего. Я с тобой посижу, обожду.

— Обожди, обожди, — кивает дед, и, пока я подвязываю лошадь к ветви дуба, он всматривается в меня слабыми и мутными глазами. Плох уж старый дед: глаза не видят и руки трясутся.

— А кто ж ты такой, хлопче? — спрашивает он, когда я подсаживаюсь на завалинке.

Этот вопрос я слышу в каждое своё посещение.

— Эге, знаю теперь, знаю, — говорит старик, принимаясь опять за лапоть. — Вот старая голова, как решето, ничего не держит. Тех, что давно умерли, помню, — ой, хорошо помню! А новых людей всё забываю... Зажился на свете.

— А давно ли ты, дед, живёшь в этом лесу?

— Эге, лавненько! Француз приходил в царскую землю, я уже был.

— Много же ты на своём веку видел. Чай, есть чего рассказать.

Дед смотрит на меня с удивлением.

— А что же мне видеть, хлопче? Лес видел... Шумит

лес, шумит и днём, и ночью, зимою шумит и летом... И я, как та деревина, век прожил в лесу и не заметил... Вот и в могилу пора, а подумаю иной раз, хлопче, то и сам смекнуть не могу: жил я на свете или нет... Эге, вот как! Может, и вовсе не жил...

Край тёмной тучи выдвинулся из-за густых вершин над лесною поляной; ветви замыкавших поляну сосен закачались под дуновением ветра, и лесной шум пронёсся глубоким усилившимся аккордом. Дед поднял голову и прислушался.

— Буря идёт, — сказал он через минуту. — Это вот я знаю. Ой-ой, заревёт ночью буря, сосны будет ломать, с корнем выворачивать станет!.. Заиграет лесной хозяин... — добавил он тише.

— Почему же ты знаешь, дед?

— Эге, это я знаю! Хорошо знаю, как дерево говорит... Дерево, хлопче, тоже боится... Вот осина, проклятое дерево, всё что-то лопочет, — и ветру нет, а она трясётся. Сосна на бору в ясный день играет-звенит, а чуть подыметя ветер, она загудит и застонет. Это ещё ничего... А ты вот слушай теперь. Я хоть глазами плохо вижу, а ухом слышу: дуб зашумел, дуба уже трогает на поляне... Это к буре.

Действительно, кучка невысоких коряжистых дубов, стоявших посредине поляны и защищённых высокою стеною бора, помахивала крепкими ветвями, и от них нёсся глухой шум, легко отличаемый от гулкого звона сосен.

— Эге! слышишь ли, хлопче? — говорит дед с детски-лукавою улыбкой. — Я уже знаю: тронуло этак вот дуба, значит *хозяин* ночью пойдёт, ломать будет... Да нет, не стомает! Дуб — дерево крепкое, не под силу даже хозяину... вот как!

— Какой же хозяин, деду? Сам же ты говоришь: буря ломает.

Дед закивал головой с лукавым видом.

— Эге, я ж это знаю!.. Нынче, говорят, такие люди пошли, что уже ничему и не верят. Вот оно как! А я же его видел, вот как тебя теперь, а то ещё лучше, потому что теперь у меня глаза старые, а тогда были молодые. Ой-ой, как ещё видели мои глаза смолоду!..

— Как же ты его видел, деду, скажи-ка?

— А вот всё равно, как и теперь: сначала сосна застонет на бору... То звенит, а то стонать начнет: ò-ох-хо-ò... ò-хо-ò! — и затихнет, а потом опять, потом опять, да чаще, да жалостнее. Эге, потому что много её повалит

хозяин ночью. А потом дуб заговорит. А к вечеру всё больше, а ночью и пойдёт крутить: бегаёт по лесу, смеётся и плачет, вертится, пляшет и все на дуба налегает, всё хочется вырвать... А я раз осенью и посмотрел в оконце; вот ему это и не по сердцу: подбежал к окну, тар-рах в него сосною корягой; чуть мне всё лицо не искалечил, чтоб ему было пусто; да я не дурак — отскочил. Эге, хлопче, вот он какой сердитый!..

— А каков же он с виду?

— А с виду он все равно как старая верба, что стоит на болоте. Очень похож!.. И волосы — как сухая омела, что вырастает на деревьях, и борода тоже, а нос — как здоровенный сук, а морда корявая, точно поросла лишаями... Тьфу, какой некрасивый! Не дай же бог ни одному крещёному на него походить... Ей-богу! Я-таки в другой раз на болоте его видел, близко... А хочешь, приходи зимой, так и сам увидишь его. Взойди туда, на гору, — лесом та гора поросла, — и полезай на самое высокое дерево, на верхушку. Вот оттуда иной день и можно его увидеть: идёт он белым столбом поверх лесу, так и вертится сам, с горы в долину спускается... Побежит, побежит, а потом в лесу и пропадёт. Эге!.. А где пройдёт, там след белым снегом устилает... Не веришь старому человеку, так когда-нибудь сам посмотри.

Разболтался старик. Казалось, оживлённый и тревожный говор леса и нависшая в воздухе гроза возбуждали старую кровь. Дед кивал головой, усмехался, моргал выцветшими глазами.

Но вдруг будто какая-то тень пробежала по высокому, изборождённому морщинами лбу. Он толкнул меня локтем и сказал с таинственным видом:

— А знаешь, хлопче, что я тебе скажу?.. Он, конечно, лесной хозяин, — мерзенная тварюка, это правда. Крещёному человеку обидно увидеть такую некрасивую харю... Ну, только надо о нём правду сказать: он зла не делает... Пошутить с человеком, пошутит, а чтоб лихо делать, этого не бывает.

— Да как же, дед, ты сам говорил, что он тебя хотел ударить корягой?

— Эге, хотел-таки! Так то ж он рассердился, зачем я в окно на него смотрю, вот оно что! А если в его дела носа не совать, так и он такому человеку никакой пакости не сделает. Вот он какой, лесовик!.. А знаешь, в лесу от людей страшнее дела бывали... Эге, ей-богу!

Дед наклонил голову и с минуты сидел в молчании. По-

том, когда он посмотрел на меня, в его глазах, сквозь застлавшую их тусклую оболочку, блеснула как будто искорка проснувшейся памяти.

— Вот я тебе расскажу, хлопче, лесную нашу бывальщину. Было тут раз, на самом этом месте, давно... Помню я... ровно сон, а как зашумит лес погромче, то и всё вспоминаю... Хочешь, расскажу тебе, а?

— Хочу, хочу, деду! Рассказывай!

— Так и расскажу же, эге! Слушай вот!

II

У меня, знаешь, батько с матерью давно померли, я ещё малым хлопчиком был... Покинули они меня на свете одного. Вот оно как со мною было, эге! Вот громада и думает: «Что же нам теперь с этим хлопчиком делать?» Ну, и пан тоже себе думает... И пришёл на тот раз из лесу лесник Роман, да и говорит громаде: «Дайте мне этого хлопца в сторожку, я его буду кормить... Мне в лесу веселее, и ему хлеб»... Вот он как говорит, а громада ему отвечает: «Бери!» Он и взял. Так я с тех самых пор в лесу и остался.

Тут меня Роман и выкормил. Ото ж человек был какой страшный, не дай господи!.. Росту большого, глаза чёрные, и душа у него тёмная из глаз глядела, потому что всю жизнь этот человек в лесу один жил: медведь ему, люди говорили, всё равно что брат, а волк — племянник. Всякого зверя он знал и не боялся, а от людей сторонился и не глядел даже на них... Вот он какой был — ей-богу, правда! Бывало, как он на меня глянет, так у меня по спине будто кошка хвостом поведёт... Ну, а человек был всё-таки добрый, кормил меня, нечего сказать, хорошо: каша, бывало, гречневая всегда у него с салом, а когда утку убьёт, так и утка. Что правда, то уже правда, кормил-таки.

Так мы и жили вдвоём. Роман в лес уйдёт, а меня в сторожке запрёт, чтобы зверюка не съела. А после дали ему «жинку» Оксану.

Пан ему жинку дал. Призвал его на село, да и говорит: «Вот что, говорит, Ромасю, женись!» Говорит пану Роман сначала: «А на какого же мне биса жинка? Что мне в лесу делать с бабой, когда у меня уж и без того хлопца есть? Не хочу я, говорит, жениться!» Не привык он с девками возиться, вот что! Ну, да и пан тоже хитрый был... Как вспомню про этого пана, хлопче, то и по-

думаю себе, что теперь уже таких нету, нету таких панов больше, вывелись... Вот хоть бы и тебя взять: тоже, говорят, и ты панского роду... Может, оно и правда, а таки нет в тебе этого... настоящего... Так себе, мизерный хлопчина, больше ничего.

Ну, а тот настоящий был, из прежних... Вот, скажу тебе, такое на свете водится, что сотни людей одного человека боятся, да ещё как!.. Посмотри ты, хлопче, на ястреба и на цыплёнка: оба из яйца вылупились, да ястреб сейчас вверх норовит, эге! Как крикнет в небе, так сейчас не то что цыплята — и старые детухи забегают... Вот же ястреб — панская птица, а курица — простая мужичка...

Вот, помню, я малым хлопчиком был: везут мужики из лесу толстые брёвна, человек может быть тридцать. А пан один на своём конике едет да усы крутит. Конёк под ним играет, а он кругом смотрит. Ой-ой! завидят мужики пана, то-то забегают, лошадей в снег сворачивают, сами шапки снимают. После сколько бьются, из снега брёвна вывозят, а пан себе скачет, — вот ему, видишь ты, и одному на дороге тесно! Поведёт пан бровью — уже мужики боятся, засмеётся — и всем весело, а нахмурится — все запечалятся. А чтобы кто пану мог перечить, того, почитай, и не бывало.

Ну, а Роман, известно, в лесу вырос, обращения не знал, и пан на него не очень сердился.

— Хочу, — говорит пан, — чтоб ты женился, а зачем, про что я сам знаю. Бери Оксану.

— Не хочу я, — отвечал Роман, — не надо мне её, хоть бы и Оксану! Пускай на ней чорт женится, а не я... Вот как!

Велел пан принести канчуки, растянули Романа, пан его спрашивает:

— Будешь, Роман, жениться?

— Нет, — говорит, — не буду.

— Сыпьте ж ему, — говорит пан, — в мотню¹, сколько влезет.

Засыпали ему-таки не мало; Роман на что уж здоров был, а всё ж ему надоело:

— Бросьте уж, — говорит, — будет-таки! Пускай же её лучше все черти возьмут, чем мне за бабу столько муки принимать. Давайте её сюда, буду жениться!

¹ Хохлы носят холщёвые штаны, вроде мешка, раздвоенного только внизу. Этот-то мешок и называется «мотнёю».

Жил на дворе у пана доезжачий Опанас Швидкий. Приехал он на ту пору с поля, как Романа к женитьбе заохивали. Услышал он про Романову беду — бух пану в ноги. Так и упал в ноги, целует...

— Чем, — говорит, — вам, милостивый пан, человека мордовать, лучше я на Оксане женюсь, слова не скажу...

Эге, сам-таки захотел жениться на ней. Вот какой человек был, ей-богу!

Вот Роман было обрадовался, повеселел. Встал на ноги, завязал мотню и говорит:

— Вот, — говорит, — хорошо. Только что бы тебе, человеку, пораньше немного приехать? Да и пан тоже — всегда вот так!.. Не расспросить же было толком, может, кто охотой женится. Сейчас схватили человека и давай ему сыпать! Разве, говорит, это по-христиански так делать? Тьфу!..

Эге, он порой и пану спуску не давал. Вот какой был Роман! Когда уж осердится, то к нему, бывало, не подступайся, хотя бы и пан. Ну, а пан был хитрый! У него, видишь, другое на уме было. Велел опять Романа растянуть на траве.

— Я, — говорит, — тебе, дураку, счастья хочу, а ты нос воротись. Теперь ты один, как медведь в берлоге, и заехать к тебе не весело... Сыпьте ж ему, дураку, пока не скажет: довольно!.. А ты, Опанас, ступай себе к чертовой матери. Тебя, говорит, к обеду не звали, так сам за стол не садись, а то видишь, какое Роману угощенье? Тебе как бы того же не было.

А Роман уж и не на шутку осердился, эге! Его дуют-таки хорошо, потому что прежние люди, знаешь, умели славно канчуками шкуру спускать, а он лежит себе и не говорит: довольно! Долго терпел, а всё-таки после плюнул:

— Не дождёт её батько, чтоб из-за бабы христианину вот так сыпали, да ещё и не считали. Довольно! Чтоб вам руки поотсыхали, бисова дворня! Научил же вас черт канчуками рабтаты! Да я ж вам не сноп на току, чтоб меня вот так молотили. Коли так, так вот же и женюсь.

А пан себе смеётся.

— Вот, — говорит, — и хорошо! Теперь на свадьбе хоть сидеть тебе и нельзя, зато плясать будешь больше...

Весёлый был пан, ей-богу, весёлый, эге? Да только после скверное с ним случилось, не дай бог ни одному крещёному. Право, никому такого не пожелаю. Пожалуй, даже и жиду не следует такого желать. Вот я что думаю...

Вот так-то Романа и женили. Привёз он молодую жинку в сторожку; сначала всё ругал да попрекал своими канчуками.

— И сама ты, — говорит, — того не стоишь, сколько из-за тебя человека мордовали.

Придёт, бывало, из лесу и сейчас станет её из избы гнать:

— Ступай себе! Не надо мне бабы в сторожке! Чтоб и духу твоего не было! Не люблю, — говорит, — когда у меня баба в избе спит. Дух, — говорит, — нехороший.

Эге!

Ну, а после ничего, притерпелся. Оксана, бывало, избу выметет, и вымажет чистенько, посуду расставит; блестит всё, даже сердцу весело. Роман видит: хорошая баба, — помаленьку и привык. Да и не только привык, хлопче, а стал её любить, ей-богу, не лгу! Вот какое дело с Романом вышло. Как пригляделся хорошо к бабе, потом и говорит:

— Вот спасибо пану, добру меня научил. Да и я ж таки не умный был человек: сколько канчуков принял, а оно, как теперь вижу, ничего и дурного нет. Ещё даже хорошо. Вот оно что!

Вот прошло сколько-то времени, я и не знаю, сколько. Слегла Оксана на лавку, стала стонать. К вечеру занедужилось, а на утро проснулся я, слышу: кто-то тонким голосом «квилит»¹. Эге! — думаю я себе, — это ж, видно, «дитына» родилась. А оно вправду так и было.

Не долго пожила дитына на белом свете. Только и жила, что от утра до вечера. Вечером и пищать перестала... Заплакала Оксана, а Роман и говорит:

— Вот и нету дитыны, а когда её нету, то незачем теперь и попа звать. Похороним под сосною.

Вот как говорит Роман, да не то, что говорит, а так как раз и сделал: вырыл могилку и похоронил. Вон там старый пенёк стоит, громом его спалило... Так то ж и есть та самая сосна, где Роман дитыну зарыл. Знаешь, хлопче, вот же я тебе скажу: и до сих пор, как солнце сядет и звезда-зорька над лесом станет, летает какая-то пташка, да и кричит. Ох, и жалобно квилит пташина, аж сердцу больно! Так это и есть некрещёная душа, — креста себе просит. Кто знающий человек, по книгам учился, то, говорят, может ей крест дать и не станет она больше летать... Да мы вот тут в лесу живём, ничего не знаем. Она

¹ *Квилит* — плачет, жалобно пищит.

лечает, она просит, а мы только и говорим: «Геть-геть, бедная душа, ничего мы не можем сделать!» Вот заплачет и улетит, а потом и опять прилетает. Эх, хлопче, жалко бедную душу!

Вот выздоровела Оксана, всё на могилку ходила. Сядет на могилке и плачет, да так громко, что по всему лесу, бывало, голос её ходит. Это она так свою дитыну жалела, а Роман не жалел дитыну, а Оксану жалел. Придёт, бывало, из лесу, станет около Оксаны и говорит:

— Молчи уж, глупая ты баба! Вот было бы о чём плакать! Померла одна дитына, то, может, другая будет. Да ещё, пожалуй, и лучшая, эге! Потому что та ещё, может, и не моя была, я же-таки и не знаю. Люди говорят... А это будет моя.

Вот уже Оксана и не любила, когда он так говорил. Перестанет, бывало, плакать и начнёт его нехорошими словами «лаять». Ну, Роман на неё не сердился.

— Да и что же ты, — спрашивает, — лаешься? Я же ничего такого не сказал, а только сказал, что не знаю. Потому и не знаю, что прежде ты не моя была и жила не в лесу, а на свете, промежду людей. Так как же мне знать? Теперь вот ты в лесу живёшь, вот и хорошо. А так говорила мне баба Федосья, когда я за нею на село ходил: «Что-то у тебя, Роман, скоро дитына поспела!» А я говорю бабе: «Как же мне-таки знать, скоро ли, или не скоро?»... Ну, а ты всё же брось голосить, а то я осержусь, то ещё, пожалуй, как бы тебя и не побил.

Вот Оксана полагает, полагает его, да и перестанет.

Она его, бывало, и поругает, и по спине ударит, а как станет Роман сам сердиться, она и притихнет — боялась. Приласкает его, обоймёт, поцелует и в очи зглянет... Вот мой Роман и угомонится. Потому... видишь ли, хлопче... Ты, должно быть, не знаешь, а я, старик, хотя сам не женивался, а всё-таки видал на своём веку: молодая баба даже сладко целуется, какого хочешь сердитого мужика может она обойти. Ой-ой... Я же-таки знаю, каковы эти бабы. А Оксана была гладкая такая молодница, что теперь я уже что-то таких больше не вижу. Теперь, хлопче, скажу тебе, и бабы не такие, как прежде.

Вот раз в лесу рожок затрубил: тра-та, тара-тара — та-та-та!.. Так и разливается по лесу, весело да звонко. Я тогда малый хлопчик был и не знал, что это такое; вижу: птицы с гнёзд подымаются, крылом машут, кричат, а где и заяц пригнул уши на спину и бежит что есть духу. Вот я и думаю: может, это зверь какой невиданный

так хорошо кричит. А то ж не зверь, а пан себе на конике лесом едет, да в рожок трубит; за паном доезжачие верхом и собак на сворах ведут. А всех доезжачих красивее Опанас Швидкий, за паном в синем казакине гарцует; шапка на Опанасе с золотым верхом, конь под ним играет, рушница за плечами блестит, и бандура на ремне через плечо повешена. Любил пан Опанаса, потому что Опанас хорошо на бандуре играл и песни был мастер петь. Ух, и красивый же был парубок этот Опанас, страх красивый! Куда было пану с Опанасом равняться: пан уже и лысый был, и нос у пана красный, и глаза, хоть весёлые, а всё не такие, как у Опанаса. Опанас, бывало, как глянет на меня, — мне, малому хлопчину, и то смеяться хочется, а я ж не девка. Говорили, что у Опанаса отцы и деды запорожские козаки были, в Сечи козаковали, а там народ был всё гладкий, да красивый, да проворный. Да ты сам, хлопче, подумай: на коне ли со «списой»¹ по полю птицей летать, или топором дерево рубить, это ж не одно дело...

Вот я выбежал из хаты, смотрю: подъехал пан, остановился и доезжачие стали; Роман из избы вышел, поддержал пану стремя: ступил пан на землю. Роман ему поклонился.

— Здорово! — говорит пан Роману.

— Эге, — отвечает Роман, — да я ж, спасибс, здоров, чего мне делается? А вы как?

Не умел, видишь ты, Роман пану как следует ответить. Дворня вся от его слов засмеялась и пан тоже.

— Ну, и слава богу, что ты здоров, — говорит пан. — А где ж твоя жинка?

— Да где ж жинке быть? Жинка, известно, в хате...

— Ну, мы и в хату войдём, — говорит пан, — а вы, хлопцы, пока на траве ковёр постелите да приготовьте нам всё, чтобы было чем молодых на первый раз поздравить.

Вот и пошли в хату: пан, и Опанас, и Роман без шапки за ним, да ещё Богдан — старший доезжачий, верный панский слуга. Вот уж и слуг таких теперь тоже на свете нету: старый был человек, с дворней строгий, а перед паном как та собака. Никого у Богдана на свете не было, кроме пана. Говорят, как померли у Богдана батько с матерью, попросился он у старого пана на тягло и захотел жениться. А старый пан не позволил, приставил его к своему паничу: тут тебе, говорит, и батько, и мать,

¹ «Списа» — копьё.

и жинка. Вот выносил Богданыч паныча и выходил, и на коня выучил садиться, и из ружья стрелять. А вырос паныч, сам стал пановать, старый Богдан всё за ним следом ходил, как собака. Ох, скажу тебе правду: много того Богдана люди проклинали, много на него людских слёз пало... всё из-за пана. По одному панскому слову Богдан мог бы, пожалуй, родного отца в клочки разорвать...

А я, малый хлопчик, тоже за ними в избу побежал: известное дело, любопытно. Куда пан повернулся, туда и я за ним.

Гляжу, стоит пан посередь избы, усы гладит, смеётся. Роман тут же топчется, шапку в руках мнёт, а Опанас плечом об стенку упёрся, стоит себе, бедняга, как тот молодой дубок в непогодку. Нахмурился, невесел...

И вот они трое повернулись к Оксане. Один старый Богдан сел в углу на лавке, свесил чуприну, сидит, пока пан чего не прикажет. А Оксана в углу у печки стала, глаза опустила, сама раскраснелась вся, как тот мак середь ячменю. Ох, видно, чужая небога, что из-за неё лихо будет. Вот тоже скажу тебе, хлопче: уж если три человека на одну бабу смотрят, то от этого никогда добра не бывает — непременно до чуба дело дойдёт, коли не хуже. Я ж это знаю, потому что сам видел.

— Ну что, Ромасью, — смеётся пан, — хорошую ли я тебе жинку высватал?

— А что ж? — Роман отвечает. — Баба как баба, ничего!

Повёл тут плечом Опанас, поднял глаза на Оксану и говорит про себя:

— Да, — говорит, — баба! Хоть бы и не такому дурню досталась.

Роман услышал это слово, повернулся к Опанасу и говорит ему:

— А чем бы это я, пан Опанас, вам за дурня показался? Эге, скажите-ка!

— А тем, — говорит Опанас, — что не умеешь жинку свою уберечь, тем и дурень...

Вот какое слово сказал ему Опанас! Пан даже ногою топнул, Богдан покачал головою, а Роман подумал с минуту, потом поднял голову и посмотрел на пана.

— А что ж мне её беречь? — говорит Опанасу, а сам всё на пана смотрит. — Здесь, кроме зверя, никакого чорта и нету, вот разве милостивый пан когда завернёт. От кого же мне жинку беречь? Смотри ты, вражий козаче, ты меня не дразни, а то я, пожалуй, и за чуприну схвачу.

Пожалуй таки и дошло бы у них дело до потасовки, да пан вмешался: топнул ногой, — они и замолчали.

— Тише вы, — говорит, — бисовы дети! Мы же сюда не для драки приехали. Надо молодых поздравлять, а потом, к вечеру, на болото охотиться. Айда за мной!

Повернулся пан и пошёл из избы: а под деревом доезжачие уж и закуску сготовили. Пошёл за паном Богдан, а Опанас остановил Романа в сенях.

— Не сердись ты на меня, брәтику, — говорит козак. — Послушай, что тебе Опанас скажет: видел ты, как я у пана в ногах валялся, сапоги у него целовал, чтоб он Оксану за меня отдал? Ну, бог с тобой, человеце... Тебя поп окрутил, такая, видно, судьба! Так не стерпит же моё сердце, чтоб лютый ворог опять и над ней, и над тобой потешался. Гей-гей! Никто того не знает, что у меня на душе... Лучше же я и его и её из рушницы вместо постели уложу в сырую землю...

Посмотрел Роман на козака и спрашивает:

— А ты, козаче, часом «с глузду не съехал»? ¹

Не слышал я, что Опанас на это стал Роману тихо в сенях говорить, только слышал, как Роман его по плечу хлопнул.

— Ох, Опанас, Опанас! Вот какой на свете народ злой да хитрый! А я же ничего того, живучи в лесу, и не знал. Эге, пане, пане, лихо ты на свою голову затеял!..

— Ну, — говорит ему Опанас, — ступай теперь и не показывай виду, пуще всего перед Богданом. Не умный ты человек, а эта панская собака хитра. Смотри же: панской горелки много не пей, а если отправит тебя с доезжачими на болото, а сам захочет остаться, веди доезжачих до старого дуба и покажи им объездную дорогу, а сам, скажи, напрямик пойдёшь по лесу... Да поскорее сюда возвращайся.

— Добре, — говорит Роман. — Соберусь на охоту, рушницу не дробью заряжу и не «леткой» на птицу, а добрую пулей на медведя...

Вот и они вышли. А уже пан сидит на ковре, велел подать фляжку и чарку, наливает в чарку горелку и подчищает Романа. Эге, хороша была у пана и фляжка, и чарка, а горелка ещё лучше. Чарочку выпьешь — душа радуется, другую выпьешь — сердце скачет в груди, а если человек непривычный, то с третьей чарки и под лавкой валяется, коли баба на лавку не уложит.

¹ «С глузду съехать» — сойти с ума.

Эге, говорю тебе, хитрый был пан! Хотел Романа напоить своею горелкой допьяна, а ещё такой и горелки не бывало, чтобы Романа свалила. Пьёт он из панских рук чарку, пьёт и другую, и третью выпил, а у самого только глаза, как у волка, загораются, да усом чёрным поводит. Пан даже осердился.

— Вот же, вражий сын, как здорово горелку хлещет, а сам и не моргнёт глазом! Другой бы уж давно заплакал, а он, глядите, добрые люди, ещё усмешается...

Знал же вражий пан хорошо, что если уж человек от горелки заплакал, то скоро и совсем чуприну на стол свесит. Да на тот раз не на такого напал.

— А с чего ж мне, — Роман ему отвечает, — плакать? Даже, пожалуй, это нехорошо бы было. Приехал ко мне милостивый пан поздравлять, а я бы-таки и начал реветь, как баба. Слава богу, не от чего мне ещё плакать, пускай лучше мои вороги плачут...

— Значит, — спрашивает пан, — ты доволен?

— Эге! А чем мне быть недовольным?

— А помнишь, как мы тебя канчуками сватали?

— Как-таки, не помнить! Ото ж и говорю, что не умный человек был, не знал, что горько, что сладко. Канчук горек, а я его лучше бабы любил. Вот спасибо вам, милостивый пане, что научили меня, дурня, мёд есть.

— Ладно, ладно, — пан ему говорит. — За то и ты мне послужи: вот пойдёшь с доезжачими на болото, настреляй побольше птиц, да непременно глухого тетерева достань.

— А когда ж это пан нас на болото посылает? — спрашивает Роман.

— Да вот выпьем ещё, Опанас нам песню споёт, да и с богом.

Посмотрел Роман на него и говорит пану:

— Вот уж это и трудно: пора не ранняя, до болота далеко, а ещё, вдобавок, и ветер по лесу шумит, к ночи будет буря. Как же теперь такую сторожкую птицу убить?

А пан захмелел, да во хмелю был крепко сердитый. Услышал, как дворня промеж себя шептаться стала, говорят, что, мол, «Романова правда, загудёт скоро буря», — и осердился. Стукнул чаркой, повёл глазами, — все и стихли.

Один Опанас не испугался; вышел он, по панскому слову, с бандурой песни петь, стал бандуру настраивать, сам посмотрел сбоку на пана и говорит ему:

— Опомнись, милостивый пане! Где же это видано, что-

бы к ночи, да ещё в бурю, людей по тёмному лесу за птицей гонять?

Вот он какой был смелый! Другие, известное дело, панские «крепаки», боятся, а он — вольный человек, козацкого рода. Привёл его небольшим хлопцем старый козак-бандурист с Украины. Там, хлопче, люди что-то нашумели в городе Умани. Вот старому козаку выкололи очи, обрезали уши и пустили его такого по свету. Ходил он, ходил после того по городам и сёлам и забрёл в нашу сторону с поводырём, хлопчиком Опанасом. Старый пан взял его к себе, потому что любил хорошие песни. Вот старик умер, — Опанас при дворе и вырос. Любил его новый пан тоже и терпел от него порой такое слово, за которое другому спустили бы три шкуры.

Так и теперь: осердился было сначала, думали, что он козака ударит, а после говорит Опанасу:

— Ой, Опанас, Опанас, умный ты хлопец, а того, видно, не знаешь, что меж дверей не надо носа совать, чтобы как-нибудь не захлопнули...

Вот он какую загадал загадку! А козак-таки сразу и понял. И ответил козак пану песней. Ой, кабы и пан понял козацкую песню, то, может бы его пани над ним не разливалась слезами.

— Спасибо, пане, за науку, — сказал Опанас, — вот же я тебе за то спою, а ты слушай.

И ударил по струнам бандуры.

Потом поднял голову, посмотрел на небо, как в небе орёл ширяет, как ветер тёмные тучи гоняет. Наставил ухо, послушал, как высокие сосны шумят...

И опять ударил по струнам бандуры.

Эй, хлопче, не довелось тебе слышать, как играл Опанас Швидкий, а теперь уж и не услышишь! Вот же и не хитрая штука бандура, а как она у знающего человека хорошо говорит. Бывало, пробежит по ней рукою, она ему всё и скажет: как тёмный бор в непогоду шумит, и как ветер звенит в пустой степи по бурьяну, и как сухая травинка шепчет на высокой козацкой могиле.

Нет, хлопче, не услышать уже вам настоящую игру! Ездят теперь сюда всякие люди, такие, что не в одном Полесье бывали, но и в других местах, и по всей Украине: и в Чигирине, и в Полтаве, и в Киеве, и в Черкасах. Говорят, вывелись уж бандуристы, не слышно их уже на ярмарках и на базарах. У меня ещё на стене в хате старая бандура висит. Выучил меня играть на ней Опанас, а у меня никто игры не перенял. Когда я умру, — а уж это

скоро, — так, пожалуй, и нигде уже на широком свете не слышно будет звона бандуры. Вот оно что!

И запел Опанас тихим голосом песню. Голос был у Опанаса не громкий, да «сумный»¹, — так, бывало, в сердце и льётся. А песню, хлопче, козак, видно, сам для пана придумал. Не слышал я её никогда больше, и когда после, бывало, к Опанасу пристану, чтобы спел, он всё не соглашался.

— Для кого, — говорит, — та песня пелась, того уже нету на свете.

В той песне козак пану всю правду сказал, что с паном будет, и пан плачет, даже слёзы у пана текут по усам, а всё же ни слова, видно, из песни не понял.

— Ох, не помню я эту песню, помню только немного.

Пел козак про пана, про Ивана:

Ой пане, ой Иване!..

Умный пан, много знает...

Знает, что ястреб в небе летает, ворон побивает...

Ой пане, ой Иване!..

А того ж пан не знает,

Как на свете бывает, —

Что у гнезда и ворона ястреба побивает...

Вот же, хлопче, будто и теперь я эту песню слышу и тех людей вижу: стоит козак с бандурой, пан сидит на ковре, голову свесил и плачет; дворня кругом столпилась, поталкивают один другого локтями; старый Богдан головой качает... А лес, как теперь, шумит, и тихо да сумно звенит бандура, а козак поет, как пани плачет над паном, над Иваном:

Плачет пани, плачет,

А над паном над Иваном чёрный ворон кричит.

Ох, не понял пан песни, вытер слёзы и говорит:

— Ну, собирайся, Роман! Хлопцы, садитесь на коней! И ты, Опанас, поезжай с ними, будет уж мне твоих песен слушать!.. Хорошая песня, да только никогда того, что в ней поётся, на свете не бывает.

А у козака от песни размякло сердце, затуманились очи.

— Ох, пане, пане, — говорит Опанас, — у нас говорят старые люди: в сказке правда и в песне правда. Только в сказке правда — как железо: долго по свету из рук в руки ходило, заржавело... А в песне правда — как золото,

¹ Украинское слово *сумный* совмещает в себе понятия, передаваемые по-русски словами: грустный и задумчивый.

что никогда его ржа не ест... Вот как говорят старые люди!

Махнул пан рукой.

— Ну, может, так в вашей стороне, а у нас не так... Ступай, ступай, Опанас, надоело мне тебя слушать.

Постоял козак с минуту, а потом вдруг упал перед паном на землю:

— Послушай меня, пане! Садись на коня, поезжай к своей пани: у меня сердце недоброе чует.

Вот уж тут пан осердился, толкнул козака, как собаку, ногой.

— Иди ты от меня прочь! Ты, видно, не козак, а баба! Иди ты от меня, а то как бы с тобой не было худо... А вы что стали, хамово племя? Иль я не пан вам больше? Вот я вам такое покажу, чего и ваши батьки от моих батьков не видали!

Встал Опанас на ноги, как тёмная туча, с Романом переглянулся. А Роман в стороне стоит, на рушницу облокотился, как ни в чём не бывало.

Ударил козак бандурой об дерево, — бандура вдребезги разлетелась, только стон пошёл от бандуры по лесу.

— А пускай же, — говорит, — черти на том свете учат такого человека, который разумную рāду не слушает... Тебе, пане, видно, верного слуги не надо.

Не успел пан ответить, вскочил Опанас в седло и поехал. Доезжачие тоже на коней сели. Роман вскинул рушницу на плечи и пошёл себе, только, проходя мимо сторожки, крикнул Оксане:

— Уложи хлопчика, Оксана! Пора ему спать. Да и пану сготовь постелю.

Вот скоро и ушли все в лес вон по той дороге; и пан в хату ушёл, только панский конь стоит себе, под деревом привязан. А уж и темнеть начало, по лесу шум идёт и дождик накрапывает, вот-таки совсем как теперь... Уложила меня Оксана на сеновале, перекрестила на ночь... Слышу я, моя Оксана плачет.

Ох, ничего-то я тогда, малый хлопчик, не понимал, что кругом меня творится! Свернулся на сене, послушал, как буря в лесу песню заводит, и стал засыпать.

Эге! Вдруг слышу, кто-то около сторожки ходит... подошёл к дереву, панского коня отвязал. Захрапел конь, ударил копытом; как пустится в лес, скоро и топот затих... Потом слышу, опять кто-то по дороге скачет, уже к сторожке. Подскакал вплоть, соскочил с седла на землю и прямо к окну:

— Пане, пане! — кричит голосом старого Богдана. — Ой, пане, отвори скорей! Вражий козак лихо задумал, видно: твоего коня в лес отпустил.

Не успел старик договорить, кто-то его сзади схватил. Испугался я, — слышу, что-то упало...

Отворил пан двери, с рушницей выскочил, а уж в селях Роман его захватил, да прямо за чуб, да об землю...

Вот видит пан, что ему лихо, и говорит:

— Ой, отпусти, Ромасю! Так-то ты моё добро помнишь?

А Роман ему отвечает:

— Помню я, вражий пане, твоё добро и до меня, и до моей жинки. Вот же я тебе теперь за добро заплачу...

А пан говорит опять:

— Заступись, Опанас, мой верный слуга. Я ж тебя любил, как родного сына.

А Опанас ему отвечает:

— Ты своего верного слугу прогнал, как собаку. Любил меня так, как палка любит спину, а теперь так любишь, как спина палку. Я ж тебя просил и молил, ты не послушался...

Вот стал пан тут и Оксану просить:

— Заступись ты, Оксана, у тебя сердце доброе.

Выбежала Оксана, всплеснула руками:

— Я ж тебя, пане, просила, в ногах валялась: пожалей мою девичью красу, не позорь меня, мужнюю жену. Ты же не пожалел, а теперь сам просишь... Ох, лишенько мне, что же я сделаю?

— Пустите, — кричит опять пан, — за меня вы все погибнете в Сибири...

— Не печалься за нас, пане, — говорит Опанас, — Роман будет на болоте раньше твоих доезжачих, а я, по твоей милости, один на свете, мне о своей голове думать не долго. Вскину рушницу за плечи и пойду себе в лес... Наберу проворных хлопцев и будем гулять... Из лесу станем выходить ночью на дорогу, а когда в село забредём, то прямо в панские хоромы. Эй, подымай, Ромасю, пана, вынесем его милость на дождик.

Забился тут пан, закричал, а Роман только ворчит про себя, как медведь, а козак насмехается. Вот и вышли.

А я испугался, кинулся в хату и прямо к Оксане. Сидит моя Оксана на лавке — белая, как стена...

А по лесу уже загудела настоящая буря: кричит бор разными голосами, да ветер воеет, а когда и гром полыхнёт. Сидим мы с Оксаной на лежанке, и вдруг слышу я, кто-то в лесу застонал. Ох, да так жалобно, что я до сих пор, как

вспомню, то на сердце тяжело станет, а ведь уже тому много лет...

— Оксано, — говорю, — голубонько, а кто ж это там в лесу стонет?

А она схватила меня на руки и качает:

— Спи, — говорит, — хлопчику, ничего! Это так... лес шумит...

А лес и вправду шумел, ох, и шумел же!

Просидели мы ещё сколько-то времени, слышу я: ударило по лесу, будто из рушницы.

— Оксано, — говорю, — голубонько, а кто ж это из рушницы стреляет?

А она, небѣга, всё меня качает и всё говорит:

— Молчи, молчи, хлопчику, то гром божий ударил в лесу.

А сама всё плачет и меня крепко к груди прижимает, баюкает: «Лес шумит, лес шумит, хлопчику, лес шумит...»

Вот я лежал у неё на руках и заснул...

А на утро, хлопче, прокинулся, гляжу: солнце светит, Оксана одна в хате одетая спит. Вспомнил я вчерашнее и думаю: это мне такое приснилось.

А оно не приснилось, ой, не приснилось, а было на правду. Выбежал я из хаты, побежал в лес, а в лесу пташки щебечут, и роса на листьях блестит. Вот добежал до кустов, а там и пан, и доезжачий лежат себе рядом. Пан спокойный и бледный, а доезжачий седой, как голубь, и строгий, как раз будто живой. А на груди и у пана, и у доезжачего кровь.

.....

— Ну, а что же случилось с другими? — спросил я, видя, что дед опустил голову и замолк.

— Эге! Вот же всё так и сделалось, как сказал козак Опанас. И сам он долго в лесу жил, ходил с хлопцами по большим дорогам да по панским усадьбам. Такая козаку судьба на роду была написана: отцы гайдамачили, и ему то же на долю выпало. Не раз он, хлопче, приходил к нам в эту самую хату, а чаще всего, когда Романа не бывало дома. Придёт, бывало, посидит и песню споёт, и на бандуре сыграет. А когда и с другими товарищами заходил, — всегда его Оксана и Роман принимали. Эх, правду тебе, хлопче, сказать, таки и не без греха тут было дело. Вот придут из лесу Максим и Захар, посмотри ты на них обоих: я ничего им не говорю, а только кто знал Романа и Опанаса, тому сразу видно, который на которого похож,

хотя они уже тем людям не сыны, а внуки... Вот же какие дела, хлопче, бывали на моей памяти в этом лесу.

А шумит же лес крепко, — будет буря!..

III

Последние слова рассказа старик говорил как-то устало. Очевидно, его возбуждение прошло и теперь сказывалось утомлением: язык его заплетался, голова тряслась, глаза слезились.

Вечер спустился уже на землю, в лесу потемнело, бор волновался вокруг сторожки, как расхолодившееся море; тёмные вершины колыхались, как гребни волн в грозную непогоду.

Весёлый лай собак возвестил приход хозяев. Оба лесника торопливо подошли к избушке, а вслед за ними запыхавшаяся Мотря пригнала затерявшуюся было корову. Наше общество было в сборе.

Через несколько минут мы сидели в хате; в печи весело трещал огонь; Мотря собрала «вечёрять».

Хотя я не раз видел прежде Захара и Максима, но теперь я взглянул на них с особенным интересом. Лицо Захара было темно, брови срослись над крутым низким лбом, глаза глядели угрюмо, хотя в лице можно было различить природное добродушие, присущее силе. Максим глядел открыто, как будто ласкающими серыми глазами; по временам он встряхивал своими курчавыми волосами, его смех звучал как-то особенно заразительно.

— А чи не рассказывал вам старик, — спросил Максим, — старую бывальщину про нашего деда?

— Да, рассказывал, — отвечал я.

— Ну, он всегда вот так! Лес зашумит покрепче, ему старое и вспоминается. Теперь всю ночь никак не заснёт.

— Совсем мала дитына, — добавила Мотря, наливая старику шей.

Старик как будто не понимал, что речь идёт именно о нём. Он совсем опустил голову, по временам бессмысленно улыбался, кивая головой; только когда снаружи налетал на избушку порыв бушевавшего по лесу ветра, он начинал тревожиться и наставлял ухо, прислушиваясь к чему-то с испуганным видом.

Вскоре в лесной избушке всё смолкло. Тускло светил угасающий каганец¹, да сверчок звонил свою однообраз-

¹ *Каганец* — черепок, в который наливают сало и кладут светильню.

но-крикливую песню... А в лесу, казалось, шёл говор тысячи могучих, хотя и глухих голосов, о чем-то грозно переключившихся во мраке. Казалось, какая-то грозная сила ведёт там, в темноте, шумное совещание, собираясь со всех сторон ударить на жалкую, затерянную в лесу хибарку. По временам смутный рокот усиливался, рос, приливал, и тогда дверь вздрагивала, точно кто-то, сердито шипя, напирал на неё снаружи, а в трубе ночная вьюга с жалобной угрозой выводила за сердце хватающую ноту. Потом на время порывы бури смолкали, роковая тишина томила робеющее сердце, пока опять подымался гул, как будто старые сосны сговаривались сняться вдруг с своих мест и улететь в неведомое пространство вместе с размахами ночного урагана.

Я забылся на несколько минут смутною дремотой, но, кажется, не надолго. Буря выла в лесу на разные голоса и тоны. Каганец вспыхивал по временам, освещая избушку. Старик сидел на своей лавке и шарил вокруг себя рукой, как будто надеясь найти кого-то поблизости. Выражение испуга и почти детской беспомощности виднелось на лице бедного деда.

— Оксано, голубонько, — слышал я его жалобный ропот, — а кто ж это там в лесу стонет?

Он тревожно пошарил рукой и прислушался.

— Эге! — говорил он опять, — никто не стонет. То буря в лесу шумит... Больше ничего, лес шумит, шумит...

Прошло ещё несколько минут. В маленькие окна то и дело заглядывали синеватые огни молнии, высокие деревья вспыхивали за окном призрачными очертаниями и опять исчезали во тьме среди сердитого ворчания бури. Но вот резкий свет на мгновение затмил бледные вспышки каганца, и по лесу раскатился отрывистый недалёкий удар.

Старик опять тревожно заметался на лавке.

— Оксано, голубонько, а кто ж это в лесу стреляет?

— Спи, старик, спи, — слышался с печки спокойный голос Мотри. — Вот всегда так: в бурю по ночам всё Оксану зовёт. И забыл, что Оксана уж давно на том свете. Ох-хо!

Мотря зевнула, прошептала молитву, и вскоре опять в избушке настала тишина, прерываемая шумом леса да тревожным бормотанием деда:

— Лес шумит, лес шумит... Оксаню, голубонько...

Вскоре ударил тяжёлый ливень, покрывая шумом дождевых потоков и порывания ветра, и стоны соснового бора...

1885 г. [1885 г.]

РЕКА ИГРАЕТ

(Эскизы из дорожного альбома)

I

Проснувшись, я долго не мог сообразить, где я.

Надо мной расстилалось голубое небо, по которому тихо плыло и таяло сверкающее облако. Закинув несколько голову, я мог видеть в вышине тёмную деревянную церковь, наивно глядевшую на меня из-за зелёных деревьев, с высокой кручи. Вправо, в нескольких саженьях от меня, стоял какой-то незнакомый шалаш, влево — серый неуклюжий столб с широкою досчатою крышей, с кружкой и с доской, на которой было написано:

Пожертвуйте проходящии
на колоколо господне.

А у самых моих ног плескалась река.

Этот-то плеск и разбудил меня от сладкого сна. Давно уже он прорывался к мсему сознанию беспокоящим шопотом, точно ласкающий, но вместе беспощадный голос, который подымает на заре для неизбежного трудового дня. А вставать так не хочется...

Я опять закрыл глаза, чтоб отдать себе, не двигаясь, отчёт в том, как это я очутился здесь, под открытым небом, на берегу плещущей речки, в соседстве этого шалаша и этого столба с простодушным обращением к проходящим.

Понемногу в уме моём восстановились предшествующие обстоятельства. Предыдущие сутки я провёл на «Святом озере», у невидимого града Китежа, толкаясь между народом, слушая гнусавое пение нищих слепцов, останавливаясь у импровизованных алтарей под развесистыми деревьями, где беспоповцы, скитники и скитницы разных толков пели свои службы, между тем как в других местах, в густых кучках народа, кипели страстные религиозные споры. Ночь я простоял всю на ногах, сжатый в густой толпе у старой часовни. Мне вспомнились утомлённые лица миссионера и двух священников, кучи книг на аналое, огни восковых свечей, при помощи которых спорившие разыскивали нужные тексты в толстых фолиантах, возбуждённые лица «раскольников» и «церковных», встречавших многоголосым говором каждое удачное возражение. Вспомнилась старая часовня, с раскрытыми дверями, в которые виднелись жёлтые огоньки у икон, между тем как

по синему небу ясная луна тихо плыла и над часовней, и над темными, спокойно шептавшимися деревьями. На заре я с трудом протолкался из толпы на простор и, усталый, с головой, отяжелевшей от бесплодной схоластики этих споров, с сердцем, сжимавшимся от безотчётной тоски и разочарования, — поплелся полевыми дорогами по направлению к синей полосе приветлужских лесов, вслед за вереницами расходившихся богомольцев. Тяжёлые, нерадостные впечатления уносил я от берегов Святого озера, от невидимого, но страстно взыскуемого народом града... Точно в душном склепе, при тусклом свете угасающей лампы, провёл я всю эту бессонную ночь, прислушиваясь, как где-то за стеной кто-то читает мерным голосом заупокойные молитвы над заснувшей навеки народной мыслью. Солнце встало уже над лесами и водами Ветлуги, когда я, пройдя около 15 вёрст лесными тропами, вышел к реке и тотчас же свалился на песок, точно мёртвый, от усталости и вынесенных с озера суровых впечатлений. Вспомнив, что я уже далеко от них, я бодро отряхнулся от остатков дремоты и привстал на своём песчаном ложе.

II

Дружеский шопот реки оказал мне настоящую услугу. Когда, часа три назад, я укладывался на берегу, в ожидании ветлужского парохода, вода была далеко, за старую лодку, которая лежала на берегу кверху днищем; теперь ее уже взмывало и покачивало приливом. Вся река торопилась куда-то, пенилась по всей своей ширине и приплёскивала почти к самым моим ногам. Ещё полчаса, — будь мой сон ещё несколько крепче, — и я очутился бы в воде, как и эта опрокинутая лодка.

Ветлуга, очевидно, взыграла. Несколько дней назад шли сильные дожди: теперь из лесных дебрей выкатился паводок, и вот река вздулась, заливая свои весёлые зеленые берега. Резвые струи бежали, толкались, кружились, свёртывались воронками, развивались опять и опять бежали дальше, отчего по всей реке вперегонку неслись клочья желтовато-белой пены. По берегам зелёный лопух, схваченный водою, тянулся из неё, тревожно размахивая не потонувшими ещё верхушками, между тем как в нескольких шагах, на большой глубине, и лопух, и мать-мачеха, и вся зелёная братия стояли уже безропотно и тихо... Молодой ивняк, с зелёными нависшими ветвями, вздрагивал от ударов зыби

На том берегу весело кудрявились ракиты, молодой дубнячок и ветлы. За ними тёмные ели рисовались зубчатой чертой; далее высились красивые осокори и величавые сосны. В одном месте, на вырубке, белели кладки досок, свежие брёвна и срубы, а в нескольких саженях от них торчала из воды верхушка затонувших перевозных мостков... И весь этот мирный пейзаж на моих глазах как будто оживал, переполняясь шорохом, плеском и звоном буйной реки. Плескались шаловливые струи на стрежне, звенела зыбь, ударяя в борта старой лодки, а шорох стоял по всей реке от лупавшихся то и дело пушистых клочьев пены, или, как её называют на Ветлуге, речного «цвету».

И казалось мне, что всё это когда-то я уже видел, что всё это такое родное, близкое, знакомое: река с кудрявыми берегами, и простая сельская церковка над кручей, и шалаш, даже приглашение к жертвованию на «колоколо господне», такими наивными каракулями глядевшее со столба..

Всё это было когда-то,
Но только не помню когда...

неволью вспомнились мне слова поэта.

III

— Гляжу я, братец, вовсе тебя заплёскивает река-те. Это домой ходил. Иду назад, а сам думаю: чай, проходящего-те у меня поняла уж Ветлуга. Крепко же спал ты, добрый человек.

Говорит сидящий у шалаша, на скамеечке, мужик средних лет, и звуки его голоса тоже мне как-то приятно знакомы. Голос басистый, грудной, немного осипший, будто с сильного похмелья, но в нём слышатся ноты такие же непосредственные и наивные, как и эта церковь, и этот столб, и на столбе надпись.

— И чего только делает, гляди-ко-ся, чего только делает Ветлуга-те наша... Ах ты! Беды, ведь, это, право беды...

Это перевозчик Тюлин. Он сидит у своего шалаша, по-нунив голову и как-то весь опустившись. Одет он в ситцевой грязной рубаше и синих пестрядиных портах. На босу ногу надеты старые отпки. Лицо молоджавое, почти без бороды и усов, с выразительными чертами, на которых очень ясно выделяется особая ветлужская складка, а те-

перь, кроме того, видна сосредоточенная угрюмость добродушного, но душевно угнетённого человека...

— Унесёт у меня лодку-те... — говорит он, не двигаясь и взглядом знатока изучая положение дела. — Беспременно утащит.

— А тебе бы, — говорю я, разминаясь, — вытащить надо.

— Коли не надо. Не миновать, что не вытащить. Вишь, чего делает, вишь, вишь... Н-ну!

Лодка вздрагивает, приподнимается, делает какое-то судорожное движение и опять беспомощно ложится по-прежнему.

— Тю-ю-ю-ли-ин! — доносится с другого берега призывной клич какого-то путника. На вырубке, у съезда к реке, виднеется маленькая-маленькая лошадаёнка, и маленький мужик, спустившись к самой воде, отчаянно машет руками и вопит тончайшею фистулой:

— Тю-ю-ю-ли-ин!..

Тюлин всё с тем же мрачным видом смотрит на вздрагивающую лодку и качает головой.

— Вишь, вишь ты — опять!.. А вечер ещё, глико-ся, дальше мостков была вода-те... Погляди, за ночь чего ещё наделат. Беды озорная речушка! Это учнёт играть и учнёт играть, братец ты мой...

— Тю-ю-ю-ли-ин, леш-ша-а-ай! — звенит и обрывается на том берегу голос путника, но на Тюлина этот призыв не производит ни малейшего впечатления. Точно этот отчаянный вопль — такая же обычная принадлежность реки, как игривые всплески зыби, шелест деревьев и шорох речного «цвету».

— Тебя ведь это зовут! — говорю я Тюлину.

— Зовут, — отвечает он невозмугимо, тем же философски-объективным тоном, каким говорил о лодке и проказах реки. — Иванко, а Иванко! Иванко-о-ò!

Иванко, светловолосый парнишка лет десяти, копает червей под крутояром и так же мало обращает внимания на зов отца, как тот — на вопли мужика с того берега.

В это время по крутой тропинке от церкви спускается баба с ребёнком на руках. Ребёнок кричит, завернутый с головой в тряпки. Другой — девочка лет пяти — бежит рядом, хватаясь за платье. Лицо у бабы озабоченное и сердитое. Тюлин становится сразу как-то ещё угрюмее и серьезнее.

— Баба идёт, — говорит он мне, глядя в другую сторону.

— Ну? — говорит баба злобно, подходя вплоть к Тюлину и глядя на него презрительным и сердитым взглядом. Отношения, очевидно, определились уже давно: для меня ясно, что беспечный Тюлин и озабоченная, усталая баба с двумя детьми — две воюющие стороны.

— Чё ещё нукашь? Что тебе, бабе, нужно? — спрашивает Тюлин.

— Че-инò, спрашивает ещё... Лодку давай! Чай, через реку ходу-то нету мне, а то бы не стала с тобой, с путаником, и баять...

— Ну-ну! — с негодованием возражает перевозчик. — Что ты какà сильна пришла. Разговаривашь...

— А что мне не разговаривать! Залил шары-те... Чего только мир смотрит, пьяницы-те наши, давно бы тебя, нёгодя пьяного, с перевозу шугнуть надо. Давай, слышь, лодку-те!

— Лодку? Эвон парень тебя перемахнёт... Иванко, а Иванко, слышь? Иванко-ò!.. А вот я сейчас вицей его, подлеца, вытяну. Слышь, проходящий!..

Тюлин поворачивается ко мне.

— Ну-ко ты мне, проходящий, вицю дай, хар-ро-шую!

И он, с тяжёлым усилием, делает вид, что хочет приподняться. Иванко мгновенно кидается в лодку и хватается вёсла.

— Две копейки с неё. Девку так! — командует Тюлин лениво и опять обращается ко мне:

— Беда моя: голову всеё разломило.

— Тю-ю-ли-ин! — стонет опять противоположный берег. — Перево-о-òз!..

— Тятка, а тятка! Паром кричат, вить, — говорит Иванко, у которого, очевидно, явилась надежда на освобождение от обязанности везти бабу.

— Слышу. Давно уж зеват, — спокойно подтверждает Тюлин. — Сговорись там. Может, ещё и не надо ему... Может, ещё и не поедет... Отчего бы такое голову ломит? — обращается он опять ко мне тоном самого трогательного доверия.

Угадать причину не трудно: от бедняги Тюлина водкой несёт, точно из полуштофа, и даже до меня, на расстоянии двух сажень, то и дело доносятся острые струйки перегару, смешиваясь с запахом реки и береговой зелени.

— Кабы выпил я, — говорит Тюлин в раздумьи, — а то не пил.

Голова его опускается ещё ниже.

— Давно не пью я.. Положим, вчера выпил...

И опять Тюлин погружается в глубокое раздумье.

— Кабы много... Посложим, довольно я выпил вчера... Так ведь сегодня не пил!

— Так это у тебя, видно, с похмелья, — пробую я вывести его на настоящую дорогу.

Тюлин смотрит на меня долго, серьёзно и чрезвычайно вдумчиво. Догадка, очевидно, показалась ему не лишённой основания.

— Разве-либо от этого. Ночь же немного выпил я.

Пока, таким образом, Тюлин медленным, мучительным, но зато верным путём подходил к истинной причине своих страданий, мужик на той стороне окончательно лишился голоса.

— Тю-ю-ю... — чуть слышно летело оттуда, из-за шороха речных струек.

— Разве-либо от этого. Это ты, братец, должно быть, верно сказал. Пью я винище это, лакаю, братец, лакаю...

IV

Между тем, тщетно вопивший мужик смолкает и, оставив лошадь с телегой на том берегу, переправляется к нам вместе с Иванком, для личных переговоров. К удивлению моему, он самым благодушным образом здоровается с Тюлиным и садится рядом на скамейку. Он значительно старше Тюлина, у него седая борода, голубые, выцветшие, как и у Тюлина, глаза, на голове грешневик, а на лице, где-то около губ, ютится та же ветлужская складка.

— Страдаешь? — спрашивает он у перевозчика с улыбкой почти сатирической.

— Голову, братец, всё разломило. И от чего бы?

— Винища поменьше пей.

— Разве-либо от этого. Вот и проходящий то же бает.

— А лодку у тея, гляди, унесёт.

— Как не унести. Просто-таки и унесёт.

Оба смотрят несколько времени, как вздрагивает, точно в агонии, опрокинутая лодка.

— Давай паром, што ли, ехать надо.

— Да тебе надо ли ещё ехать-то? Чай, в Красиху пьянствовать?..

— А ты уж покрасился...

— Выпито. Голову всё разломило, беды! А ты, может, лучше не ездь.

— Чудак! Чай, у меня дочка там выдана. Звали к празднику. И баба со мной.

— Ну, баба, так, стало быть, не миновать, ехать видно. Э-эх, шестов нет.

— Как нет? Чё хлопаешь зря? Эвона шесты-те!

— Коротки. Двадцати четвертей надо. Чать, видишь: приплёскиват Ветлуга-те.

— А ты что же, чудак, шестов не запас, коли видишь, что приплёскиват?.. Иванко, сгоняй за шестами-те, паречь!

— Сходил бы сам, — говорит Тюлин, — тяжелы, вить.

— Ты сходи, — твоё дело!

— Не мне ехать, — тебе!

И оба мужика, да и Иванко третий, спокойно остаются на местах.

— Ну-ко я его, подлеца, вицеё вытяну... — опять произносит Тюлин, делая новый опыт примерного вставанья. — Проходящий, да-ко ты мне вицею...

Иванко с громким, гнусавым ревом снимается с места и бежит трусцой на гору, к селу.

— Не донесёт, — говорит мужик.

— Тяжелы, вить! — подтверждает Тюлин.

— А ты бы добежал хоть встречу-те, — советует мужик, глядя на усилия муравья Иванка, появляющегося на верху угора с длинными шестами.

— И то хотел сказать тебе: добеги-ко-сь.

Оба сидят и глядят.

— Евстигне-е-й! Лешай!.. — слышится с той стороны пронзительный и жёлчный бабий голос.

— Баба кричит, — говорит мужик с некоторым беспокойством.

Тюлин сохраняет равнодушие: баба далеко.

— А как у меня мерин сорвётся, да мальчонку с бабой ушибёт... — говорит Евстигней.

— А резва лошадь-то?

— Беды!

— Ну, так очень просто может ушибить. Да ты: бы, послушай, тово... назад бы. Что тебе ехать-то, какà надобность?

— Ах, чудак! Да нешто не видишь: с бабой собрался. Как можно, что не ехать!

Иванко, выбиваясь из сил, приволакивает, наконец, шесты и с ревом кидает их на берег. Всё готово. Тюлину приходится приниматься за работу.

— Эй, проходящий! — обращается он ко мне как-то одобрительно. — Ну-ко, послушай, и ты с нами на паром! А то, видишь вот, больно уж река-те наша резва.

Мы все взошли на скрипучий досчатый паром; Тю-

лин — последний. Повидимому, он размышлял несколько секунд, поддаваясь соблазну, уж недостаточно ли народу и без него. Однако, всё-таки взошёл, шлёпая по воде, потом с глубокою грустью посмотрел на кольца, за которые были зачалены чалки, и сказал с кроткой укоризной, обращённой ко всем вообще:

— Э-эх! Чалки-те, чалки никто и не отвязал. Н-ну!

— Да ведь ты, Тюлин, последний взошёл на паром. Тебе бы и надо отвязать, — протестую я.

Он не отвечает, косвенно признавая, быть может, всю справедливость этого замечания, и так же лениво, с тою же беспросветною скорбью, спускается в воду, чтоб отвязать чалки.

Паром заскрипел, закачался и поплыл от берега. Перевозный шалаш, опрокинутая лодка, холмик с церковью мгновенно, будто подхваченные неведомою силой, унесутся от нас, а мысок с зелёною подмытою ивой летит нам навстречу. Тюлин поглядел на мелькающий берег, почесал густую шапку своих волос и перестал пихаться шестом.

— Несёт, вить.

— Несёт, — ответил мужик, с натугой налегая на чегень правым плечом.

— Пылко несёт.

— Да ты что стал? Что не пхаешься?

— Поди пхнись. С левого-те борту не маячит.

— Ну?

— То-то и ну!

Мужик ожесточённо сунул свой шест и чуть не бултыхнулся в воду, — его чегень тоже не достал до дна. Евстигней остановился и сказал выразительно:

— Подлец ты, Тюлин!

— Сам такой! Пошто лаешься?

— За што тебе деньги плочены, подлая фигура?

— Поговори!

— Пошто длинных шестов не завёл?

— Заведёны.

— Да што нету их?

— Дома. Непшто мальчонко приволокёт... двадцати-то четвертей?

— Говорю: подлой ты человек.

— Ну-ну! Не скажешь ли ещё чего? Поговори со мной!

Спокойствие Тюлина, видимо, смиряет возмущённого Евстигнея. Он снимает грешневик и скребёт голову.

— Куда ж мы теперича? К Козьме Демьяну (в Козьмодемьянск) сплавём, аль уж как?..

Действительно, резвое течение, будто шутя и насмехаясь над нашим паромом, уносит неуклюжее сооружение всё дальше и дальше. Кругом, обгоняя нас, бегут, лопаются и пузырятся хлопья цвету. Перед глазами мелькает мысок с подмытою ивой и остаётся назади. Назади, далеко, осталась вырубка с новенькою избушкой из свежего лесу, с маленькою телегой, которая теперь стала ещё меньше, и с бабой, которая стоит на самом берегу, кричит что-то и машет руками.

— Куда ж мы теперича? Эх беды право, беды, — безнадежно, глядя на бабу, говорит Евстигней.

Положение действительно довольно критическое. Шест уходит в глубь, не маяча, то есть не доставая дна.

Тюлин, не обращая внимания на причитания Евстигнея, серьёзно смотрит на реку. Для него опасность — всех больше, потому что придётся непременно подымать паром против течения. Он, видимо, подтянулся, его взгляд становится разумнее, твёрже.

— Иванко, держи по плёсу! — командует он сыну.

Мальчишка на этот раз быстро исполняет приказ.

— Садись в грёби, Евстигней!

— Да у тебя ещё есть ли грёби-то? — сомневается тот.

— Поговори со мной!

На этот раз слова Тюлина звучат так твёрдо, что Евстигней покорно лезет с помоста и прилаживается к вёслам, которые оказываются лежащими на дне.

— Проходящий, лезь и ты... в тую ж фигуру.

Я сажусь «в тую ж фигуру», то есть прилаживаюсь к правому веслу так же, как Евстигней у левого. Команда нашего судна, таким образом, готова. Иванко, на лице которого совершенно исчезло выражение несколько гнусавой беспечности, смотрит на отца заискрившимися, внимательными глазами. Тюлин суёт шест в воду и ободряет сына: «Держи, Иванко, не зевай мотри». На мое предложение — заменить мальчика у руля — он совершенно не обращает внимания. Очевидно, они полагаются друг на друга.

Паром начинает как-то вздрагивать... Вдруг шест Тюлина касается дна. Небольшой «огрудок» даёт возможность «пихаться» на расстоянии десятка сажен.

— Вались на перевал, Иванко, вали-ись на перевал! —

быстро, сдавленным голосом командует Тюлин, ложась плечом на круглую головку шеста.

Иванко, упираясь ногами, тянет руль на себя. Паром делает оборот, но вдруг рулевое весло взмахивает в воздухе, и Иванко падает на дно. Судно «рыскнуло», но через секунду Иванко, со страхом глядя на отца, сидит на месте.

— Крепí! — командует Тюлин.

Иванко завязывает руль бечёвкой, паром окончательно «ложится на перевал», мы налегаем на вёсла. Тюлин могучим толчком подает паром наперерез течению, и через несколько мгновений мы ясно чувствуем ослабевший напор воды. Паром «ходом» подаётся кверху.

Глаза Иванка сверкают от восторга. Евстигней смотрит на Тюлина с видимым уважением.

— Эх, парень, — говорит он, мотая головой, — кабы на тебя да не винище, цены бы не было. Винище тебя обманывают...

Но глаза Тюлина опять потухли, и весь он размяк.

— Греби, греби... Загребывай, проходящий, поглубже, не спи! — говорит он лениво, а сам вяло тычет шестом, с расстановкой и с прежним уныло-апатичным видом. По ходу парома мы чувствуем, что теперь его шест мало помогает нашим вёслам. Критическая минута, когда Тюлин был на высоте своего признанного перевознического таланта, миновала, и искра в глазах Тюлина угасла вместе с опасностью.

Около двух часов поднимались мы всё-таки кверху, а если бы Тюлин не воспользовался последним «огрудком», паром унесло бы на узкий прямой плёс, и его не достать бы оттуда в двое суток. Так как пристать в обычном месте было невозможно, — мостки давно затопило, — то Тюлин пристаёт к глинистому крутояру, зачаливая за вётлы. Начинается спуск телеги. Мы с Евстигнеем хлопочем около этого дела. Тюлин равнодушно смотрит на наши хлопоты, а баба, давно истратившая на ветер все негодующие слова, сидит, не двигаясь, на возу, точно окаменелая, и старается не смотреть на нас, как будто все мы опостытели ей до самой последней крайности. Она точно застыла в своем злобном презрении к «негодям-мужикам» и даже не даёт себе труда сойти с ребёнком с телеги.

Лошадь пугается, закидывает уши и пятится назад.

— Ну-ко, ну-ко, хлесни её, резвую, по заду, — советует Тюлин, несколько оживляясь.

Горячая лошадь подбирает зад и прыгает с берега. Минута треска, стукотни и грохота, как будто все проваливается сквозь землю. Что-то стукнуло, что-то застонало, что-то треснуло, лошадь чуть не сорвалась в реку, изломав тонкую загородку, но, наконец, воз установлен на качающемся и дрожащем пароме.

— Что, цела? — спрашивает Тюлин у Евстигнея, озабоченно рассматривающего телегу.

— Цела! — с радостным изумлением отвечает тот.

Баба сидит, как изваяние.

— Ну? — недоумевает и Тюлин. — А думал я: непременно бы ей надо сломаться.

— И то... вишь, как крутоярна.

— Чё ино! Самая така круча, что ей бы сломаться надо... Э-эх, а чалки-те опять никто не отвязал! — кончает Тюлин с тою же унылой укоризной и лениво ступает на берег, чтобы отвязать чалки. — Ну, загрёбывай, проходящий, загрёбывай, не спи!

Через полчаса тяжёлой работы вёслами, криков: «навались», «ложись в перевал» и «крепи», мы, наконец, подходим к шалашу. С меня пот льёт от непривычки градом.

— Проси с Тюлина косушку, — говорит полушутя Евстигней.

Но Тюлин, видимо, не расположен к шуткам. Долговременное пребывание на берегу безлюдной реки, продолжительные унылые размышления о причинах никогда не прекращающейся тяжёлой похмельной хворости — всё это, очевидно, располагает к серьёзному взгляду на вещи. Поэтому он уставился в меня своими тусклыми глазами, в которых начинает медленно проблёскивать что-то вроде глубокого размышления, и сказал радушно:

— Причалим, — поднесу... И не одну, слышь, поднесу, — добавляет он конфиденциально, понижая голос, причём в лице его явственно проступает если не удовольствие, то, во всяком случае, мгновенное забвение тяжёлых похмельных страданий.

А с горы, по неудобной дороге, уже сползают два воза.

— Едут... — скорбно говорит перевозчик.

— Да ещё, может быть, не поедут, — утешаю я, — может быть, у них не важное дело.

Я иронизирую, но Тюлин не понимает иронии, быть может, потому, что сам он весь проникнут каким-то особенным бессознательным юмором. Он как будто разделяет его с этими простодушными кудрявыми берёзами, с этими корявыми вёслами, со взывавшею рекой, с дере-

вянную церковкой на пригорке, с надписью на столбе, со всею этой наивною ветлужскою природою, которая всё улыбается мне своею милою, простодушною и как будто давно знакомою улыбкой...

Как бы то ни было, но на моё насмешливое замечание Тюлин отвечает совершенно серьёзно:

— Ежели без товару, само собою обождут. Неужто повезу? Голову всеё разломило...

VI

Парохода всё нет. Говорят, за час до прихода он будет ещё «кричать» где-то, на одной из вышележащих пристаней, но когда, часа через три, лошатавшись по селу и напившись чаю, я подхожу опять к берегу, о пароходе ничего неизвестно. Река продолжает играть и даже разыгралась совсем не на шутку. Тюлин тащится к своему шалашу по колени в воде, лениво шлёпая босыми ногами по зелёной потопшей траве; он весь мокрый, широкие штаны липнут к его ногам, мешая итти; сзади, на чалке, тащится за Тюлиным давешняя старая лодка, которую, согласно предсказанию знатока перевозчика, унесло-таки течением.

— Что, Тюлин, здоров ли?

— Слава богу. Не крепко чтой-то. Давай на ту сторону поедем.

— Зачем?

— Вишь, склёка вышла. Плоты Ивахински река размётывать хочет.

— Тебе-то что же?.. Разве забота?

— А гляди-ко, Ивахин четвертуху волокёт. Да что четвертуха! Тут, брат, и полуведром поступишься...

К берегу торопливою походкой приближался со стороны села мужчина лет сорока пяти, в костюме деревенского торговца, с острыми, беспокойными глазами. Ветер развевал полу его чуйки, в руке сверкала посудина с водкой. Подойдя к нам, он прямо обратился к Тюлину:

— Что, приплёскиват?

— Беды! — ответил Тюлин. — Чай, сам видишь.

— А плотишки у меня поняла уж?

— Подхватыват, да ещё не под силу. А гляди, подымет. Лодку у меня даве слизнула, — в силу, в силу бегом догнал за перелеском...

— Ну?

— То-то. Вишь, вымок весь до нитки.

— Ах ты! — отчаянно сказал купец, ударив себя по бедру свободною рукой. — Не оглянешься, плоты у меня размечет. Что убытку-то, что убытку! Ну и подлец народ у нас живёт! — обратился он ко мне.

— Чего бы я напрасно лаял православных, — заступился за своих Тюлин. — Чай, у вас ряда была...

— Была.

— На песок возить?

— То-то, на песок.

— Ну-к, на песке и есть, не в другом месте.

— Да, ведь, подлецы вы этакие, река песок-то уж покрывает!

— Как не покрыть, покроет. К утру, что есть, следу не оставит.

— Вот видишь! А им бы, подлецам, только песни горланить. Ишь орут! Им горюшка мало, что хозяину убыток...

Оба смолкли. С того берега, с вырубки, от нового домика неслись нестройные песни. Это артель васюхинцев куражилась над мелким лесоторговцем-хозяином. Вчера у них был расчет, при чём Ивахин обсчитал их рублей на двадцать. Сегодня Ветлуга заступилась за своих деток и взыграла на-руку артели. Теперь хозяин униженно кланялся, а артель не ломила шапок и куражилась.

— Ни за сто рублёв! Узнаешь, как жить с артелью! Мы тя научим...

Река прибывала. Ивахин струсил. Кипувшись в село, он наскоро добыл четверть и поклонился артели. Он не ставил при этом никаких условий, не упоминал о плотях, а только кланялся и умолял, чтоб артель не попомнила на нём своей обиды и согласилась испить «даровую».

— Да ты, такой-сякой, не финти, — говорили артельщики. — Не заманишь.

— Ни за сто рублёв не полезем в реку.

— Пушай она, матушка, порезвится, да поиграет на своей волюшке.

— Пушай покидат брёзнушки, пушай поразмечет. Поди собирай!

Но четверть всё-таки выпили и завели песни. Голоса неслись из-за реки нестройные, дикие, разудалые, и к ним прилеплялся плеск и говор буйной реки.

— Важно поют! — сказал Тюлин с восторгом и завистью.

Ивахину, кажется, песня нравилась меньше. Он слушал беспокойно, и глаза его смотрели растерянно и тоскливо.

Песня шумела бурей и, казалось, не обещала ничего хорошего.

— Много ли не дал вчера? — спросил Тюлин просто.

Ивахин почесался и, не отрывая беспокойного взгляда с того места, откуда неслись нестройные звуки, ответил так же просто:

— Об двух красных спорились.

— Много же, мотри! Как бы, слушай, бока не намяли.

По лицу Ивахина было видно, что предположение не кажется ему невероятным.

— Хош бы плоты-те повыволокли, — сказал он с глубокою тоской.

— Чать, выволокут, — успокоил Тюлин.

— Поговори им, — заискивающе сказал торговец. — Мол, боле не приплёскиват, назад, мол, к ночи пойдёт.

Тюлин ответил не сразу; взгляд его приковался к посудине и, помолчав, он сказал сластолюбиво:

— Другую четверть волокёшь?

— Другую.

— Спойшь и третью. Перевезти, что ль?

— Вези!

Лодка была на середине, когда её заметили с того берега. Песня сразу грянула ещё сильнее, ещё нестройнее, отражаясь от зелёной стены крупного леса, к которому вплоть подошла вырубка. Через несколько минут, однако, песня прекратилась, и с вырубки слышался только громкий и такой же нестройный говор. Вскоре Ивахин опять стрелой летел к нашему берегу и опять устремился с новою посудиною на ту сторону. Лицо у него было злое, но всё-таки в глазах проглядывала радость.

К закату солнца вся артель «убилась» за ивахинскими плотами. Под звуки унылой дубинушки брёвна выкатывали на берег и руками втаскивали на подъёмы. Скоро весь ивахинский лес высился в клады на крутояре, недоступный для шаловливой реки.

Потом опять загрела песня. Мокрые, усталые артельщики допивали последнюю четверть. Ивахин, потный, злой, но всё-таки ещё более довольный, перепразился в последний раз на нашу сторону и умчался к селу; ветер размахивал полами его сибирки, а в обеих руках были посудыны, на этот раз пустые.

Тюлин, ещё более унылый, провожал его долгим взглядом.

— Ну что, побили? — спросил я у него.

Он перевёл взгляд на меня и спросил:

- Кого?
- Да Ивахина.
- Нет, что его бить...

Я с удивлением посмотрел на Тюлина, и в моём уме блеснула внезапная и неожиданная догадка: физиономия Тюлина припухла, а под глазом стоял фонарь, очевидно, новейшего происхождения.

- Тюлин, голубчик!
- Ну, что?
- Отчего у тебя синяк?
- Синяк... Да отчего ему быть, синяку?
- Да ведь тебя, Тюлин, должно быть, били.
- Кто меня бил?
- Артельщики.

Тюлин задумчиво посмотрел мне прямо в глаза и сказал:

— Разве либо от этого... Да, слышь, и били-то не очень шибко.

Пауза, взгляд на меня и во взгляде мелькающая догадка:

— Разве либо не Парфён ли это меня саданул?..

— Пожалуй, что и Парфён, — опять помогаю я медленному процессу нового приближения к истине.

— Беспременно Парфён. Такой, скажу тебе, вредный мужичишко, — всегда норовит как бы нибудь человека испортить...

Вопрос оказался достаточно разъяснённым. Мне, правда, очень хотелось ещё разузнать, каким образом гнев артели так неожиданно изменил своё направление, и артельная гроза, вместо Ивахина, обрушилась на совершенно нейтральную тюлинскую физиономию, но в это время с другого берега опять послышался призыв:

— Тю-ю-юли-ин!..

Тюлин не повернул даже головы и лениво направился к шалашу, сказав мне на ходу:

— Кличут. Смахать бы тебе, а? Живым бы духом.

Но вдруг он насторожился, повернулся и ожил. На берегу, несмотря на сумерки, можно было разглядеть красные рубахи. Это артельщики звали Тюлина и, кажется, самым заманчивым образом махали руками.

— Зовут ведь? — радостно сказал он, вопросительно глядя на меня.

— Разумеется, зовут. Опять побьют, пожалуй...

— Не, што ты, бог с тобой. Не может быть! Угостить меня артели желательно, вот што! На мировую, значит...

И Тюлин с удивительною живостью кинулся к берегу. Связав зачем-то две лодки, — нос к корме, — он сел в переднюю и быстро отпихнулся от берега, не оставив на этой стороне ни одной.

VII

Я понял эту невинную хитрость, когда услышал в сумерках скрип воза, съезжавшего с горы. Воз неторопливо подъехал к реке. Лошадь фыркнула несколько раз и, откинув уши, уставилась с удивлённым видом на изменившуюся до неузнаваемости смиренницу Ветлугу.

От воза отделился мужик, подошёл к самой воде, посмотрел, почесался и обратился ко мне:

— Перевозчик где?

— Вон... — указал я на светлую полосу, взрезавшую тёмную поверхность реки уже на середине.

Он вгляделся туда, опять помотал головой, прислушался к песням васюхинцев и стал поворачивать воз:

— И подлый же мужичок здешний перевозчик живёт, — сказал он, впрочем, довольно спокойно. — Гляди, ведь и лодки все уволок... Всю ночь его теперь отдаёшь, не достанешь.

Отведя лошадь, он подошёл ко мне и поклонился.

— Проходящие будете?

— Проходящий.

— Не с озера ли?

— С озера.

— Так. Много телерича народу идёт. Завтра, что есть, и то ещё пойдут... Эх, как река-то пылит, бедь! Ежели теперь нам с вами на паром... да нет, не управиться... Ночевать, видно. А вы не к пароходу ли?

— К пароходу.

— Ну, на заре, раньше не будет. Ночевать, видно, и вам.

Он поставил за шалашом телегу и пустил на береговой откос стреноженную лошадь. Через несколько минут за шалашом закурился дым.

Тюлин, очевидно, приучил свою публику к терпению.

Солнце давно спряталось за горами и лесами, над Ветлугой опустились сумерки, синие, тёплые, тихие. Наш огонёк разгорался, дым подымался прямо кверху. Было как-то даже странно это спокойствие воздуха, наряду с торопливым и буйным движением по реке, которая всё продолжала приплёскивать. С того берега всё неслись

песни, и мне казалось, что я различаю фистулу Тюлина в общей разноголосице. На одном из недалёких холмов, один за другим, вспыхивали огни соседней деревеньки. Днём я не замечал её, — так её серые избы и тёмные крыши сливались с общими тонами пейзажа... Теперь она выступила красивой стайкой огоньков на тёмной верхушке холма и кое-где четырёхугольники крыш вырезывались в синеве неба.

Это — деревня Соловьиха. Мой новый знакомый от нечего делать рассказал мне некоторые небезынтересные черты из жизни её обитателей. Народ в Соловьихе живёт предприимчивый и гордый; в окрестностях соловьихинцы слыгут «воришканами». Случилось моему новому знакомому остановиться в селе Благовещении, у дьячка. Дело было зимой, к вечеру. Сидят за столом. Вдруг кто-то стук-стук в оконце. Выглянул дьячок: стоит за окном Иван Семёнов, сосед старичок, и на ночлег просится. «Да что ты, чай тебе до дому всего с версту?» — «С версту, мол, с версту, да мимо Соловьихи итти. Как бы опять к пролуби не свели».

Оказалось, что между этим старичком и соловьихинцами установились совершенно своеобразные отношения. Как только старик разживётся деньгами, так непременно напьётся на селе, а как напьётся, так и начнёт хвастать: имею у себя «катеньку» в кармане. Пойдёт после этого домой, его соловьихинцы и переймут на реке, да прямо к пролуби.

— Хошь в пролубь?

Ну, разумеется, не хочет. Они и не неволят, — отдай только им «катеньку». Он отдаёт, делать нечего. Они опять:

-- Хошь в пролубь?

— Не желаю, братцы.

— Так никому, гляди, не бай. Не скажешь, что ли?

— Не скажу!

— Заклянись!

— Чтоб мне, говорит, на сим месте провалиться, коли скажу единой душе.

И не говорит. Сколько раз этак его ловили, — надоело ему, перестал вечером мимо Соловьихи ходить, особенно когда выпивши, а не сказал никому. «Водили, говорит, к пролуби соловьихинцы», а кто именно — ни за что не скажет.

После этого рассказа я с особым любопытством взглянул на деревеньку «воришканов». Ну, где, думалось мне,

кроме Ветлуги, встретите вы такую непосредственность и простоту приёмов, и такое благородное доверие к чужому слову, и такую простодушную уверенность в возможности «провалиться на сим месте» в случае нарушения клятвы?.. Мой новый знакомый, сам «ветлугай», уверял, что другой этакой деревни нет нигде больше по всей реке. В Марьине промышляли года три назад «красноярками»¹, — ну, это дело другое. А положите в незапертой избе деньги и уходите на сутки, — никто не тронет.

— Как же всё-таки солёвяхинцы?

— Такой у них, позвольте сказать, обычай...

Ну, где ещё, думалось мне опять, найдётся такая терпимость к чужим обычаям?.. И огоньки Соловьихи мигали мне приветливо и простодушно: «нигде, нигде...»

— Вот и у Тюлина, — сказал я, улыбаясь, — тоже обычай.

— Верно! Подлец мужичок, будь он проклят! А и то надо сказать: дело своё знает. Вот пойдёт осень или опять весна: тут он себя покажет... Другому бы ни за что в водополь с перевозом не управиться. Для этого случая больше и держим...

— Мир беседе!

— Милости просим!

К нашему огоньку с берестяными кошёлками за спиной, с посошками в руках, подошли два странника. Один из них, скинув котомку, внимательно поглядел на меня и сказал:

— Этого мы человека видели.

— Немудрено, — ответил я.

— На Люнде были?

— Был.

— Там и видели. По усердию или обет был даден владычице?

— По усердию. А вы?

— Мы к празднику ходили, стало быть, к сродникам.

— Что ж, садитесь к огоньку.

— Да нам бы на перевоз, — до дому недалече. К утру и дошёл бы я.

— Да, на перевоз!... — вмешался мой знакомый. — Тюлин последнюю лодку уволок. На пароме разве?..

— Где!.. Больно река взыграла.

— Да и шестов длинных нет.

Другой из новоприбывших подошёл усталым шагом к

¹ Красноярками называют фальшивые «бумажки».

берегу, и тотчас же над рекой раздалось громко, протяжно:

— Тю-ю-ли-ин! Лодку дава-а-ай!

Отклик покатылся по реке, будто подхваченный быстрым течением. Игривая река, казалось, несёт его с собой, перекидывая с одной стороны на другую меж заснувшими во мгле берегами. Отголоски убегали куда-то в вечернюю даль и замирали тихо, задумчиво, даже грустно, так грустно, что, прислушавшись, странник не решился в другой раз потревожить это отдалённое вечернее эхо.

— Шабаш! — сказал он и, махнув рукой, вернулся к нашему огоньку.

— А парню-то и до дому рукой подать, — сказал первый из моих знакомых, — и всего-то версты четыре, из Песошной! Слыхали про песочинцев? — спросил он с лукавою усмешкой.

— Нет, я в здешних местах не бывал.

— У них, у песочинцев, тоже опять свой нрав. Что ни город, то, говорят люди, норов, что ни деревня, то обычай. Соловяхинцы, — я вот рассказывал, — любят так, чтоб чужое взять, а уж песочинцы — те своё беречь мастера. Это годов, может, пять назад пошли семеро песочинцев в село Благовещение железо чинить: лемеха там, сошники, серпы и прочее деревенское орудие. Ну, починили, идут назад к реке и сумы с железом в руках несут. А река, как вот и теперь же, приплёскивает сильно, играет, да ещё ветер по реке ходит, волну раскачал. А лодка-то, известно, вёрткая. «А что, братцы вы моё, — говорит один, — как лодку у нас ковырнёт, ведь железо-то, пожалуй, утопнет. Давай, робяты, кошели к себе привяжем, кабы железо не потопить». — «И то, мол, дело!» Так и сделали. К реке шли — железо в руках несли; в лодку садиться — давай на себя навязывать. Выехали на середину, река лодку-те и начни заливать, лодка и опрокинься. Ну, железо-то крепко к спинам привязано, — не потерялось. Так вместе с железом хозяевы ко дну и пошли, все семеро!.. Что, парень, аль не правду я баю?

Песочинец не возражал, и, при свете огонька, на всех трёх лицах моих собеседников лежала одна и та же добродушно-насмешливая улыбка, с особенною ветлужскою складкой, живо напоминавшею мне Тюлина.

— Ну, а вы-то откуда? — спросил я у старика, который видел меня на Люнде.

— А я, господин, сам по себе. Без роду-племени, бездомный человек, солдатская кость.

— А всё-таки родом с Ветлуги?

— С неё матушки. Не одну путину сгонял по ней смолу. Да и после царской службы вот уж пятнадцатый год околачиваюсь.

Солдатского в этом старике было очень мало: только разве некоторая спокойная уверенность речи, да ещё старый засаленный картуз с какими-то едва заметными кантами и большим надорванным козырём. Из-под козыря глядели и искрились порой серые глаза, а около усов ютилась чуть заметная улыбка. Голос у старого солдата был очень приятный, грудной, с «перекатцем», выдававшим прежнего лихого песельника, но теперь уже значительно осипшим от старости, от речной сырости, а может и от «винища». Как бы то ни было, слушать этот голос с юмористической ноткой и глядеть на ветлужскую усмешку старого солдата было очень приятно, и я вспомнил теперь, что действительно мы встречались с ним на озере. В разгар самого горячего спора на тему: «с татем, с разбойником, кольми паче с еретиком не общайся», — когда обе стороны засыпали друг друга текстами и разными тонкостями начётчицкой диалектики, — этот старичок, с надорванным козырём и искрящимися глазами, вынырнув внезапно в самой середине, испортил всю беседу, рассказав очень просто и без всяких текстов простой житейский случай. Рассказ произвёл на большинство сильное отрезвляющее впечатление; начётчики отнеслись к нему с явным пренебрежением. Как бы то ни было, беседа была решительно испорчена, и толпа разошлась, унося, быть может, не одно проснувшееся сомнение...

— Помилуйте, бабий разговор, просторечие! — сказал мне с неудовольствием один из начётчиков. — Нешто это от писания?

— Да это кто такой, не Ефим ли? — спросил другой, подошедший к концу разговора.

— Он.

— Пустой мужичонко, ветлугай. В работниках у нас жывал. Писания не знает. Евангелие одно читал... — и говоривший махнул рукой.

Ефим-ветлугай только улыбался своею особенною улыбкой, неизвестно к чему относящеюся: к предмету ли разговора, к слушателям, или, быть может, к самому ему, пустому мужичонку, бездомнику, солдатской косточке... Как бы то ни было, мне казалось, что в рассказе ветлугая я слышал первое ещё на Светлояре живое слово.

Теперь мы опять завели разговор на ту же тему:

о Люнде, о Светлояре и Китеже, об уреневцах. Среди многочисленных и разновверных групп, собирающихся на Светлояре, приносящих туда каждая свои книги, свои напевы и свою веру, в особенности выделяются уреневские начетчики, устраивающие каждый год свой алтарь под одним и тем же старым дубом, на склоне холма. В то время как около австрийского священника, в полу-манатейке и с длинными косами впереди ушей, едва-едва набирается десяток молящихся, — около уреневского дуба стоит тесная большая толпа. Меня поразили суровые, надменные лица этих начётчиков. Тут были женщины в тёмных скитских платьях, какой-то очень длинный субъект с резкими чертами, молодой мальчишка с сумой нищего, с лицом, покрытым оспой, и лохматый юродивый... Они читали и пели по очереди, однообразными, гнусавыми голосами, совершенно притом не обращая внимания на всё окружающее. Между тем как представители других толков охотно вступали в споры, — уреневцы держались свысока, пренебрежительно, и на вопросы совсем не отвечали. Казалось, для них во всём мире не существовало уже ничего заслуживающего хотя бы малейшего снисхождения, и вся святость сосредоточивалась на этом небольшом островке, занятом их тесно сомкнутыми «стриженными гуменцами» и оглашаемом их унылыми напевами.

— Очень уж высоко сами себя держат, — говорил Ефим. — Народ, нечего сказать, просужий, трезвый народ, а только нашему брату у них неловко.

— Почему это?

— Тоскливо. Наша вера, прямо сказать, много веселее, — ответил за Ефима хозяин воза.

Молчавший до сих пор песочинец при этих словах улыбнулся как-то радостно и сказал:

— Бывал ведь я у них. Больно, братцы, чудно!

— А что?

— Да так. Это нанялся я у них зимусь к одному: брусу из лесу выволоччи. Приехали мы с молодым хозяином на моей лошаде ночью. Наутро проснулся я, а тёмно ещё — дело зимнее. Гляжу: старуха светец засвечает, потом молиться хочет образам. Образа-те хорошие, крашённые. Ну, думаю, и мне пора; помолюсь, дай-ка, и я, да лошадь пойду снаряжать. Лезу тихонько с полатей, стал за ей, давай себе креститьца. Как тут она обернись. Увидела меня и руками замахала: «Ты, — говорит, — что это делаешь?» — «А что, мол, — молитыца было похотел». —

«Погоди», — говорит. «Чего годить? — самая пора». — «Погоди, мол, после». Ну, после, дак и после, опять я полез на полаты. Отмолилась она, свечки погасила, убрала; гляжу опять: малое время погода старче с печки лезет, свою икону ташит на божницу, свою и свечку зажигат. Я опять с полатай. Думаю, теперь и мне можно. Только нацелился лоб перекрестить, старичишка меня за руку лап! «Ты што это?» — «На вот!.. да я, мол, было молитыця целился». — «Погоди, — говорит, — не годится тебе». Вот оказия! Опять, видно, на полаты лезть. Ну, чего будет!.. Тут опять молодича слезат, с молодым хозяином в боковушке свечку затеплили. У тех икон нету, — одно распятыё. Я живым духом к ним, опять себе нацеливаюсь. Давай, думаю, хоть на распятыё помолюсь.

— Ну, дѡпустили, что ль? — спросил один из заинтересованных слушателей, видя, что рассказчик остановился.

— Не! Што вы думаете? — и тут не дѡпустили! Отмолились сами, потом зовут: теперь, говорят, иди, молись себе. Взошёл я в боковушку, а там голые стены. Они и распятыё-то уволокли... Ах ты, шут вас задави! Что мне тут с вами грешить, думаю себе. Не надо! Я лучше, коли так, дорогой поеду, на солнушко господне помолюсь...

— Три веры в одном дому! — заметил солдат.

— Три и есть. Обедать время пришло. Ну, посадили меня, доброго молодца, честь-честью. Опять старики с дочкой вместе, нам с молодым хозяином на особицу, да ещё, слышь, обоим чашки-те разные. Тут уж мне за беду стало. Ах вы, говорю, такие не эдакие. Вы не то што меня бракуете, вы и своего-то мужика бракуете. «А потому, — старуха бает, — и бракуем, што он по Русѣ ходит, с вашим братом, со всяким поганым народом нахлебается...» Вот и поди ты, как они об нас понимают!

— Да-да, — подтвердил хозяин воза, лежавший уже с руками, заложенными за голову. — Видишь ты, какѣ грозны живут... А сами-те бесстыдники! Тепериче у нас, поблизу, в деревне два брата; один, стало быть, в солдаты ушёл, другой его бабу к себе взял. Это невестку-то, стало быть, да ещё чижолую. Другой со службы вернулся, тоже долго не думал: родну-те сестру прежней жены к себе. Да слышь: два брата на двух сѣстрах женаты, да мальчонке-то солдат и дядей родным, да чуть ли и тятькой не приходится. Так вот этим не брезгают. Охо-хо-хо-ѡ... Не спать ли пора?

Водворилось ненадолго молчанье.

— Смешница по Русё пошла, — раздался через минуту простодушный голос песочинца.

— Давно уж это, — сказал, укладываясь, солдат, — не со вчерашнего дни.

— Чё не давно? Вот теперича молокàна опять...

— Ну, эти иная статья, другого роду. Спи-ложись, пустого не бай!

Но песочинец, объятый размышлением о «смешнице», которая пошла «по святой Русё», долго ещё не мог улечься. Он сидел, ковырял веткой в огне и, увидя, что я тоже не сплю, кивнул лукаво в сторону Ефима и произнес:

— Особа статья, говорит... Чего не особа статья! Сам с ними водитця, богам нашим молитця не стал, молоко по пятницам жрёт. Сам видывал, а то бы и баять не надо...

И он тоже стал прилаживаться на песочке.

VIII

Я поднялся и посмотрел кругом.

Река скрылась в тёмной синеве вечера. Луна ещё не подымалась, звёзды тихо, задумчиво мигали над Ветлугой. Берега стояли во мгле, неясные, таинственные, как будто прислушиваясь к немолчному шороху всё прибывающей реки. Поверхность её была темна, не видно было даже «цвету», только кое-где мерцали, растягивались и тотчас исчезали на бегущих струях дрожащие отражения звёзд, да порой игривая волна вскакивала на берег и бежала к нам, сверкая в темноте пеной, точно животное, которое резвится, пробегая мимо человека...

Артель всё ещё бушевала на другом берегу, но песня, видимо, угасала, как наш костёр, в который никто не подбрасывал больше хворосту. Голосов становилось всё меньше и меньше: очевидно, не одна уж удаляя головушка полегла на вырубке и в кустарнике. Порой какой-нибудь дикий голосина выносился удалее и громче, но ему не удавалось уже воспламенить остальных, и песня гасла.

Я тоже улёгся рядом со спящими ветлугаями, любуясь звёздным небом, начинавшим загораться золотыми отблесками подымавшейся за холмами луны. А с горы, тихо поскрипывая, спускался опять запоздалый воз, подходили пешеходы и, постояв на берегу или безнадежно выкрикнув раза два лодку, безропотно присоединялись к нашему

табору, задержанному военной хитростью перевозчика Тюлина.

Огни в деревушке на холме давно погасли один за другим. Столб с надписью то выделялся, окрашенный огнём костра, то утопал в темноте.

На той стороне, за рекой, запевал соловей.

— Перево-òз!

— Перевоз, перевоз, перево-ò-оз!

— Эй, перевоз-чик, живей-э-эй!

— Го-го-го-го-о-о!..

Громкие крики, раздававшиеся шумно, внезапно, резко и звонко, точно труба на заре, разбудили меня и весь наш табор, приютившийся у огонька. Крики наполняли, казалось, землю и небо, отдаваясь в мирно спавших лошадинах и заводях Ветлуги. Ночные странники просыпались и протирали глаза; песочинец, которого вчера так сконфузил его собственный скромный оклик заснувшей реки, теперь глядел с каким-то испугом и спрашивал:

— Что такое? С нами крестная сила, что такое?

Начинало светать, река туманилась, наш костёр потух. В сумерках по берегу виднелись странные группы каких-то людей. Одни стояли вокруг нас, другие у самой воды кричали перевозчика. Невдалеке стояла телега, запряжённая круглою сытою лошадию, спокойно ждавшего перевоза.

Я тотчас же узнал уренеццев... Тут были и третьеволнишние скитницы в тёмных одеждах, и длинный субъект с мрачным лицом, и рябой нищий, и лохматый «юрод», и ещё какие-то личности в том же роде.

Теперь они стояли вокруг нашего, лежавшего вповалку, табора, глядя на нас с бесцеремонным любопытством и явным пренебрежением. Мои спутники как-то сконфуженно пожимались и, в свою очередь, глядели на новоприбывших не без робости. Мне почему-то вдруг вспомнились английские пуритане и индипенденты времён Кромвеля. Вероятно, эти святые так же надменно смотрели на простодушных грешников своей страны, а те отвечали им такими же сконфуженными и безответными взглядами.

— Эй, вы, ветлуган-водохлёбы! где перевозчик?

— Перевоз, перевоз, перре-во-òз!..

Можно было подумать, что целая армия вторглась в мирные владения беспечного перевозчика. Голоса уренеццев гремели и раскатывались над рекой, которая теперь, казалось, быстро и сконфуженно убегала от погрома, вся

опять желтовато-белая от цвету. Эхо долго и далеко перекатывало эти крики.

«Ну-ка, — думалось мне, — устоит ли и теперь тюлинский стоицизм?»

К моему удивлению, взглянув на реку, я увидел в утренней мгле лодочку Тюлина уже на середине. Очевидно, философ-перевозчик тоже находился под обаянием грозных уреневских богатырей и теперь грёб изо всех сил. Когда он пристал к берегу, то на лице его виднелась сугубая угнетённость и похмельная скорбь; это не помешало ему, однако, быстро побежать на гору за длинными шестами.

Наш табор тоже зашевелился. Хозяева ночевавших воезов вели за чёлки лошадей и торопливо запрягали, боясь, очевидно, что уреневцы не станут дожидаться, и они опять останутся на жертву тюлинского самовластия.

Через полчаса нагружённый паром отвалил от берега.

У потухшего костра мы остались вдвоём с Ефимом, который разгребал пальцами золу, чтобы закурить угольком носогрейку.

— А вы что же не переправились заодно?

— Ну их, не люблю, — ответил он, раскуривая. — Мне не к слеху, пойду себе по росе... А вот вам так, пожалуй, пора собираться: слышите, пароход сверху бежит.

Через минуту и я мог уже различить гулкие удары пароходных колёс, а через четверть часа над мысом появился белый флаг, и «Николай» плавно выбежал на плёсо, мигая бледнеющими на рассвете огнями и ведя зачалежную сбоку большую баржу.

Солдат услужливо подал меня в тюлинской лодочке на борт парохода и тотчас же сам вынырнул в ней из-за кормы, направляясь к тому берегу, где грузный паром высаживал уреневцев.

Солнце давно золотило верхушки приветлужских лесов, а я, бессонный, сидел на верхней палубе и любовался всё новыми и новыми уголками, которые с каждым поворотом щедро открывала красавица-река, ещё окутанная кое-где синеватою мглой.

И я думал: отчего же это так тяжело было мне там, на озере, среди книжных народных разговоров, среди «умственных» мужиков и начётчиков, и так легко, так свободно на этой тихой реке, с этим стихийным, безалаберным, распущенным и вечно страждущим от похмельного недуга перевозчиком Тюлиным? Откуда это чувство тяготы и разочарования, с одной стороны, и облегчения —

с другой? Отчего на меня, тоже книжного человека, от тех веет таким холодом и отчуждённостью, а этот кажется таким близким и так хорошо знакомым, как будто в самом деле

Всё это уже было когда-то,
Но только не помню когда...

Милый Тюлин, милая, весёлая, шаловливая зыгривная Ветлуга! Где же это и когда я видел вас раньше?

1891 г.

ПРИЁМЫШ¹

Ранним утром, почти на заре, когда белый туман покрывал ещё Святое озеро сплошным мягким покровом, мы прошли мимо его берегов, направляясь к Керженцу.

В полдень мы были уже в большом селе Быдреевке и бродили по берегу Керженца, стараясь достать лодку, чтобы спуститься по течению реки к Волге.

Дело оказалось нелёгкое. Какой-то белокурый мужик уверял меня, что у него есть чудесная лодка.

— Уж я, ваше степенство, знаю, что вам надо. Мой ботничек в час до неба сочтёт... В сутки — к Макарью...

Но едва мы уселись в него и отпихнулись от берега, — ботник заслезился изо всех щелей, закричал и тихонько опустился на дно. К счастью, катастрофа случилась недалеко от берега...

— Недорого и взял бы, — с искрой исчезающей надежды сказал мужик. — Ботник лёгкой, — сухо закончил он, нинком ноги придавая ветерану прежнее положение на песчаной косе. — Лучше этого ботника нигде не достанете...

В конце концов мы всё-таки нашли то, что нам надо, но для этого пришлось спуститься вниз по реке, откуда уже не было видно ни Быдреевки, ни большого тракта, по которому звенят колокольцы, ни длинного моста с телеграфными столбами.

Времени прошло не мало, когда мы уселись в наш корабль, спустившись с берегового крутояра. Наша лодка тихо двинулась вниз по течению, и сразу Керженец охватил нас своей тихой, задумчивой и сумрачной красотой.

¹ Глава III очерков «В пустынных местах (из поездки по Ветлуге и Керженцу)». Прим. ред.

Река узка... Тёмная струя несёт лодку меж высокими берегами. На правом — вётелы мочат в воде свои бледно-зелёные ветви. Тихо качаются белые и жёлтые кувшанки, и дальний лай собак или одинокий крик петуха несётся откуда-то из невидных с реки деревень...

Я бросил вёсла и только порой направляю лодку, когда она подплывает к вёслам, и ветки бьют меня по лицу... Я знаю, что стоит мне подняться на высокий берег, и я, может быть, опять увижу Быдреевку и её длинный мост, по которому тянутся обозы и летают почтовые тройки из Семёнова на Вятку...

Но здесь не видно телеграфных столбов, не слышно почтовых колокольчиков... Налево — в реку заглядывает с яра дремучий лес, направо — шелест идёт по траве да мать-мачеха хлопает по ветру своими бледнозелёными листьями... Снизу они белые, пушисты и мягки, как прикосновение материнской руки; сверху зелены и холодны. Это — мачеха...

Солнце сильно склонилось и совсем исчезло с реки, а лодка всё плыла вниз, не встречая на берегу живого существа... Наконец — ещё поворот и она вышла на широкое плёсо. Песчаная коса сильно вдавалась в течение реки. На косе виднелся рыбацкий челнок, а у челнока босая девочка лет восьми возилась с тяжёлым для неё веслом и рыбацкими снарядами.

Я шевельнул веслом, и наша лодка уткнулась в отмель с другой стороны...

Девочка повернулась. Её синие глаза стали круглее, губы опустились книзу, и весло выпало из рук.

— Не бойся, умница, — сказал я помягче. — Мы тебе дурного не сделаем. Скажи, как поближе пройти в вашу деревню...

— Э-эвона... деревня-то...

Действительно, сделав несколько шагов, я увидел из-за кустов избушки деревни, сверкавшей окнами на вечернем солнце.

— А тебе кого? — спросила девочка смелее и с любопытством.

— Да нам бы вот чаю напиток, да может переночевать... Дело к вечеру, а плыть нам далеко.

— Переночевать?.. Ступай к Дарье Ивановне.

— А где она?

— Дарья Ивановна-то? Да ты Дарью Ивановну разве не знаешь?

— Да я здесь не бывал никогда...

— Ну, не бывал, так где тебе и знать. Погоди, мужик ейный, Дарья Ивановна, тут недалече. Тятка, ау! Степан Фёдора-а-ач! — крикнула она нараспев, повернувшись к реке.

— А-а-а-ау! — отозвался откуда-то издалека глухой мужичий голос.

— Подь, Степан Фёдора-а-ач, сюда-у!..

Через минуту на берегу показалась фигура мужика, без шапки, с лохматыми волосами, босого и с грудью сегой на спине. Он шёл, опустив голову, покачиваясь, будто сонный, и несколько раз споткнулся на ходу. Девочка смотрела на него смеющимися глазами.

— Вишь, шатает его. Ты, может, подумаешь — пьяный он! Нет, не пьяный, а ночи не спит, — всё на реке, на сеже сидит — рыбачит. Снял у мужиков воды в кортома, вот тут повыше омутов. Мамка, Дарья Ивановна, говорит: «не снимай», а он не послушался: «сниму», говорит. Пять рублей отдал. А рыба, слышь, и нейдёт к нему... Вот он и старается...

— Да он тебе тятка, что ли? — спросил я, удивляясь, что она зовёт мужика то тяткой, то по имени и отчеству.

Девочка не ответила. В это время рыбак, немолодой, угрюмого вида, подошел уже к нам; не скидая сетей, он остановился, посмотрел на меня отяжелевшими от бессонницы глазами и спросил:

— Чьи будете?

— Нижегородский, — ответил я. — Мне бы переночевать.

— Можно. Ступай, когда так, за мной.

И он пошёл вперёд, всё так же спотыкаясь на ходу, будто вот-вот свалится и заснёт у тропинки.

— Опять ни одной рыбёшки не поймал, — сказала девочка. — Мотри, свалишься ещё...

Мужик промолчал. Мы вошли в улицу небольшой деревнюшки. Окна её смотрели на реку, а задворки подходили вплоть к лесной опушке.

«Глухой, медвежий угол», — подумал я невольно, взглядывая на своего сурового провожатого.

Хозяйка Дарья Ивановна встретила нас, впрочем, очень приветливо и радушно.

Это была совсем ещё молодая на вид женщина, с ласковыми, спокойными приёмами и добрыми красивыми глазами, в которых по временам, когда она взглядывала на дремотного мужика, искрилась лукавая усмешка, как

и у девочки. Степан Фёдорыч как-то уныло уселся на лавке и клевал носом.

— Много ли наловил? — спросила хозяйка и переглянулась с девочкой; обе при этом улыбнулись. — Эх ты, горе-рыбак! Слушался бы меня, лучше бы было.

— Говори! — ответил Степан угрюмо. — Вот пойдёт из омутов — поспевай только вынимать.

— Неужто опять сидеть станешь всю ночь?

— Пойти, изготовить снасть.

Упрямый мужик поднялся и сонно поплёлся из избы, а хозяйка стала хлопотать около самовара. Девочка помогала матери.

— Дочка-то как на тебя похожа, — сказал я, — только глаза да волосы посветлее.

Женщина как-то странно улыбнулась и покраснела.

— А старик муж тебе?

Она покраснела ещё больше, до самых ушей, и даже закрыла лицо широким узорно расшитым рукавом.

— Муж. Да он и не стар ещё годами-те против меня. Работа да горе!.. Да теперь вот суётся ещё, как сонная муха, почитай неделю не спит: с рыбой связался.. Завота! А пуще всего кручина извела его, как сынок у нас помер. Двадцатый год пойдёт с Филипповок, как в сыру землю Мишаньку уложили.

— Двадцатый год? — удивился я, глядя на зардевшееся румянцем молоджавое лицо Дарьи Ивановны.

— Да! Мне ведь уже сорок два года... Никто не верит... И то ещё горе извело. Сколь много слёз мы пролили... Детей господь батюшка больше не дал.

— А девочка эта?

— То-то вот, говоришь ты: «похожа»! А она у меня богоданная, приёмыш, — сказала Дарья Ивановна, ласково и как-то серьёзно глядя рукой белокурую головку прильнувшей к ней девочки. — Да всё меня, дурушка, мамкой зовёт, а у неё ведь и родная-то мать жива... Так ту, слышь, дстго всё «чужой тётей» звала. Насилу я её, дуручку, выучила. Грех ведь! Вот теперь две мамки у неё. Да и у меня она тоже за двух: за дочку богоданную, да за сыночка родного, за Мишаньку...

Она вздохнула, и выражение глубокой грусти тихо легло на лицо, сменяя стыдливый румянец. Тонкими пальцами загорелой руки она перебирала сборки на рукаве прижимавшейся к ней девочки. Девочка затихла и смотрела ей в лицо снизу вверх, как будто ждала дальнейшего рассказа про умершего мальчика. Было что-то глубоко

захватывающее в молчании матери, посвящённом любимой тени.

— Уж и красавчик был, уж и умной, — сказала она, разведя самовар и присаживаясь к столу. — Не я одна скажу, — кто знал, все дивились на него. Разговор имел приятный да степенный, иному взрослому в пору, да и то ещё кто поумнее... Право. Бывало, сторонние люди зайдут, послушают, так только головами качали. Если, мол, бог этому младенцу дозволит в возраст взойти, — увидят от него родители себе утеху. Да вишь, гослодь-то батюшка...

Она низко спустила голову и прижала девочку к груди, как будто в том месте у неё заболела старая рана.

— Ему, батюшке, сказывают, самому этакие нужны... Как во гробике-то лежал, уж мы плакали, плакали... Потом в пустой-те избе — тоже... Ровно свет из дому навек ушел... Он (мужа она называла в третьем лице) — он у меня извёлся с той поры, — постарел, глазами ослаб... всё от слезы-те. Днём-то, знаешь, стыдно, крепится перед людьми, а ночью и не выдержит, и завоет... Я за ним... Так вот и шло у нас всё, — плачем да тоскуем. Уж люди и то говорили: «Спокою вы младенцу своему, на том свете не даёте; нешто можно этак?» Да что ты поделаешь, — нет сердцу укороту нисколько. Пять годов прошло, а легче нет... Только раз ночью, — вздремнула я маленько, — слышу, кто-то по избе прошёл... Дунуло на меня, повеяло чем-то, стала я ни жива ни мертва. «Миша родной! Ты, что ли, это?..» А сердце-те бьётся, что итапка подстрелена, — вот умру, вот умру...

— Я, говорит, мамонька. Пришёл к тебе, — послушай ты меня, что я скажу: не избыть тебе грешной тоски, не укоротить сердца, не даёшь ты и мне покою-радости, поколь на сердце кого-нибудь не положишь...

— Мишанька, голубчик мой, кого ж мне на сердце положить, — нет тебя, ненаглядного соколика... До конца веку не избыть мне горюшка... Сама плачу, руками тянусь, а в избе никогошенько не вижу. Услышал тут он меня.

— Дарья, с кем, мол, бьёшь?

Рассказала я ему: «вот с кем я баяла, Степан Фёдорыч».

— Молись, говорит, богу... Видно и впрямь грешно этак-то...

На утро стали мы вспоминать да умом раскидывать. Видно, мол, надо приёмыша взять, — к тому речь была

Мишанькина, ни к чему боле. По первоначалу-то будто противно подумать, ровно чужому Мишанькино добро отдавагь. Потом свыклась. Только всё с *ним* согласу не было. *Он* говорит: «мальчика взять», а я и думать не могу. Ему-то, вишь, лестно, что помощник будет, а мне как вспомнится Миша, так все парни опротивеют. Где же этакому другому быть, как он был! Только сквернословие да непочтение, — на это их возьми. Так и шло у нас всё: всё примериваем, да спорим, да тоскуем.

Да, вишь, привёл бог, по-моему вышло. Видно, по Мишанькиному заступлению помиловал нас господь-батюшка... Это за рекой, в деревнюшке, принесла девка младенца... Согрешила, бедная, да уж и муки же приняла: в семействе и прежде у них неладно было, — мачеха лютая и то со свету сживала, а тут — и-и, боже мой! — чего натерпелась девонька моя. Известно, мачехи-те редко хорошие живут. По-настоящему-то рассудить, так, может, и тот девкин грех мачехе замаливать надо. Потому что — первое дело: ейное несмотрение; второе дело: иная девка от невзгодья от одного, дома-то свету-радости не видя, на грех пойдёт. Тоже ведь живой человек, тоже ласки захочет. Ну, и поверит наша сестра другому подлецу. А там и плачь всю жизнь, проклинай свою девичью долю, непокрытую, а он, хахалишко, известно, другую дуру обманывает...

Так вот и с ней. Принесла ребёночка, — мачеха с глаз долой согнала. В чужих людях жить, сам знаешь, с ребёнком-те маята, да ещё все смеются, да ото всех бесчестье да попрёки... Бьётся, бедная, бьётся, до того, говорит, добилась, что взять младенца на руки да в омут головой и с ребёнком-те.

Только женщина попалась ей одна из нашего села и научила. «Вот что, говорит, Степан у нас Фёдоров с Дарьей Ивановной больно об сыне тоскуют. Попытай им отдать младенца. Ежели, говорит, судил ей бог судьбу, то не иначе что у них судьба эта находится...»

Ну, вот уехал мой Степан Фёдоров в лес, одна я ноченьку ночевала, одна-одинёшенька с тоской со своей... Лежу на палатах, спать не сплю, всё думаю. Только слышу — мимо избы прошёл кто-то. Слушаю-послушаю, нет будто никого. Да вдруг кто-то в оконце стукнул раз и другой. Подошла я к окну, — ночь лунная, ясная, на траве каждая тебе росинка видна, а под окном никого...

Упало у меня сердце, отошла я от окна — к стенке прислонилась. Вдруг рука опять, да по стеклу тихонечко

стук-стук. Я к окну — гляжу: у стенки кто-то жмётся, хоронится. Присела я на лавку, — господи, что такое? А сердце-то колотится... Ну вот, ровно в ту ночь, когда Мишанька приходил. Встала я, перекрестилась и говорю: — Кто тут хоронится? Выходите, коли добрые люди!

Выходит тут перво-наперво наша деревенская старушка к окну. «Не бойся, говорит, Дарья, не с худым пришли». А та всё жмётся... И вижу я — у той полотенчиком на груди ребёночек подвязан... Господи батюшка! Потемнело у меня в глазах, ноженьки задрожали, руками за лавку держусь, а то бы упала. Вспомнила своо Мишаньку... Думаю: вот она, судьба ко мне идёт. Замуж шла, — где тебе: далеко этакого страха не было.

Подошла наша женщина к окну. «Пусти, говорит, Ивановна».

— Пошто, говорю, вас ночь-полночь в избу пускать?.. Ну, да сама всё-таки дверь отворяю, огня не вздуваючи, — только месяц полный в окна светит. Перестуцили они порог, а я стою перед ней, перед девкой-то, ни жива ни мертва, ровно казнить-миловать она меня пришла. И стыдно-то мне, и страшно-то, и боюсь: ну, вдруг возьмет да уйдёт она от меня? А младенец-то спит у ней в полотенчике — не слышит...

Ну, женщина наша и говорит ей: «Кланяйся, девка, в ноги!..» Поклонилась она мне в ноги да у ног ребёночка положила, припала к нему, плачет. Подняла я её, ребёночка принимаю; горит у меня в руках, не знаю — брать, не знаю — не брать... И она-то... сама отдаёт, сама держит... и обе мы плачем...

Ох, и помню я, добрые люди, ту ноченьку месячную, не забыть мне её будет до конца моей жизни...

На заре ушли они; обмыла я дитю, обрядила. Свою рубаху тотчас перешила, уложила ребёнка в корзиночку... Сижу, жду его, Степана-то моего Фёдоровича. И опять мне, молодой, стыд, да боязно, да заботушка. Ровно, вот, без мужа ребёнка принесла, право. Вижу: приехал, идёт ко крыльцу, — я не встречаю, не привечаю — сижу на лавке. Вошёл он в избу, — ребёнок как раз и кричи...

— Это, мол, что такое?

— Это, мальчишка, говорю, бог тебе послал, Степан Фёдорыч...

Поди вот! и зачем солгала перед *ним* — не знаю, не ведаю. А уж где тут обмануть, — на минуту одну не обманешь: и рубашонка-то по-женски надвое сшита. Подошёл он к корзине, поглядел...

— Какой это мальчик! Девочку взяла...

Больше ничего не сказал...

Она опять замолчала, тихо улыбаясь при воспоминании о своём Степане Фёдоровиче, которого она переупрямила и хотела ещё обмануть. Мне вспомнилось суровое лицо хозяина, и теперь оно показалось мне гораздо приятнее.

— Мамка, — тихо спросила девочка, отводя лицо от её груди.

— Что, Марьюшка?

— Что ж ты не баешь. Это я была девочка-то?

— Ты, ты и была, глупая. Уж который раз спрашивает... Никакой ты ей сказки не сказывай, а всё одно... Не переслушает... А уж и горя-те, и маяты-те что я с тобой приняла! Просто не приведи создатель. Хворая была, да скверная, да вся в струпьях, да всё криком кричит, бывало, от зари до зари. Сердце всё, что есть, изболело у меня с нею. Ночь бьёшься-бьёшься, силушки нет. «Изведёшься ты у меня, Дарья, говорит, бывало, Степан-то Фёдорыч. Не позволяю тебе, говорит, этак-то изводиться. Завтра же носи её к матери». Ну, тут уж я молчу, не перечу. А день придет, я опять: «подождём ещё, что будет, что господь даст». Он у меня отходчив — Степан-то Фёдорыч — и махнёт рукой...

Она помолчала, тихо улыбаясь.

— Сказывал мне после старичок один — умный старик: «Это, говорит, ты так понимай, что господь батюшка в болезнях младенца милость к тебе являл. Нешто чужая девочка стала бы тебе за родного сына, которого ты под сердцем носила, ежели бы не переболело у тебя из-за неё всё сердечушко-то заново...»

Пожалуй и правда это: я её в утробе не носила, грудью не кормила, так зато слезой изошла да сердцем переболела. Оттого иная и мать не любит так, что я её, приёмыша свою, люблю. Это хворь по детям ходила, ударило и её у меня этой хворью. Уж я плакала-плакала... «Господи батюшка! — думаю себе, — и отколь у меня столь много слёз за неё, откуда только льётся их такая сила...»

Она смолкла... Девочка тянулась к ней с улыбкой бабовницы-дочери. За окном чирикала какая-то вечерняя пташка, и, казалось, последний луч солнца медлил уходить из избы, золотя белокурую голову ребёнка, заливая ярким багрянцем раскрасневшееся лицо поздней красавицы, любовью и болью сердечной завоевавшей себе новое материнство...

В сенях послышались медлительные шаги Степана Фёдоровича. Он вошёл в избу и остановился на пороге.

— Самовар-то, гляди, у тебя убсжал. Эх, вы, — хозяйки... Собирай, что ли, на стол...

Дарья вскочила и, всё ещё взволнованная своим рассказом, принялась накрывать на стол...

НА СЕЖЕ¹

Когда мы кончили ужинать, уже стемнело. Степан стал собираться на реку.

— Не возьмешь ли и меня с собой? — предложил я.

Степан остановился вполоборота и сказал:

— Скучишься, поди, над водой-то сидеть... Тоже, и сыро... Ночи, пушай, тёплые живут...

— Сходи, милый, ничего, — сказала Дарья. — А холодно станет, ты скажи: он тебя на берег доставит... Надо, видно, тебе и сежи наши поглядеть... Я так вот и о сю пору не знаю, чего они там делают. Погляжу с берега: сидит на середине реки да носом клюёт... А рыба по дну ходит себе...

Степан ничего не ответил на новый укол, а мы вышли...

Через несколько минут ботник доставил нас на середину реки, к сеже.

Река перегорожена от одного берега до другого. На середине оставлен единственный проход для рыбы, и над ним устроена сежа: на четырёх высоких жердях мосток и на нём лавочка.

Мы взобрались на это седалище, и Степан тихо, чтобы не тревожить обитателей чёрной глубины, загораживает ворота широкой пастью сети в форме широкого длинного мешка. Края этой сети надеты на четыре шеста: два вертикальных закалываются по сторонам ворот; из двух горизонтальных один опускается на дно, другой остаётся на поверхности.

— Тише теперя... Не шевелись, — шепчет мне Степан.

Он собирает рукав сети, изловчается, взмахивает рукой... Сеть с шипящим звуком падает на тёмную реку. Сначала видно, как она, белея ячейками, уплывает по те-

¹ Глава IV очерков «В пустынных местах (из поездки по Ветлуге и Керженцу)». Прим. ред.

чению; потом будто чья-то невидимая рука схватила её и потянула в глубину...

После этого Степан собрал в левую руку множество нитей, идущих от нижнего шеста, лежащего на дне реки. Эти нити тянутся со дна, загораживая всё пространство ворот, и напоминают вожжи, взнуздавшие чёрную глубину. Когда Степан через некоторое время передал их мне, тщательно разложив их на кисти моей руки — таким образом, что я чувствовал каждую нитку отдельно, то они тихо заиграли у меня в руке, как струны... Сразу установилась какая-то связь с глубиной. Нити трепетали, вздрагивали, подёргивались, точно кто-то невидимый в глубине играл на них, как на струнах... Нервы невольно напрягались... Хотелось не шевелиться, говорить как можно тише.

— Дергают, — сказал я. — Много... Точно идёт стая...

— Не, — спокойно ответил Степан. — Это вода плывёт, да ещё сарожник балует... Мелкота. Крупная рыба та тебе баловать не станет. Вот когда услышишь — потянет боком лёгенько, ровно смычком по струне, ну тогда лещ или щука прошла. Тогда таким мы нижний шест кверху, — тут она... Лещ — он простяк; пойдёт, так уж и идёт. А вот щука или наипаче жерех — с тем мудрено: пойдёт биться, пойдёт путлять, сеть что есть изорвёт... Эка громадина бултыхнулась, прости господи... Дай-ко сюда!

За нами что-то грузно, даже как будто со вздохом, шлёпнулось в воду, и невидимые в темноте круги тихо закачали шесты с мостками. Степан оглянулся и покачал головой.

— Сними-ко картуз, Владимир: вишь, даже в воде белеет, пожалуй, забойтся он... Не жерех ли это, гляди, из омута пошёл...

Я снимаю картуз, который действительно мерцал слабым пятном в таинственной обители простяков лещей и хитрых жерехов. Сам Степан сидит несколько минут тёмный, незаметный, и чутко дремлет с своими странными вожжами в руке.

— Не даст ли господь дождика? — говорит он вдруг радостно, подымая лицо навстречу проснувшемуся свежему ветру.

Две стены леса по обе стороны реки действительно зашептали о чём-то; осинки лопочут быстро и тревожно, между тем как ели только качают острыми верхушками, но шума от них ещё не слышно. Степан наставил ухо,

насторожился и смотрит с ожиданием на тёмное небо, где звёзды неясно мерцают в сыром воздухе.

Лёгкое, светлое, даже как-то слишком светлое облачко остановилось в зените, над самой рекой. Целая рать таких же тучек толпится за гребнем, выглядывая из-за леса...

Этот ветер, заговоривший с дремавшими осинами, будит надежду, что, наконец, моления сельских церквей по всему лицу этой умирающей от жажды страны услышаны кем-то в далёкой вышине, и светлый рой облачков, толпящихся за верхушками елей, кажется только авангардом, повинующимся таинственной команде.

И ночь оживает, вся проникаясь смыслом и волей от этого страстного человеческого ожидания...

Но река молчит... Жерех из омута не проявляет никаких определённых намерений.

— Послушай, Степан, — спрашиваю я, чтобы прогнать дремоту, — ты вот тут сидишь по ночам, над водой, близ омута. Неужто не видал ничего этакого?

— Нèжити? Не... Бог миловал, не видал никогда: — Степан слегка зевает. — В прежние времена водилось их тут много... всяких. А теперь видишь ты: жилья больше, церкви тоже понастроены, — в леса он подальше ушел, так мы считаем...

Он тихо смеётся.

— Это недели с две испужался я-таки... действительно что, порядком струсил... этак же вот на сеже сидел... На ееле первые петухи ещё не кричали. Только слышу — по лесу на той стороне шум и сучья трещат; да шум, скажу тебе, бойкой, так и ломит... Что, думаю, за притча?.. Потом стихло. И вдруг, гляжу: ходит чёрное, здоровенное по берегу, над омутом. Вижу — ходит, а что именно — не могу разглядеть, потому темно под лесом-те. Вдруг — бултых в воду, в самую омутину. Глянул я на воду, на светлое-то место, — и обомлел: плывет тебе по реке рогатой, да и рога-те какие-то страшные! С нами крестная сила! Перекстился, протёр глаза-те. Чтò ты думаешь?.. Лось! Да ещё не один, а два. Другой на берегу остался, повернулся ко мне, вытянул морду, да что-то кричал товарищу. Вот ведь, скажу тебе, Владимир, — вообще на речь похоже, только слов не поймёшь. Ну, думаю, что будет... Так я понимаю, что обо мне это они. Тот выплыл на берег, на песок, подошёл к сеже к самой, смотрит с берега на меня. Самец видно: посмелее, а она боится. Говорил он ей, говорил: дескать, ничего, не бойся ты этого мужика. Вишь он на сеже сидит. Потом ударил

копытом — опять назад, к товарищу. Значит, она дура, всё боится. Известно, баба. Заробела. Плывет он по реке, а я думаю: ну-ко он подойдёт под сежу-то да рогами и толканёт. Жерди не больно чтоб крепкие, — чебурахнусь я в воду, стопчет он меня... Нет. Поговорили, посоветовались друг с дружкой... как ударят опять по лесу! Охо-хо... И ударили по лесу-те, братец мой... и пошли они...

Пока он засыпающим голосом продолжает рассказ о своих ночных посетителях, дремота, качавшаяся на летучих крыльях над моей головой, спускается ниже... Над сеже, над рекой, водворяется сон. Степан смолк и слушает только руками... До меня доносится таинственный шопот леса... Ему придаёт особенную важность то, что он один говорит среди общего молчания... Его шорох навевает какие-то сумрачно-странные фантазии. Кто-то будто тихо плывёт в глубине, подкрадываясь к нам... Шипя поднимаются из воды чудовищные лапы... Качаются мостки. Вода закипает и вздымается кверху, доски под мной качаются, опрокидываются, в голову что-то стучит, сердце колотится в груди, — и я лечу в тёмную бездну...

— Держи, держи!.. Вишь, подлец, вишь, подлец, чего делает... Ах, ты, господи! Подержи шест, Владимир... Шест подержи!

Я открываю глаза. Вода действительно кипит под мной, мостки действительно качаются... Степан торопливо передаёт мне шест и быстро спускается в лодку. Сеть шипит, вьётся в воде, и кто-то усиленно дёргает шест из моих рук.

— Чего делает!.. Нет, чего делает, господи боже! — говорит Степан почти с испугом. — Завьёт сеть за корягу, всёе изорвёт. Не-ет, погоди, не-ет, шалишь!..

Подо мной начинается суетливая возня. Степан уже в лодке, и его ботничек, узкий и востроносый, извивается над водой точно хвост водяного чудовища. Сам Степан говорит сдавленным голосом, кому-то грозит и кого-то ловит, суясь чуть не по самые плечи в воду.

— Ту-у-ут, — произносит он наконец окончательно умирающим голосом. — Волоки потихонечку сеть-то к себе, Владимир. Так... потише. Ну и боец, ну и боец!.. Настоящий Александра Маркидон, право Александра Маркидон!

Из воды, поблёскивая в темноте извивающимся туловищем, появляется сам Маркидон, огромный жерех, с выпу-

ченными глазами. Счастливый Степан продолжает беседовать с ним, но уже самым дружеским тоном.

— Ма-аладчина! Прямо тридцать фунтов считай... Маленько ты меня, братец, и самого-то в воду не утянул... Да нет, — ты боец, да и Степан молодец. Ну-ко, ну-ко, в мешок полезай...

Боец глупо взглядывает на свет божий своими стоячими глазами, ещё раз взмахивает хвостом и исчезает в мешке.

Дремал я, должно быть, не долго: белое облачко, глядевшее с зенита, все ещё заглядывает на нас, зацепившись за чёрную зубчатую линию берегового леса, между тем как за ним, толпясь и погоняя передних, ползут остальные.

— Будет ли дождик, даст ли господь? — говорит Степан, крестясь и опять усаживаясь на сеже... Эти слова остаются в моей памяти, как последнее впечатление первой ночи, проведённой мною на Керженце. Я укладываюсь кое-как на неудобных мостках... Подо мною плещет глубина, таинственная, чёрная, бездонная. А просыпаясь от чуткой дремоты, я вижу над собой фигуру Степана. Она огромна, висится над лесами и головой уходит в фосфорические облака, которые толются всё гуще... В руках у Степана вожжи, на которых он держит реку...

Потом всё смешивается, и я ничего не вижу и не слышу.

.....

— Ну-ко, проснись, Владимир... Солнце, гляди-ко, здымается... Ну-ко-ся... а мне бог счастье послал.

Я просыпаюсь... Слегка хмурое утро. Лес стоит весь чёрный, грузный... Степан в ботинке тянется на цыпочки и дёргает меня за ногу... На берегу Дарья Ивановна с девочкой развешивают сеть, и на отмели в большом мешке что-то трепыхается бойко и густо.

— Вставай, вставай, Владимир, — весело говорит Дарья Ивановна. — Ты вот спал на сеже, а бог на твоё счастье вишь чего послал...

Степан вялой походкой идёт к дому, неся на плече рыбу... Он великодушен и не выказывает торжества... Марьюшка бежит сзади, поддерживая конец мешка...

Только дождя ночью всё-таки не было...

БЕЗ ЯЗЫКА

(Рассказ)

I

На моей родине, в Волынской губернии, в той её части, где холмистые отроги Карпатских гор переходят постепенно в болотистые равнины Полесья, есть небольшое местечко, которое я назову Хлебно. С северо-запада оно прикрыто небольшой возвышенностью. На юго-восток от него раскинулась обширная равнина, вся покрытая нивами, на горизонте переходящими в синие полосы ещё уцелевших лесов. Там и сям, особенно под лучами заходящего солнца, сверкают широкие озёра, между которыми змеятся узенькие, пересыхающие на лето речушки.

Сторона спокойная, тихая, немного даже сонная. Местечко похоже более на село, чем на город, но когда-то оно знало если не лучшие, то во всяком случае менее дремотные дни. На возвышенности сохранились еще следы земляных окопов, на которых теперь колышется трава, и пастух старается передать ее шопог на своей нехитрой дудке, пока общественное стадо мирно пасётся в тени полузасыпанных рвов...

Невдалеке от этого местечка, над извилистой речушкой стоял, а может, и теперь ещё стоит, небольшой посёлок. Речка от лозы, обильно растущей на её берегах, получила название Лозовой; от речки посёлок назван Лозищами, а уже от посёлка жители все сплошь носят фамилии Лозинских. А чтобы точнее различить друг друга, то Лозинские к общей фамилии прибавляли прозвища: были Лозинские птицы и звери, одного звали Мазницей, другого Колесом, третьего даже Голенищем...

Трудно сказать, когда этот посёлок засел под самым боком у города. Было это ещё в те времена, когда на валах виднелись пушки, а пушкари у них постоянно сменялись: то стояли с фитилями поляки, в своих пёстрых кунтушах, а козаки и «голота» подымали кругом пыль, облекая город... то, наоборот, из пушек палили козаки, а польские отряды кидались на окопы. Говорили, будто лозинские были когда-то «реестровыми» козаками и получили разные привилегии от польских королей. Ходили даже слухи, будто они были когда-то и за что-то пожалованы дворянством.

Все это, однако, давно забылось. В шестидесятых годах умер столетний старик Лозинский-Шуляк. В последние

годы он уже ни с кем не разговаривал, а только громко молился или читал старую славянскую библию. Но люди ещё помнили, как он рассказывал о прежних годах, о Запорожьи, о гайдамаках, о том, как и он уходил на Днепр и потом с ватажками нападал на Хлебно и на Клевань, и как осаждённые в горящей избе гайдамаки стреляли из окон, пока от жара не лопались у них глаза и не взрывались сами собой пороховницы. И старик сверкал дикими потухающими глазами и говорил: «Гей-гей! Было когда-то наше время... Была у нас свобода!..» А лозищане — уже третье или четвертое поколение, — слушая эти странные рассказы, крестились и говорили: «А то ж не дай господи боже!»

Сами они давно уже запахали в землю все привилегии и жили под самым местечком ни мужиками, ни мещанами. Говорили как будто по-малорусски, но на особом волынском наречии, с примесью польских и русских слов, исповедывали когда-то греко-униатскую веру, а потом, после некоторых замешательств, были причислены к православному приходу, а старая церковка была закрыта и постепенно развалилась... Пахали землю, ходили в белых и серых свитах, с синими или красными поясами, штаны носили широкие, шапки бараньи. И хотя, может быть, были беднее своих соседей, но всё же смутная память о каком-то лучшем прошлом держалась под соломенными стрехами лозищанских хат. Ходили лозищане чище крестьян, были почти все грамотны по-церковному, и об них говорили, что они держат себя слишком гордо. Правда, это очень трудно было бы заметить постороннему, потому что при встрече с господами или начальством они так же торопливо сворачивали с дороги, так же низко кланялись и так же иной раз целовали смиренно господские руки. Но всё-таки было *что-то*, и опытные люди *что-то* замечали. О лозищанах говорили, что они *что-то* вспоминают, о *чём-то* воображают и *чём-то* недовольны. Действительно, на обычные вопросы при встречах: «как себе живёте» или «как вам бог помогает» — лозищане, вместо «слава богу», только махали рукой и говорили: «А, какая там жизнь!» или: «Живём, как горох при дороге!» А иные, посмелее, принимались рассказывать иной раз такое, что не всякий соглашался слушать. К тому же у них тянулась долгая тяжба с соседним помещиком из-за чинша¹, которую лозищане сначала проиграли, а по-

¹ Чинш (польск.) — плата за арендуемую у помещика землю (Ред.)

том вышло как-то так, что наследник помещика уступил..? Говорили, что после этого Лозинские стали «ещё гордее», хотя не стали довольнее.

И нигде так радушно не встречали заезжих людей, которые могли порассказать кое-что о широком белом свете.

II

Так же вот жилось в родных Лозищах и некоему Осипу Лозинскому, то есть жилось, правду сказать, неважно. Земли было мало, аренда тяжёлая, хозяйство бедное. Был он уже женат, но детей у него ещё не было, и не раз он думал о том, что, когда будут дети, то им придётся так же плохо, а то и похуже. «Пока человек ещё молод, — говаривал он, — а за спиной ещё не пищит детвора, тут-то и поискать человеку, где это затерялась его доля».

Не первый он был и не последний из тех, кто, попрощавшись с родными и соседями, взяли, как говорится, ноги за пояс и пошли искать долю, работать, биться с лихой нуждой и есть горький хлеб из чужих печей на чужбине. Не мало уходило таких беспокойных людей и из Лозищей, уходило и в одиночку, и парами, а раз даже целым гуртом пошли за хитрым агентом-немцем, пробравшись ночью через границу. Только всё это дело кончалось или ничем, или ещё хуже. Кто возвращался ободранный и голодный, кого немцы гнали на верёвке до границы, а кто пропадал без вести, затерявшись где-то в огромном божьем свете, как маленькая булавка в омете соломы.

Лозинский Осип был, кажется, еще первый, который не пропал и отыскался. Человек, видно, был с головой, не из тех, что пропадают, а из тех, что ещё других выводят на дорогу. Как бы то ни было, — через год или два, а может, и больше, пришло в Лозищи письмо, с большою рыжею маркой, какой до того времени ещё и не видывали в той стороне. Не мало дивились письму, читали его и перечитывали в волости и писарь, и учитель, и священник, и много людей позначительнее, кому было любопытно, а наконец всё-таки вызвали Лозинскую и отдали ей письмо в разорванном конверте, на котором совершенно ясно было написано её имя: Катерине Лозинской, жене Лозинского Иосифа Оглобли, в Лозищах.

Письмо было от её мужа, из Америки, из губернии Миннесота, а какого уезда и села, теперь сказать очень трудно, потому что... Впрочем, это будет видно дальше.

В письме было написано, что Лозинский, слава богу, жив и здоров, работает на «фарме» и, если бог поможет ему так же, как помогал до сих пор, то надеется скоро и сам стать хозяином. А впрочем, и работником там ему лучше, чем иному хозяину в Лозицах. Свобода в этой стороне большая. Земли довольно, коровы дают молока по ведру на удой, а лошади — чистые быки. Человека с головой и руками уважают и ценят, и вот даже его, Лозинского Осипа, спрашивали недавно, кого он желает выбрать в главные президенты над всею страной. И он, Лозинский, подавал свой голос не хуже людей, и хоть, правду сказать, сделалось не так, как они хотели с своим хозяином, а всё-таки ему понравилось и то, что человека, как бы то ни было, спросили. Одним словом, свобода и всё остальное очень хорошо. Только Лозинскому очень скучно без жены, и потому он старался работать как только можно, и первые деньги отдал за тикет, который и посылает ей в этом письме. А что такое тикет, так это вот эта самая синяя бумажка, которую надо беречь, как зеницу ока. На ней нарисован паровоз с вагонами и пароход. Это значит, что по этому билету Лозинскую повезут теперь даром и по земле, и по воде, — стоит ей только доехать до немецкого города Гамбурга. А на другие расходы пусть продаст избу, корову и имущество.

Пока Лозинская читала письмо, люди глядели на неё и говорили между собой, что вот и в какой пустой бумажке какая может быть великая сила, что человека повезут на край света и нигде уже не спросят плату. Ну, разумеется, все понимали при этом, что такая бумажка должна была стоить Осипу Лозинскому не мало денег. А это, конечно, значит, что Лозинский ушёл в свет не напрасно, и что в свете можно-таки разыскать свою долю...

И всякий подумал про себя: а хорошо бы и мне... Писарь (тоже лозищанин родом), и тот не сразу отдал Лозинской письмо и билет, а держал у себя целую неделю и думал: баба глупая, а с такой бумагой и кто-нибудь поумнее мог бы побывать в Америке и поискать там своего счастья... Но на билете было совершенно ясно, хоть и не по-нашему, написано: *missis Katharina Joseph Losinsky-Oglobla*. Иосиф Лозинский и Оглобля, — это бы, конечно, ещё ничего, но Катерина это уже было ясно, что женщина, да и *missis* тоже, пожалуй, обозначает бабу. Одним словом, хотя и в последнюю минуту писарь всё ещё как-то вздыхал и неприятно косился, вынимая из стола билет, который у него

был припрятан особо, но всё-таки отдал. Лозинская взяла его, села на лавку и горько заплакала.

Разумеется, она была рада письму, да ведь и от радости тоже плачут. Притом всё-таки приходилось покинуть и родную деревню, и родных, и соседей. Затем, нужно сказать, что Лозинская была баба молодая и, как говорится, гладкая. Без мужа мало ли беды, — не видела проходу хотя бы и от этого самого писаря, а на духу приходилось признаваться, что и «враг» не оставлял её в покое. Нет-нет, да и зашепчет кто-то на ухо, что Осип Лозинский далеко, что ещё никто из таких далёких стран в Лозища не возвращался, что, может, вороны растаскали уже и мужнины косточки в далёкой пустыне, а она тут тратит напрасно молодые лета — ни девкой, ни вдовой, ни женщиной женой. Правда, что Лозинская была женщина разумная, и соблазнить её было не легко, но что у неё было тяжело на душе, это сказалось при получении письма: сразу подкапали под сердце и настоящая радость, и прежнее горе, и все грешные молодые мысли, и все бессонные ночи, с горячими думами. Одним словом, упала Лозинская в обморок, и пришлось тут её родному брату Матвею Лозинскому, по прозванию Дышло, нести её на руках в её хату.

И пошёл по деревне говор. Осип Лозинский разбогател в Америке и стал таким важным человеком, что с ним уже советуются, кого назначить в президенты... Стали молодые люди почасту гостить в корчме, пьют пиво и мёд, курят трубки, засиживаются за полночь, шумят, спорят и хвастают. Кто бы послушал эти толки, то подумал бы, что не останется в Лозищах ни одного молодого человека к филипповкам... Если уже Осипа спрашивали, кого он хочет в президенты, то что там наделают другие, получше Осипа!.. Потому что там — свобода!

Свобода! Это слово частенько-таки повторялось в шинке еврея Шлёмы, спокойно слушавшего за своей стойкой. Правду сказать, не всякий из лозищан понимал хорошенько, что оно значит. Но оно как-то хорошо обращалось на языке, и звучало в нём что-то такое, от чего человек будто прибавлялся в росте и что-то будто вспоминалсь неясное, но приятное... Что-то такое, о чём как будто бы знали когда-то в той стороне старые люди, а дети иной раз прикидываются, что и они тоже знают...

Ну, да ведь мало ли кто о чём говорит! Поговорили, пошумели и бросили. И, может, уже забыли и тянут лямку, как вол в борозде, а может, говорят и до сих пор, всё на том же месте. А всё-таки отыскались тут два человека из

таких, что не любят много говорить, пока не сделают... Подумали, потолковали на стороне друг с другом и принялись продавать хаты и землю. Продавать-то было, пожалуй, немного, и, когда всё это дело покончили, тогда и объявили: едем и мы с Осиповой Лозиною, чтобы ей одной не пропасть в дороге.

Один приходился ей близким человеком: это был её брат, Матвей Дышло, родной правнук Лозинского-Шуляка, бывшего гайдамака, — человека огромного роста, в плечах сажень, руки, как грабли, голова белокурая, курчавая, величиною с добрый котёл, — настоящий медведь из пуши. Говорили, что он наружностью походил на деда. Только глаза и сердце, — как у ребёнка. Женат он ещё не был. изба у него была плохая, а земли столько, что если лечь такому огромному человеку поперёк полосы, то ноги уже окажутся на чужой земле. Говорил мало, смеялся редко. У него была старая дедовская библия, которую он любил читать, и часто думал что-то про себя стыдливо и печально. Никогда его в Лозищах умным не считали, и парни нередко издевались над ним, может быть, потому, что он, несмотря на свою необычайную силу, драться не любил.

Был у него задушевный приятель, Иван Лозинский Дыма, человек уже совсем другого рода: небольшого роста, несильный, но весёлый, разговорчивый и острый. Дыма был сухощав, говорлив, подвижен, волосы у него торчали щетиной, глаза бегали и блестели, язык имел быстрый, находчивый, усы носил длинные, по-козачьи, — книзу. Никто его дураком не считал, и он никому не давал спуска. Но если кого заденет своим колючим словом, то уже, бывало, всё старается держаться поближе к Матвею, потому что на руку был не силен и в драке ни с кем устоять не мог.

Когда узнали в Лозищах, что и эти двое собрались в Америку, то как-то всем это стало неприятно.

— Да где же тебе, Матвей, — говорили приятели, — в такую даль забираться? Ты глуп, а Иван слаб. Да вас там в Америке гуси затопчут.

Но Матвей отвечал:

— Будет, что бог даст. А я от сестры да от Дымы не отстану.

Так и поехали втроем в дальнюю дорогу... Не стоит описывать, как они переехали через границу и проехали через немецкую землю; всё это не так уж трудно. К тому же в Пруссии не мало встречалось и своих людей, которые могли указать, как и что надо делать дорогой. Довольно будет сказать, что приехали они в Гамбург и, взявши свои

пожитки, отправились, не долго думая, к реке, на пристань, чтобы там узнать, когда следует ехать дальше.

А Гамбург, немецкий город, стоит на большой реке, не очень далеко от моря, и оттуда ходят корабли во все стороны. Вот видят наши лозищане в одном месте, на берегу, народу видимо-невидимо, бегут со всех сторон, торопятся и толкаются так, как будто человек — какое-нибудь бревно на проезжей дороге. А с берега, от пристани два пароходика всё возят народ на корабль, потому что корабли, которые ходят по океану, стоят на середине поодаль, на самом глубоком месте. Видят лозищане, что один корабль дымится, а к нему то и дело пристают пароходы. Выкинут в него народ, сундуки, узлы и чемоданы — и тотчас же опять к пристани, и опять нагружаются, и везут снова.

Вот Иван Дыма, рассмотревши всё хорошенько, догадался первый.

— А знаете, — говорит, — что я вам скажу: это, должно быть, корабль в Америку, потому что очень велик. Вот мы и попали как раз. Давай, Матвей, пробираться вперёд.

Поставили они женщину с билетом впереди и пошли проталкивать её между народом. Дошли до самого края пристани, а там уж, видно, последнюю партию принимают. Боже мой, что только творилось на этой пристани: и плачут, и кричат, и смеются, и обнимаются, и ругаются, и машут платками. И редкое лицо не взволновано, и на редких глазах не сверкают прощальные слёзы... И всё кругом, — чужой язык звучит, незнакомая речь хлещет в уши, непонятная и дикая, как волна, что брызжет пеной под ногами. Закружились у наших лозищан головы, забились сердца, глаза так и впились вперёд, чтобы как-нибудь не отстать от других, чтобы как-нибудь их не оставили в этой старой Европе, где они родились и прожили полжизни...

Матвею Лозинскому не трудно было пробить всем дорогу, и через две минуты Лозинская стояла уже со своим сундуком у самого мостика и в руках держала билет. А пароходик уже свистнул два раза жалобно и тонко, и чёрный дым пыхнул из его трубы в сырой воздух — видно, что сейчас уходит хочет, а пока лозищане оглядывались, — раздался и третий свисток, и что-то заклохотало под ногами так сильно, что наши даже вздрогнули и невольно подались назад. А в это время какой-то огромный немец, с выпученными глазами и весь в поту, суетившийся всех больше на пристани, увидел Лозинскую, выхватил у неё билет, посмотрел, сунул ей в руку, и не успели лозищане оглянуться, как уже и женщина, и её небольшой

узел очутились на парходике. А в то время два других матроса сразу двинули мостик, сшибли с ног Дыму, отодвинули Матвея и выволокли мостки на пристань. Кинулись наши лозищане к высокому немцу.

— А побойся ты бога, человеце! — закричал ему Дыма. — Да это же наша родная сестра, мы хотим ехать вместе.

Дыма, конечно, схитрил, называя себя родным братом Лозинской, да какая уж там к чорту хитрость, когда немец ни слова не понимает. А тут парходик отваливает, а с парохода Катерина так разливается, что даже изо всех немецких голосов её голос слышен. Завернули лозищане полы, вытащили, что было денег, положили на руки, и пошёл Матвей опять локтями работать. Стали опять впереди, откуда ещё можно было вскочить на парход, и показывают немцу деньги, чтобы он не думал, что они намерены втроем ехать по одному бабьему билету. Дыма так даже отобрал небольшую монетку и тихонько сунул её в руку немцу. Сунул и сам же зажал ему руку, чтобы монета не вывалилась, и показывает ему на парходик и на женщину, которая в это время уже начала терять голос от испуга и плача...

Ничего не вышло! Немец, положим, монету не бросил и даже сказал что-то довольно приветливо, но, когда наши друзья отступили на шаг, чтобы получше разбежаться и вскочить на парходик, немец мигнул двум матросам, а те, видно, были люди привычные: сразу так принялись за обоих лозищан, что нечего было думать о скачке.

— Матвей, Матвей, — закричал было Дыма, — а ну-ка, попробуй с ними по-своему. Как раз теперь это и нужно! — Но в это время оба отлетели, и Дыма упал, задравши ноги кверху.

Когда он поднялся, парходик уже скользил, поворачиваясь, вдоль пристани. Показались кожухи, заворочались колеса, обдавая пристань мутными брызгами, хвост дыма задел по лицам густо столпившуюся публику, потом мелькнуло заплаканное лицо испуганной Лозинской, и ещё через минуту между пристанью и парходом залегла бурливая и мутная полоса воды в две-три сажени. Колёса ударили дружнее, и полоса растянулась в десять — двадцать сажен, — а парходик стал уменьшаться, убегая среди мглистого воздуха, под мутным небом, по мутной реке...

Лозищане глядели, разинувши рты, как он пристал к одному кораблю, как что-то протянулось с него на ко-

рабль, точно тощая жёрдочка, по которой, как муразы, поползли люди и вещи. А там и самый корабль дохнул чёрным дымом, загудел глубоким и гулким голосом, как огромный бугай в стаде коров, — и тихо двинулся по реке, между мелкими судами, стоявшими по сторонам или быстро уступавшими дорогу.

Лозищане чуть не заплакали, провожая глазами эту громаду, увезиую у них из-под носа бедную женщину в далёкую Америку.

Народ стал расходиться, а высокий немец снял свою круглую шляпу, вытер платком потное лицо, подошёл к лозищанам и ухмыльнулся, протягивая Матвею Дышло свою лапу. Человек, очевидно, был не из злопамятных; как не стало на пристани толкотни и давки, он оставил свои манеры и, видно, захотел поблагодарить лозищан за подарок.

— Вот видишь, — говорит ему Дыма. — Теперь вот кланяешься, как добрый, а сам подумай, что ты с нами наделал; родная сестра уехала одна. Поди ты к чорту! — Он плюнул и сердито отвернулся от немца.

А в это время корабль уже выбрался далеко, подымил ещё, всё меньше, всё дальше, а там не то что Лозинскую, и его уже трудно стало различать меж другими судами, да ещё в тумане. Зашекотало что-то у обоих в горле.

— Собака ты, собака! — говорит немцу Матвей Дышло.

— Да! говори ты ему, когда он не понимает, — с досадой перебил Дыма. — Вот если бы ты его в своё время двинул в ухо, как я тебе говорил, то, может, так или иначе, мы бы теперь были на пароходе. А уж оттуда всё равно в воду бы не бросили! Тем более у нас сестра с билетом!

— Кто знает, — ответил Матвей, почёсывая в затылке. — Правду тебе сказать, — хоть оно двинуть человека в ухо и недолго, а только не видал я в своей жизни, чтобы от этого выходило что-нибудь хорошее. Что-нибудь и мы тут не так сделали, верь моему слову. Твоё было дело — догадаться, потому что ты считаешься умным человеком.

Как это бывает часто, приятели старались свалить вину друг на друга. Дыма говорит: надо было помочь кулаком, Матвей винит голову Дымы. А немец стоит и дружелюбно кивает обоим...

Потом немец вынул монету, которую ему Дыма сунул в руку, и показывает лозищанам. Видно, что у этого человека всё-таки была совесть; не захотел напрасно денег

взять, щёлкнул себя пальцем по галстуку и говорит: «Шнапс», а сам рукой на кабачок показал. «Шнапс» — это на всех языках понятно, что значит. Дыма посмотрел на Матвея, Матвей посмотрел на Дыму и говорит:

— А что ж теперь делать. Конечно, надо идти. Пешком по воде не побежишь, а от этого немецкого чорта всё-таки, может, хоть что-нибудь доберёмся...

Пошли. А в кабаке стоит старый человек, с седыми, как щетина, волосами, да и лицо тоже всё в щетине. Видно сразу: как ни бреется, а борода всё-таки из-под кожи лезет, как отава после хорошего дождя. Как увидели наши приятели такого шероховатого человека посреди гладких и аккуратных немцев, и показалось им в нём что-то знакомое. Дыма говорит тихонько: — Это, должно быть, минский или могилёвский, а то из Пуши.

Так и вышло. Поговоривши с немцем, кабатчик принёс четыре кружки с пивом (четвёртую для себя) и стал разговаривать. Обругал ложищан дураками и объяснил, что они сами виноваты. — «Надо было зайти за угол, где над дверью написано: «Billetekasse». Billeten — это и дураку понятно, что значит билет, а Kasse так касса и есть. А вы лезете, как стадо в городьбу, не умея отворить калитки».

Матвей опустил голову и подумал про себя: «правду говорит: без языка человек, как слепой или малый ребёнок». А Дыма хоть, может быть, думал то же самое, но, так как был человек с амбицией, то стукнул кружкой по столу и говорит:

— Долго ли ты будешь ругаться, старый! Лучше принеси ещё по кружке и скажи, как нам теперь быть.

Всем это понравилось, — увидели, что человек с самолюбием и находчивый, Немец потрепал Дыму по плечу, а хозяин принёс опять четыре кружки на подносе.

— Ну, как же нам её догонять? — спрашивает Дыма.

— Беги за ней, может, догонишь, — ответил кабатчик. — Ты думаешь, на море, как в поле, на телеге. Теперь, — говорит, — вам надо ждать ещё неделю, когда пойдёт другой эмигрантский корабль, а если хотите, то заплатите подороже: скоро идёт большой пароход, и в третьем классе отправляется не мало народу из Швеции и Дании наниматься в Америке в прислуги. Потому что, говорят, американцы народ свободный и гордый, и прислуги из них найти трудно. Молодые датчанки и шведки в год-два зарабатывают там хорошее приданое.

— Пожалуй, дорого, — сказал Дыма, но Матвей возразил: — Побойся ты бога! Ведь женщину нельзя заставлять

ждать целую неделю. Ведь она там изойдёт слезами. Матвею представлялось, что в Америке, на пристани, вот так же, как в селе у перовоза, сестра будет сидеть на берегу с узелочком, смотреть на море и плакать...

Переночевали у земляка, наутро он сдал лозищан молодому шведу, тот свёл их на пристань, купил билеты, посадил на пароход, и в полдень поплыли наши Лозинские — Дыма и Дышло — догонять Лозинскую Оглоблю...

III

Проходит день, проходит другой. Солнце садится в море с одной стороны, наутро подымается из моря с другой. Плещет волна, ходят туманные облака, легают за кораблём чайки, садятся на мачты, потом как будто отрываются от них ветром и, колыхаясь с боку на бок, как клочки белой бумаги, отстают, отстают и исчезают назад, улетая обратно, к европейской земле, которую наши лозищане покинули навеки. Матвей Лозинский провожает их глазами и вздыхает. Вот, думает он: и чайка боится лететь дальше, а мы полетели. И рисуется перед ним сосновый лес, под лесом речка с бледною лозой, над речкой — бедные соломенные хаты. И кажется, — вернулся бы назад к прежней беде, родной и знакомой.

А море глухо бьёт в борты корабля, и волны, как горы, подымаются и падают с рокотом, с плеском, с глухим стоном, как будто кто грозит и жалуется вместе. Корабль клонит-клонит, вот, кажется, совсем перевернётся, а там, опять начнёт подниматься с кряхтением и скрипом. Гнут-ся и скрипят мачты, сухо свистит ветер в снастях, а корабль всё идёт и идёт; над кораблём светит солнце, над кораблём стоит тёмная ночь, над кораблём задумчиво висят тучи или гроза бушует и ревет на океане, и молнии падают в колыхающуюся воду. А корабль всё идёт и идёт.

Матвей Дышло говорил всегда мало, но часто думал про себя такое, что никак не мог бы рассказать словами. И никогда ещё в его голове не было столько мыслей, смутных и неясных; как эти облака и эти волны, — и таких же глубоких и непонятных, как это море. Мысли эти рождались и падали в его голове, и он не мог бы, да и не старался их вспомнить, но чувствовал ясно, что от этих мыслей что-то колышется и волнуется в самой глубине его души, и он не мог бы сказать, что это такое...

К вечеру океан подёргивался темнотой, небо угасало, а верхушки волны загорались каким-то особенным светом...

Матвей Дышло заметил прежде всего, что волна, отбегавшая от острого корабельного носа, что-то слишком бела в темноте, павшей давию на небо и на море. Он нагнулся книзу, поглядел в глубину и замер...

Вода около корабля светилась, в воде тихо ходили бледные огни, вспыхивая, угасая, выливая на поверхность, уходя опять в таинственную и страшную глубь... И казалось Матвею, что всё это живое: и ход корабля, и жалобный гул, и грохот волны, и движение океана, и таинственное молчание неба. Он глядел в глубину, и ему казалось, что на него тоже кто-то глядит оттуда. Кто-то неизвестный, кто-то удивлённый, кто-то испуганный и недовольный... От века веков море идёт своим ходом, от века встают и падают волны, от века поёт море свою собственную песню, непонятную человеческому уху, и от века в глубине идёт своя собственная жизнь, которой мы не знаем. И вот теперь в эту вековечную гармонию, в это живое движение вмещался дерзкий и правильный ход корабля... И песня моря дрогнула и изменилась, и волны разрезаны и сбиты, и кто-то в глубине со страхом прислушивается к этому ходу непонятного чудовища из другого непонятного мира. Конечно, Лозинский не мог бы рассказать всё это такими словами, но он чувствовал испуг перед тайной морской глубины. И казалось Лозинскому, что вот он смотрит со страхом сверху, а на него с таким же ужасом кто-то смотрит снизу. Смотрит и сердится, и посылает своих посланцев с огнями, которые выплывают наверх и ходят взад и вперёд, и узнают что-то, и о чём-то тихо советуются друг с другом, и всё-таки печально уходят в безвестную пучину, — ничего не понимая... А корабль всё бежит неудержимым бегом к своей собственной цели....

И много в эти часы думал Матвей Лозинский, — жаль только, что все эти мысли подымались и падали, как волны, не оставляя заметного следа, не застывая в готовом слове, вспыхивали и гасли, как морские огни в глубине... А впрочем, он говорил после и сам, что никогда не забудет моря. «Человек много думает на море разного, — сказал он мне, — разное думает о себе и о боге, о земле и о небе... Разное думается человеку на океане — о жизни, мой господин, и о смерти»... И по глазам его было видно, что какой-то огонёк хочет выбиться на поверхность из безвестной глубины этой простой и тёмной души... Значит, что-то всё-таки осталось в этой душе от моря.

Да, наверное, оставалось.. Душа у него колыхалась, как море, и в сердце ходили чувства, как волны. И порой сле- за подступала к глазам, и порой — смешно сказать — ему, здоровенному и тяжёлому человеку, хотелось кинуться и лететь, лететь, как эти чайки, что опять стали уже появ- ляться от американской стороны.. Лететь куда-то вдаль, где угасает заря, где живут добрые и счастливые люди..

После Лозинский сам признавался мне, что у него в то время были такие мысли, которые никогда не заходили в голову ни в Лозищах, когда он шёл за сохой, ни на яр- марке в местечке, ни даже в церкви. Там все были обык- новенные мысли, какие и должны быть в своём месте и в своё время. А в океане мысли все особенные и необыч- ные. Они подымались откуда-то, как эти морские огни, и он старался присмотреться к ним поближе, как к этим огням.. Но это не удавалось. Пока он не следил за ними, они плыли одна за другой, вспыхивали и гасли, лаская душу и сердце. А как только он начинал их ловить и хо- тел их рассказать себе словами, — они убегали, а голова начинала болеть и кружиться.

Разумеется, всё оттого, что было много досуга, а перед глазами ходил океан и колыхался, и гремел, и сверкал, и угасал, и светился, и уходил куда-то в бесконечность..

На третий день пути, выйдя на палубу, он увидел впе- реди корабль. Сначала ему показалось, что это маленький игрушечный кораблик запутался между снастями того парохода, на котором они сами плыли. Но это оттого, что прозрачный и ясный воздѹх приближал всё, а кругом, кроме воды, ничего не было. Парусный корабль качался и рос, и когда поровнялся с ними, то Лозинский увидел на нём весёлых людей, которые смеялись и кланялись, и плыли себе дальше, как будто им не о чем думать и за- ботиться, и жизнь их будто всегда идёт так же весело, как их корабль при попутном ветре.. А в другой раз в сильную качку, когда на носу их парохода стояла целая туча брызгов, он опять смотрел, как такой же кораблик, весь наклонившись набок, летел, как птица. Волны вста- вали и падали, как горы, и порой с замиранием сердца Лозинский и другие пассажиры смотрели и не видели больше смелого судёнышка. Но оно опять взлетало на вершину, и опять его парус касался пены, будто крыло чайки, — и он колыхался и шёл, шёл и колыхался.. А Ло- зинский думал про себя, что это, должно быть, уже аме- риканцы. Смелые, видно, люди! И вот, он едет к ним, простой и робкий лозищанин.. Как-то они его встретят,

и зачем он им нужен?.. И какой-то он будет сам через десяток лет?..

И ему казалось, что и теперь он уже другой, не тот, что ходил за сохой в Лозищах или в праздник глазел на базар в соседнем городе. Уже одно то, что он видел это колыхающееся без конца море, эти корабли, этих странных чужих людей... То, что его глаз смотрел в тайну морской глубины, и что он чувствовал её в душе и думал о ней и об этих чужих людях, и о себе, когда он приедет к ним... — всё это делало его как будто другим человеком. И он вглядывался вперёд, в яркую синеву неба или в пелену морских туманов, как будто искал там своё место и своё будущее...

В одну из таких минут, когда неведомые до тех пор мысли и чувства всплывали из глубины его тёмной души, как искорки из глубины тёмного моря, — он разыскал на палубе Дыму и спросил:

— Послушай, Дыма. Как ты думаешь всё-таки: что это у них там за свобода?

Но Дыма ответил сердито:

— Убирайся ты... Поищи себе трясцу (лихорадку) или паралича, чтобы тебя разбило вдребезги ясным громом.

Это оттого, что бедному Дыме в эту минуту был не мил белый свет. Потому что, когда корабль раскачивало направо и налево, то от кормы к носу, то опять от носа к корме, — тогда небо, казалось, вот-вот опрокинется на море, а потом опять море всё разом лезло высоко к небу. От этого у бедного Дымы страшно кружилась голова, что-то тосковало под ложечкой, и он всё подходил к борту корабля и висел книзу головой, тсчно тряпка, повешенная на плетне для просушки. Бедного Дыму сильно тошнило, и он кричал, что это проклятое море вывернет его наизнанку, и заклинал христом-богом, чтобы корабль пристал к какому-нибудь острову и чтоб его, Дыму, высадили хоть к дикарям, если не хотят загубить христианскую душу. Сначала Матвей очень дивился тому, что у Дымы оказался такой непостоянный характер, и даже пробовал всячески стыдить его. Но потом увидел, что это не с одним Дымой; многие почтенные люди и даже шведские и датские барышни, которые плыли в Америку наниматься в горничные и кухарки, так же висели на бортах, и с ними было всё то же, что и с Дымой. Тогда Матвей понял, что это на океане дело обыкновенное. Самому ему становилось иногда неприятно и только: Дыма — человек нервный — проклинал и себя, и Осипа, и Катерину, и

корабль, и того, кто его выдумал, и всех американцев, даже ещё не рождённых на свет... Порой, кажется, он готов был даже кощунствовать, но всё-таки сдерживался... Потому что на море оно как-то не так легко, как иной раз на земле...

А всё-таки мысль о свободе сидела в голове у Матвея. И ещё на берегу, в Европе, когда они разговорились с могилёвцем-кабатчиком, тогда сам Дыма спросил у него первый:

— А что, скажите на милость... Какая там у них, люди говорят, свобода?

— А! рвут друг другу горло, — вот и свобода... — сердито ответил тот. — А впрочем, — добавил он, допивая из кружки своё пиво, — и у нас это делают, как не надо лучше. Поэтому я, признаться, не могу понять, зачем это иным простакам хочется, чтобы их ободрали непременно в Америке, а не дома...

— Это вы, кажется, кинули камень в наш огород, — сказал тогда догадливый Дыма.

— Мне до чужих огородов нет дела, — ответил могилёвец уклончиво, — я говорю только, что на этом свете кто перервал друг другу горло, тот и прав... А что будет на том свете, это когда-нибудь увидите и сами... Не думаю, однако, чтобы было много лучше.

Кабатчик, видимо, видал в жизни много неприятностей. Ответ его не понравился лозищанам и даже немного их обидел. Что люди всюду рвут друг друга, — это, конечно, может быть, и правда, но свободой, — думали они, — наверное, называется что-нибудь другое. Дыма счёл нужным ответить на обидный намёк.

— А это, я вам скажу, всюду так: как ты кому, так и тебе люди: мягкому и на доске мягко, а костистому жёстко и на перине. А такого шероховатого человека, как вы, я ещё, признаться, и не видывал...

Таким образом, разговор тогда кончился немного кисло...

Теперь с лозищанами на корабле плыл ещё чех, человек уже старый и невесёлый, но приятный. Его выписал сын, который хорошо устроился в Америке. Старик ехал, но, по его словам, лучше было бы, если бы сын хорошо устроился на родине. Тогда бы и ехать незачем. Чешская речь всё-таки — славянская. Поляку могло показаться, что это он говорит по-русски, а русскому — что по-польски. Наши же лозищане говорили на волынском наречии: не по-русски и не по-польски, да не совсем и по-украински;

а всех трёх языков намешано понемногу. Поэтому им было легче. Дыма к тому же, — человек, битый не в темя, — разговорился скоро. Где нехватало языка, он помогал себе и руками, и головой, и ногами. Где щёлкнет, где причмокнет, где хлопнет рукой, одним словом, как-то скоро стали они с чехом приятели. А чех говорит по-немецки, значит, можно было кое-что узнать через него и от немцев. А уже через немцев — и от англичан...

Вот, когда ветер стихал, и погода становилась яснее, Дыму и других отпускала болезнь, и становилось на пароходе веселее. Тогда пассажиры третьего класса выползли на носовую палубу, долговязый венгерец начинал играть на дудке, молодой немец на скрипке, а молодёжь брала шведских барышень за талью и кружилась, обходя осторожно канаты и цепи. И над океаном неслись далеко звуки музыки, а волна подпевала и шаловливо кидала кверху белую пену и брызги, и дельфины скакали, обгоняя корабль. А на душе становилось и весело, и грустно.

В это время Дыма с чехом усаживались где-нибудь в уголке, брали к себе ещё англичанина или знающего немца, и Дыма учился разговаривать. Англичанин говорил немцу, немец чеху, а уж чех передавал Дыме. Прежде всего, разумеется, он выучился американскому счёту и затверживал его, загибая пальцы. Потом узнал, как называть хлеб и воду, потом плуг и лошадь, дом, колодезь, церковь. И всё списывал на бумажке и твердил про себя. Он старался обучить и Матвея, но тому давалось трудно. Только и выучил по-английски «три», — потому что у них три называется по-нашему.

А потом у старого чеха Дыма тоже спросил, что такое свобода. Это, говорит, сделана у них на острове такая медная фигура. Стоит выше самых высоких домов и церквей, подняла руку кверху. А в руке — факел, такой огромный, что светит далеко в море. Внутри лестница, — и можно войти в голову, и в руку, и даже на верхушку факела. Вечером зажигают огонь во лбу и около факела, и тогда выходит сияние, точно от месяца и даже много ярче. И называется эта медная женщина — свобода.

Дыма передал этот разговор Матвею, но обоим казалось, что это опять не то: один говорит: «рвут горло», другой говорит: «фигура, которая светится...» А Матвею почему-то вспоминался всё старый дед Лозинский-Шуляк, который подарил ему библию. Старик умер, когда Матвей ещё был ребёнком; но ему вспоминались какие-то смутные рассказы деда о старине, о войнах, о Запорожьи,

где-то в степях на Днепре... И теперь, как память о странном сне, рассказанном старым дедом, рисовалась эта старина и какой-то гростор, и какая-то дикая воля... «А если встретишь, бывало, татарина или хоть кого другого... Ну, тут уже кому бог поможет, — вспоминались слова деда... Что же, — думал он, — тоже, выходит, «рвали горло»... Потом он вспоминал, что была над народом панская «неволя». Потом пришла «воля»... Но свободы всё как будто не было. У него кружилась голова, мысли туманились, а в душе оставался всё-таки нерешённый вопрос.

IV

На седьмой день нал на море страшный туман. Такой туман, что нос парохода упирался будто в белую стену, и едва было видно, как колышется во мгле притихшее море. Раза два-три, прямо у самого парохода, проплыли какие-то водоросли, и Лозинский подумал, что это уже близко Америка. Но Дыма узнал через своего чеха, что это как раз середина океана. Только не очень далеко на полдень — мелкое место. И здесь тёплая струя ударяется в мель и идёт на полночь, а тут же встречается и холодная струя с полночных морей. И оттого над морем в этом месте всё гнездится туман. Пароход шёл тихо, и необыкновенно громкий свисток ревел гулко и жалобно, а стена тумана отдавала этот крик, как эхо в густом лесу. И становилось всем жутко и страшно.

И в это время на корабле умер человек. Говорили, что он уже сел больной: на третий день ему сделалось совсем плохо, и его поместили в отдельную каюту. Туда к нему ходила дочь, молодая девушка, которую Матвей видел несколько раз с заплаканными глазами, и каждый раз в его широкой груди поворачивалось сердце. А наконец, в то время, когда корабль тихо шёл в густом тумане, среди пассажиров пронёсся слух, что этот больной человек умер.

И, действительно, на корабле все почувствовали смерть... Пассажиры притихли, доктор ходил серьёзный и угрюмый, капитан с помощником совещались, и потом, через день, его похоронили в море. Завернули в белый саван, привязали к ногам тяжесть, какой-то человек, в длинном чёрном сюртуке и широком белом воротнике, как казалось Матвею, совсем не похожий на священника, — прочитал молитвы, потом тело положили на доску, доску положили на борт и через несколько секунд, среди

захватывающей тишины, раздался плеск... Вместе с этим кто-то громко крикнул, молодая девушка рванулась к морю, и Матвей услышал ясно родное слово: «Отец, отец!» Между тем, корабль, тихо работавший винтами, уже отодвинулся от этого места, и самые волны на том месте смешались с белым туманом. От человека не осталось и следа... Туман сомкнулся позади плотной стеной, и туман был впереди, а паровой ревун стонал и будто бы надрывался над печальной человеческой судьбой...

Скоро, однако, другие события закрыли собой эту смерть... В этот же день небольшая парусная барка только-только успела вывернуться из-под носа у парохода. Но это ещё ничего. Люди на барке махали шляпами и смеялись на расстоянии каких-нибудь пяти саженей. Они были в клеёнчатых куртках и странных шляпах... Другой раз чуть не вышло ещё хуже. Среди белого дня, в молочной мгле что-то, видно, почудилось капитану. Пароход остановили, потом отошли назад, как будто убегали от кого-то, кто двигался в тумане. Потом стали в ожидании. И вдруг Лозинский увидел вверху, как будто во мгле, встало облако с сверкающими краями, а в воздухе стало холоднее и повеяло острым ветром. Пароход повернулся и тихо, будто украдкой, стал уползать в глубь тумана налево. А направо было не облако, а ледяная гора. Лозинский не верил своим глазам, чтобы можно было видеть, разом такую огромную гору чистого льда. Но это видели все. На пароходе всё притихло, даже винт работал осторожнее и тише. А гора плыла, тихонько покачиваясь, и вдруг исчезла совсем, будто растаяла...

Наши двое лозищан и чех тотчас же сняли шапки и перекрестились. Немцы и англичане не имеют обычая креститься, кроме молитвы. Но и они также верят в бога и также молятся, и, когда пароход пошёл дальше, то молодой господин в чёрном сюртуке с белым воротником на шее (ни за что не сказал бы, что это священник) встал посреди людей, на носу, и громким голосом стал молиться. И люди молились с ним, и пели какие-то канты, и священное пение смешивалось с гулким и жалобным криком корабельного ревуна, опять посылавшего вперёд свои предостережения, а стена тумана опять отвечала, только ещё жалобнее и ещё глуше...

А море тоже всё более стихало и лизало бока корабля, точно ласкалось и просило у людей прощения...

Женщины после этого долго плакали и не могли успокоиться. Особенно жалко было Лозинскому молодую си-

роту, которая сидела в стороне и плакала, как ребёнок, закрывая лицо углом шерстяного платка. Он уже и сам не знал, как это случилось, но только он подошёл к ней, положил ей на плечо свою тяжёлую руку и сказал:

— Будет уже тебе плакать, малютка, бог милостив.

Девушка подняла голубые глаза, посмотрела на Лозинского и ответила:

— А! Как мне не плакать... Еду одна на чужую сторону. На родине умерла мать, на корабле отец, а в Америке где-то есть братья, да где они, — я и не знаю... Подумайте сами, какая моя доля!

Лозинский постоял, посмотрел и не сказал ей ничего. Он не любил говорить на ветер, да и его доля была тоже темна. А только с этих пор, где бы он ни стоял, где бы он ни сидел, что бы ни делал, а всё думал об этой девушке и следил за нею глазами.

И тогда же Лозинский сказал себе самому: «А вот же, если я найду там в широком и неведомом свете свою долю, то это будет также и твоя доля, малютка. Потому что человеку как-то хочется кого-нибудь жалеть и любить, а особенно, когда человек на чужбине».

V

На двенадцатый день народ начал всё набираться на носу, как муравьи на пловучей щепке, когда её прибывает ветром к берегу ручья. Из этого наши лозищане поняли, что, должно быть, недалеко уже американская земля. И, действительно, Матвей, у которого глаза были острые, увидел первый, что над синим морем направо встала будто белая игла. Потом она поднялась выше, и уже ясно было видно, что это белый маяк. По волнам то и дело неслись лодки с косым парусом, белые пароходы, с окнами, точно в домах, маленькие пароходики, с коромыслами наверху, каких никогда ещё не приходилось видеть лозищанам. А там в синеватой мгле стало проступать что-то, что-то заискрилось, что-то забелело, что-то вытягивалось и пестрело. Пошли острова с деревьями, пошла длинная коса с белым песком. На косе что-то гроыхало и стучало, и чёрный дым валил из высокой трубы.

Дыма толкнул Лозинского локтем.

— Видишь? Чех говорил правду.

Матвей посмотрел вперёд. А там, возвышаясь над самыми высокими мачтами самых больших кораблей, стояла огромная фигура женщины, с поднятой рукой. В руке у неё

был факел, который она протягивала навстречу тем, кто подходит по заливу из Европы к великой американской земле.

Пароход шёл тихо, среди других пароходов, сновавших, точно водяные жуки, по заливу. Солнце село, а город всё выплывал и выплывал навстречу, дома вырастали, огоньки зажигались рядами и в беспорядке дрожали в воде, двигались и перекрещивались внизу и стояли высоко в небе. Небо темнело, но на нём ясно ещё рисовалась высоко в воздухе тонкая сетка огромного, невиданного моста.

Исполнинские дома в шесть и семь этажей ютились внизу, под мостом, по берегу; фабричные трубы не могли достать до моста своим дымом. Он повис над водой, с берега на берег, и огромные пароходы пробегали под ним, как ничтожные лодочки, потому что это самый большой мост во всём божьем свете... Это было направо, а налево уже совсем близко высилась фигура женщины,—и во лбу её, ещё споря с последними лучами угасавшей в небе зари, загоралась золотая диадема, и венок огоньков светился в высоко поднятой руке...

А сердце Лозинского трепетало и сжималось от ужаса. Только теперь он понял, что такое эта Америка, на берегу которой он думал встретить Лозинскую. Он ждал, что она будет сидеть тут где-то со своим узелком. «Боже мой, боже мой», — думал Матвей. — Да здесь человек, как иголка в траве, или капля воды, упавшая в море...» Пароход шёл уже часа два в виду земли, в виду построек и пристаней, а город всё развёртывал над заливом новые ряды улиц, домов и огней... И с берега, сквозь шум машины, неслось рокотание и гул. Казалось, кто-то дышит огромный и усталый, то опять кто-то жалуется и сердится, то кто-то ворочается и стонет... и опять только гудит и катится, как ветер в степи, то опять говорит смешанными голосами...

Лозинский отыскал Анну, — молодую девушку, с которой он познакомился. — и сказал:

— Держись, малютка, меня и Дымы. Видишь, что тут делается в этой Америке. Не дай боже!

Девушка схватила его за руку, и не успел сконфуженный Матвей оглянуться, как уж она поцеловала у него руку. Потому что бедняжка, видно, испугалась Америки ещё хуже, чем Лозинский.

Пароход остановился на ночь в заливе, и никого не слушали до следующего утра. Пассажиры долго сидели на палубах, потом большая часть разошлась и заснула. Не спа-

ли только те, кого, как и наших лозищан, пугала неведомая доля в незнакомой стране. Дыма, впрочем, первый заснул себе на лавке. Анна долго сидела рядом с Матвеем, и порой слышался её тихий и робкий голос. Лозинский молчал. Потом и Анна заснула, склонясь усталой головой на свой узел.

И только Матвей просидел всю тёплую ночь, пока свет на лбу статуи не померк и заиграли отблески зари на волнах, оставляемых бороздами возвращающихся с долгой ночной работы пароходов...

На следующее утро пришли на пароход американские таможенные чиновники, давали подписывать какую-то бумагу, а между тем, корабль потихоньку стали подтягивать к пристани. И было как-то даже грустно смотреть, как этот морской великан лежит теперь на воде, без собственного движения, точно мёртвый, а какой-то маленький пароходишко хлопочет около него, как живой муравей около мёртвого жука. То потянет его за хвост, то забежит с носу, и свистит, и шипит, и вертится... А пристань оказалась — огромный сарай, каких много было на берегу. Они стояли рядами, некрасивые, огромные и мрачные. Только на одной толпились американцы, громко визжали, свистели и кричали «ура». Матвей посмотрел туда с остатком надежды увидеть сестру — и махнул рукой. Где уж!..

Наконец пароход подтянули. Какой-то матрос, ловкий, как дьявол, взобрался кверху, под самую крышу сарая, и потом закачался в воздухе вместе с мостками, которые спустились на корабль. И пошёл народ выходить на американскую землю...

Скучно было нашим... Пошли и они, — не оставаться же на корабле вечно. А если сказать правду, то Матвеем приходило в голову, что на корабле было лучше. Плывёшь себе и плывёшь... Небо, облака, да море, да вольный ветер, а впереди, за гранью этого моря, — что бог даст... А тут вот тебе и земля, а что в ней... Всех кто-нибудь встречает, целуют, обнимаются, плачут. Только наших лозищан не встречает никто, и приходится идти самим искать неведомую долю. А где она?.. Куда ступить, куда податься, куда поставить ногу и в какую сторону повернуться, — неизвестно. Стали наши, в белых свитках, в больших сапогах, в высоких бараньих шапках и с большими палками в руках, — с палками, вырезанными из родной лозы, над родною речкою, и стоят, как потерянные, и девушка со своим узелком жмётся меж ними.

— Жид! А ей же богу, пусть меня разобьёт ясным громом, если это не жид, — сказал вдруг первый Дыма, указывая на какого-то господина, одетого в круглую шляпу и в кургузый, потёртый пиджак. Хотя рядом с ним стоял молодой барчук, одетый с иголки и уже вовсе не похожий на жидёнка, — однако, когда господин повернулся, то уже и Матвей убедился с первого взгляда, что это непременно жид, да ещё свой, из-под Могилёва или Житомира, Минска или Смоленска, вот будто сейчас с базара, только переоделся в немецкое платье.

Обрадовались они этому человеку, будто родному. Да и жид, заметив белые свитки и барашковые шапки, тотчас подошёл и поклонился.

— Ну, поздравляю с приездом. Как ваше здоровье, господа? Я сразу вижу, что это приехали земляки.

— А что, — сказал Дыма, с торжествующим видом: — Не говорил я? Вот ведь какой эго народ хороший. Где нужно его, тут он и есть. Здравствуйте, господин еврей, не знаю, как вас назвать.

— А! Звали когда-то Борух, а теперь зовут Борк, мистер Борк, — к вашим услугам, — сказал еврей и как-то гордо погладил бородку.

— А! Чтоб тебя! Ну, слушай же ты, Берко...

— Мистер Борк, — поправил еврей с ещё большею гордостью.

— Ну, пускай так, мистер, так и мистер, чтоб тебя схватило за бока... А где же тут хорошая заезжая станция, чтобы, знаешь, не очень дорого и не очень уж плохо. Потому что, видишь ты... Мы хоть в простых свитках, а не совсем уже мужики... однодворцы... Притом ещё с нами, видишь сам, девушка...

— Ну, — разве я уж сам не могу различить, с кем имею дело, — ответил мистер Борк с большою политикой. — Что вы обо мне думаете?.. Пхе! Мистер Борк дурак, мистер Борк не знает людей... Ну, только и я вам скажу: это ваше большое счастье, что вы попали сразу на мистера Борка. Я ведь не каждый день хожу на пристань, зачем я стал бы каждый день ходить на пристань?.. а у меня вы сразу имеете себе хорошее помещенье, и для барышни найдём комнатку особо, вместе с моею дочкой.

— А, вот видите вы, как оно хорошо, — сказал Дыма и оглянулся, как будто это он сам выдумал этого мистера

Борка. — Ну, веди же нас, когда так, на свою заезжую станцию.

— Может, вам нужно взять ещё ваш багаж?

— Э! Какой там багаж! Правду тебе сказать, так и всё вот тут с нами..

— Гэ, это не очень много! Джон!.. — крикнул он на молодого человека, который-таки оказался его сыном. — Ну, чего ты стоишь, как какой-нибудь болван. Таке ту бж'едж оф мисс (возьми у барышни багаж).

Молодой человек оказался не гордый. Он вежливо приподнял шляпу, схватил из рук Анны узелок, и они пошли с пристани.

Прошли через улицу и вошли в другую, которая оказалась приезжим какой-то пещерой. Дома тёмные, высокие, выходы из них узкие, да ещё в половину домов поверху улицы сделана на столбах настилка, загородившая небо...

— А, господи! Матерь божия! — взвизгнула вдруг в испуге Анна и схватила за руку Матвея.

— Всякое дыхание да хвалит госнода, — сказал про себя Матвей, — а что же это ещё такое?

— Ай-ай, чего вы это испугались, — сказал жид. — Да это только поезд. Ну, ну, идите, что такое за важность... Пускай себе он идёт своей дорогой, а мы пойдём своей. Он нас не тронет, а мы его не тронем. Здесь, я вам скажу, такая сторона, что зевать некогда...

И мистер Борк пошёл дальше. Пошли и наши скрепя сердце, потому что столбы кругом дрожали, улица гудела, вверху лязгало железо о железо, а прямо над головами лозищан, по настилке, на всех парах летел поезд. Они посмотрели с разинутыми ртами, как поезд изогнулся в воздухе змеёй, повернул за угол, чуть не задевая за окна домов, — и, полетел опять по воздуху дальше, то прямо, то извиваясь...

И показалось нашим, привыкшим только к шуму родного бора, да к шопоту тростников над тихую речкой Лозовую, да к скрипу колёс в степи, — что они теперь попали в самое пекло. Дома — шапка свалится, как посмотришь. Взглянешь назад, — корабельные мачты, как горелый лес; поднимаешь глаза к небу, — небо закопчено и ещё закрыто этой настилкой воздушной дороги, от которой в улице вечные сумерки. А впереди человек видит опять, как в воздухе, наперерез, с улицы в улицу летит уже другой поезд, а воздух весь изрезан храпом, стоном, лязганием и свистом машин.

— Госпэди Иисусе, — шептала Анна бледными губами.

Матвей только закусил ус, а Дыма мрачно понурил голову и шагал, согнувшись под своим узлом. А за ним бежали кучи каких-то уличных дьяволят, даже иной раз совсем чёрных, как хорошо вычищенный сапог, и заглядывали им прямо в лица, и подпрыгивали, и смеялись, а один большой негодяй кинул в Дыму огрызок какого-то плода.

— А ну, этак человек, наконец, может потерять всякое терпение, — сказал Дыма, ставя свой узел на землю. — Послушай, Берко...

— Мистер Борк, — поправил еврей.

— А что же, мистер Борк, у вас тут делает полиция?

— А что вам за дело до полиции? — ответил еврей с неудовольствием. — Зачем вам беспокоить полицию такими пустяками? Здесь не такая сторона, чтобы чуть что не так, и сейчас звать полицию...

— Это, верно, называется свобода, — сказал Дыма очень язвительно. — Человеку кинули в лицо огрызок, — это свобода... Ну, когда здесь уже такая свобода, то, послушай, Матвей, дай этому висельнику хорошего пинка, может, тогда они нас оставят в покое.

— Ну, пожалуйста, не надо этого делать, — взмолился Берко, к имени которого теперь всё приходилось прибавлять слово «мистер». — Мы уже скоро дойдём, уже совсем близко. А это они потому, что... как бы вам сказать... Им неприятно видеть таких очень лохматых, таких шорстких, таких небритых людей, как ваши милости. У меня есть тут поблизости цырюльник... Ну, он вас приведёт в порядок за самую дешёвую цену. Самый дешёвый цырюльник в Нью-Йорке.

— А это, я вам скажу, хорошая свобода, — чтоб её взяли черти, — сказал Дыма, сердито взваливая себе мешок на спину.

А в это время в Дыму опять полетела корка банана. Пришлось терпеть и идти дальше. Впрочем, прошли немного, как мистер Борк остановился.

— Ну, а теперь, пожалуйста, пойдём на эту лестницу...

— Да куда же это мы пойдём, хотел бы я знать? — сказал Дыма. И действительно, лестница вела с улицы наверх, на ту самую настилку, что была у них над головами.

— Ну, нам надо сесть в вагон.

— Не пойду, — сказал Дыма решительно. — Бог создал человека для того, чтобы он ходил и ездил по земле. Довольно и того, что человек проехал по этому проклятому морю, которое чуть не вытянуло душу. А тут ещё лети, как какая-нибудь сорока, по воздуху. Веди нас пешком.

— Ай-ай! — сказал мистер Борк нетерпеливо, — что же мне с вами делать? Идите, пожалуйста!

— Не пойду! — решительно сказал Дыма и, обращаясь к Матвею и Анне, сказал:

— И вы тоже не ходите!

Еврей что-то живо заговорил с сыном, который только улыбался, — и потом, повернувшись к Дыме, мистер Борк сказал очень решительно:

— Ну, когда вы такой упрямый человек, что всё хотите по-своему... то идите, куда знаете. Я себе пойду в вагон, а вы как хотите... Джон! Отдай барышню багаж. Каждый человек может идти своей дорогой.

Джон усмехнулся, но не торопился отдавать Анне багаж. Матвей взял Дыму за руку и сказал:

— А! что там! Пойдём уже.

— Пойдём, пожалуйста, — робко сказала и Анна.

— Га! Что делать! В этой стороне, видно, надо ко всему привыкать, — ответил Дыма и, взвалив мешок на плечи, сердито пошёл на лестницу.

На первом повороте за конторкой сидел равнодушный американец, которому еврей дал монету, а тот выдал ему 5 билетов. Эти билеты Борк кинул в стеклянную коробку, и все поднялись ещё выше и вышли на платформу.

Поезда ещё не было. Платформа была вровень с третьими этажами домов. Внизу шли люди, ехали большие фургоны, проходили, позванивая, вагоны конно-железной дороги; вверху, по синему небу плыли облака, белые, светлые, совсем, как наши. «Вот, — думал Матвей, — полетит это облако над землёй, над морем, пронесётся над Лозищами, заглянет в светлую воду Лозовой речки, увидит лозищанские дома и поле, и людей, которые едут в поле и с поля, как бог велел, в пароконных телегах и с драбинами. Подумает ли кто-нибудь в Лозищах, что двое лозищан стоят в эту минуту в чужом городе, где над ними сейчас издевались; точно они не христиане и приехали сюда на посмешище... Стоят ни на земле, ни на горе и собираются лететь по воздуху в какой-то машине». «Господи, думала в это время и Анна, — а ну, как это провалится, а ну, как полетим мы все с этой машиной вниз, на каменную мостовую! Господи Иисусе, дева Мария, святой Иосиф! Всякая душа хвалит господа». Дыма смотрел и кусал длинный ус...

На рельсах вдали показался какой-то круг и покатился, и стал вырастать, приближаться, железо зазвенело и заговорило под ногами, и скоро перед платформой пролетел

целый поезд... Завизжал, остановился, открылись затворки — и несколько десятков людей торопливо прошли мимо наших лозищан. Потом они вошли в вагон, заняли пустые места, и поезд сразу опять кинулся со всех ног и полетел так, что только мелькали окна домов...

Матвей закрыл глаза. Анна крестилась под платком и шептала молитвы. Дыма оглядывался кругом вызывающим взглядом. Он думал, что американцы, сидевшие в вагонах, тоже станут глазеть на их шапки и свитки и, пожалуй, кидать огрызками бананов. Но, видно, эти американцы были люди серьёзные: никто не пялил глаз, никто не усмехался. Дыме это понравилось, и он немного успокоился...

А там поезд опять остановился, и наши вышли благополучно и опять спустились по лестнице на улицу...

VII

Заезжий двор мистера Борка совсем не походил на наши. Наши, то есть те, что на Воляни, или под Могилёвом, или в Полесье, гораздо лучше: длинный, невысокий дом, на белой стене чернеют широкие ворота так приветливо и приятно, что лошади приворачивают к ним сами собой. За въездом — прямо крытый двор, с высокого соломенной стрехой; между стропилами летают тучи воробьёв, и голуби воркуют где-то так сладко, а где — и не увидишь... А там — колодезь с воротом, ясли с «драбинами» для лошадей, куры, коза, корова, запах лошадиного поту, запах дёгтя и душистого сена... Вспомнить, так и то приятно...

Нужно сказать, что Матвей и Дыма считались в своих местах людьми степенными, знающими, как обращаться в свете. Случалось им не раз, на ярмарке или в праздник, проездом в местечках или в какой-нибудь корчме на шляху, заставать полным-полно народу, — и это их несколько не смущало. Известное дело, — всякий сам себя знает. Поставил человек лошадь к месту, кинул ей сена с воза или подвязал торбу с овсом, потом сунул кнут себе за пояс, с таким расчётом, чтобы люди видели, что это не бродяга или нищий волочится на ногах по свету, а настоящий хозяин, со своей скотиной и телегой; потом вошёл в избу и сел на лавку ожидать, когда освободится за столом место. А пока — оглядел всех, и сразу видно, что за народ послал бог навстречу, и сразу же можно начать подходящий разговор: один разговор с простым мужиком, другой —

со своим братом, однодворцем или мещанином, третий — с управляющим или подпанком. Разумеется, знали и своё место: если уже за столом расселся проезжий барин, — то, конечно, приходилось и пообождать, хотя бы места было и достаточно. Одним словом, ходили всегда по свету с открытыми глазами, — знали себя, знали людей, а потому от равных видели радушие и уважение, от гордых сторонились, и, если встречали от господ иногда какие-нибудь неприятности, то всё-таки не часто.

Теперь они сразу стали точно слепые. Не пришли сюда пешком, как бывало на богомолье, и не приехали, а прилетели по воздуху. И двор мистера Борка не похож был на двор. Это был просто большой дом, довольно тёмный и неприятный. Борк открыл своим ключом дверь, и они взойшли наверх по лестнице. Здесь был небольшой коридорчик, на который выходило несколько дверей. Войдя в одну из них, по указанию Борка, наши лозищане остановились у порога, положили узлы на пол, сняли шапки и огляделись.

Комната была просторная. В ней было несколько кроватей, очень широких, с белыми подушками. В одном только месте стоял небольшой столик у кровати, и в разных местах — несколько стульев. На одной стене висела большая картина, на которой фигура «Свободы» подымала свой факел, а рядом — литографии, на которых были изображены пятисвечники и еврейские скрижали. Такие картины Матвей видел у себя на Волыни и подумал, что это Борк привёз в Америку с собою.

В открытое окно виднелась линия воздушной дороги, вдоль улицы, по которой приехали и они. И опять вдали показался круглый щит локомотива и стал всё вырастать. Лозищане смотрели на него с некоторым страхом. Лязг и грохот всё приближался, и им казалось, что поезд вкатится в комнату. Но в это время что-то вдруг хлестнуло в окно резкой струёй воздуха, и мимо, совсем близко, с противоположной стороны, пронеслась какая-то стена с окнами. Это был другой встречный поезд; в окнах мелькнули головы, шляпы, лица, в том числе некоторые чёрные, как сажа... И через несколько секунд всё исчезло, повернуло, и поезд понёсся вдаль, всё уменьшаясь, между тем, как прежний вырастал и через минуту тоже пронёсся мимо окон. Клуб пара и дыма, точно развевающаяся лента, махнул по окну, и несколько ключев ворвалось в самую комнату...

— Всякое дыхание да хвалит господу! — сказал Матвей,

крестясь с испутом. И только когда оба поезда исчезли, он решился оглядеться хорошенько на новом месте.

Кроватей в комнате стояло около десятка, но из жильцов в ней находился только один господин, звание которого лозищане определить не могли. На нём было «городское платье», как и на Борке, светлые клетчатые короткие панталоны, большие и тяжёлые шнуровые ботинки, крахмальная сорочка и светлый жилет. Он лежал на постели, полуприкрывшись огромным листом газеты и, отклонив её угол, с любопытством смотрел на новоявившихся. По виду это был настоящий «барин», и, если бы так у себя, дома, то Дыма непременно отвесил бы ему низкий поклон и сказал бы:

— Прошу прощения... Может, это жид Берко завёл нас сюда по ошибке...

Во всяком случае лозищане подумали, что видят перед собой американского дворянина или начальника. Но мистер Борк скоро сошёл по витой лесенке сверху, куда он успел отвести Анну, и подвёл лозищан к кровати совсем рядом с этим важным барином.

— Вот эта кровать, — сказал он, — стоит вам два доллара в неделю.

— А что я тебе скажу, мистер Борк, — зашептал ему осторожно Дыма. — Хорошо ли, смотри, это у нас выйдет?

— Ну, — обиженно ответил Борк, — что же ещё нужно за два доллара в неделю? Вы, может, думаете — это с одного? Нет, это с обоих. За обед особо...

— Бог с тобой, — ответил Дыма всё-таки шопотом, — если уже ты не можешь уступить подешевле. А только вот этому господину не покажется ли неприятно? Всё-таки мы люди простого звания...

Борк в ответ только свистнул и сказал, с нескрываемым пренебрежением посмотрев на американского дворянина:

— Фью-ю! На этот счёт вы себе можете быть вполне спокойны. Это совсем не та история, что вы думаете. Здесь свобода: все равные, кто за себя платит деньги. И знаете, что я вам ещё скажу? Вот вы простые люди, а я вас больше почитаю... потому что я вижу: вы в вашем месте были хозяева. Это же видно сразу. А этого шарлатана я, может быть, и держать не стал бы, если бы за него не платили от Тамани-холла. Ну, что мне за дело! У «босса» денег много, каждую неделю я своё получаю аккуратно.

Дыма ловил на лету всё, что замечал в новом месте, и потому, обдумав не совсем понятные слова Борка, покоился на лежавшего господина и сказал:

— Я, мистер Борк, так понимаю твои слова, что это не барин, а бездельник, вроде того, какие и у нас бывают на ярмарках. И шляпа на нём, и белая рубашка, и галстух... а глядишь, уже кто-нибудь кошелька и не досчитался... Борк усмехнулся.

— Ну, вы-таки умеете попадать пальцем в небо, — сказал он, поглаживая свою бородку. — Нет, насчёт кошелька так вы можете не бояться. Это не его ремесло. Я только говорю, что всякий человек должен искать солидного и честного дела. А кто продаёт свой голос... пусть это будет даже настоящий голос... Но кто продаёт его Тамани-холлу за деньги, того я не считаю солидным человеком.

И, вздохнув, он прибавил:

— У меня было здесь солидное заведение. Ну, что делать! Заведение пошло прахом, осталась квартира до срока. Приходится как-нибудь колотиться со всякою дрянью.

Дыма не совсем понимал, как можно продать свой голос, хотя бы и настоящий, и кому он нужен, но, так как ему было обидно, что раз он уже попал пальцем в небо, — то он сделал вид, будто всё понял, и сказал уже громко:

— А когда так, то и хорошо. Клади, Матвей, узел сюда. Что, в самом деле! Ведь и наши деньги не щербаты. А здесь при том же, чорт их бей, свобода!

И он сел на свою кровать против американского господина, вдобавок ещё расставивши ноги. Матвей боялся, что американец всё-таки обидится. Но он оказался парень простой и покладливый. Услыхав, что разговор идёт о Тамани-холле, — он отложил газету, сел на своей постели, приветливо улыбнулся, и некоторое время оба они сидели с Дымой и пялили друг на друга глаза.

— Good day (здравствуйте)! — первый сказал американец и хлопнул Дыму по колену.

Дыма хлопнул его с своей стороны и, очень мало подумавши, ответил:

— Jes (да).

— Tampany-holl, — сказал опять американец, любезно улыбаясь, — вэри уэлл!

— Вэри уэлл, — кивнул головой Дыма. — Это значит: очень хорошо... Эх ты, барин! Ты вот научи меня, как это продать этому чорту Тамани-холлу свой голос, чтобы за это человека кормили и поили даром.

— Well! — ответил американец, захохотав.

— Jes, — засмеялся и Дыма.

Ирландец опять подмигнул, похлопал Дыму по колену, и, они, видно, сразу стали приятели.

А Матвей подивился на Дыму («вот ведь какой дар у этого человека», — подумал он), но сам сел на постели, грустно понурился головой, и думал:

«Вот человек и в Америке... что же теперь будем делать?»

Правду сказать, — всё не понравилось Матвею в этой Америке. Дыме тоже не понравилось, и он был очень сердит, когда они шли с пристани по улицам. Но Матвей знал, что Дыма — человек лёгкого характера: сегодня ему кто-нибудь не по душе, а завтра первый приятель. Вот и теперь он уже крутит ус, придумывает слова и поглядывает на американца весёлым оком. А Матвею было очень грустно.

Да, вот и Америка! Ещё вчера ночью она лежала перед ним, как какое-нибудь облако, и он не знал, что-то явится, когда это облако расступится... Но всё ждал чего-то чудесного и хорошего... «Правду сказать, — думал он, — на этом свете человек думает так, а выходит иначе, и если бы человек знал, как выйдет, то, может, век бы свековал в Лозицах, с родной бедою». Вот и облако расступилось, вот и Америка, а сестры нет, и той Америки нет, о которой думалось так много над тихую Лозовую речкой и на море, пока корабль плыл, колыхаясь на волнах, и океан пел свою смутную песню, и облака неслись по ветру в высоком небе то из Америки в Европу, то из Европы в Америку... А на душе пробегали такие же смутные мысли о том, что было там, на далёкой родине, и что будет впереди за океаном, где придётся искать нового счастья...

Ищи его теперь, этого счастья, в этом пекле, где люди летят куда-то, как бешеные, по земле и под землёй и даже, — прости им, господи, — по воздуху... где все кажется не таким, как наше, где не различишь человека, какого он может быть звания, где не схватишь ни слова в человеческой речи, где за крещёным человеком бегают мальчишки так, как в нашей стороне бегали бы разве за турком...

— Вот что, Дыма, — сказал Матвей, отрываясь от своих горьких мыслей. — Надо поскорее писать письмо Осипу. Он здесь уже свой человек, — пусть же советует, как сыскать сестру, если она ещё не приехала к нему, и что нам теперь делать с собою.

— Да уж не иначе! — ответил Дыма.

Попросили у Борка перо и чернил, устроились у окна и написали. Писал письмо Дыма, а так как и у него руки не

очень-то привыкли держать такую маленькую вещь, как перо, — то прописали очень долго.

Кончили писать, Дыма стал отирать пот со лба и вдруг остановился с разинутым ртом. Матвей тоже оглянулся, — и у него как-то приятно замерло сердце.

В комнате стояла старая барыня, в поношенной, но видно, что когда-то шелковой мантилье, в старой шляпке с желтыми цветами и с сумочкой на руке. Кроме того, на ленточке она держала небольшую белую собачку, которая поворачивалась во все стороны и нюхала воздух.

— Наша, — шепнул Дыма Матвею.

И действительно, барыня села у двери на стул, отдышалась немного и сказала с первого слова:

— Проклятая сторона, проклятый город, проклятые люди. Ну, скажите, пожалуйста, зачем вы сюда приехали?

Наши очень обрадовались родной речи, кинулись к барыне и чуть не столкнулись головами, целуя у неё руку.

Барыне, видно, это понравилось. Она сидела на стуле, не отнимала руки и глядела на лозищан, жалостно кивая головой.

— Подольские или из Волыни?

— Из Лозищей, милостивая госпожа.

— Из Лозищей! Прекрасно! А куда же это бог несёт?

— В Миннесоте есть наши.

— Миннесота! Знаю, знаю. Болото, лес, мошка, лесные пожары, и, кажется, индейцы... Ай люди, люди! И что вам только понадобилось в этой Америке? Жили бы в своих Лозищах...

«Оно, может, и правда», — подумал Матвей. А Дыма ответил:

— Рыба ищет где глубже, а человек — где лучше.

— Так... от этого-то рыба попадает в невод, а люди в Америку... Это очень глупо. А впрочем, — это не моё дело. А где же тут сам хозяин?.. Да, вот и Берко.

— Мистер Борк, — поправил еврей, входя в комнату.

— А, мистер Берко, — сказала барыня, и лозищане заметили, что она немного рассердилась. — Скажите, пожалуйста, я и забыла! А впрочем, ваша правда, ясновельможный мистер Борк! В этой проклятой стороне все мистеры, и уже не отличишь ни жида, ни хлопа, ни барина... Вот и эти (она указала на лозищан) снимут завтра свои свитки, забудут бога и тоже потребуют, чтобы их звать господами...

— Это их дело, всякий здесь устраивает себя, как хочет, — сказал Борк хладнокровно и прибавил, поглаживая бородку: — Чем могу вам служить?

— Твоя правда, — сказала барыня. — В этой Америке никто не должен думать о своём ближнем... Всякий знает только себя, а другие, — хоть пропади в этой жизни и в будущей... Ну, так вот я зачем пришла: мне сказали, что у тебя тут есть наша девушка. Или, простите, мистер Борк... Не угодно ли вам позвать сюда молодую приезжую лэди из наших крестьянок.

— Ну, а зачем вам мисс Эни?..

— Ты, кажется, сам начинаешь вмешиваться в чужие дела, мистер Берко.

Борк пожал плечами, и через минуту сверху спустилась Анна. Старая барыня надела стёклышки на нос и оглядела девушку с ног до головы. Ложищане тоже взглянули на неё, и им показалось, что барыня должна быть довольна и испуганным лицом Анны, и глазами, в которых дрожали слёзы, и крепкой фигурой, и тем, как она мяла ручкой конец передника.

— Умеешь ты убирать комнаты? — спросила барыня.

— Умею, — ответила Анна.

— И готовить кушанье?

— Готовила.

— И вымыть бельё, и выгладить рубашку, и заправить лампу, потому что я терпеть не могу здесьнего газа, и поставить самовар или сварить кофе...

— Так, ваша милость. Умею.

— Ты приехала сюда работать?

— Как же иначе? — ответила девушка совсем тихо.

— Почём я знаю, как иначе?.. Может быть, ты рассчитывала выйти замуж за президента... Только он, моя милая, уже женат...

Две крупные слезы скатились с длинных ресниц Анны и упали на белый передник, который она всё переминала в руках. Матвею стало очень жаль девушку, и он сказал:

— Она, ваша милость, сирота...

А Дыма прибавил:

— У неё на корабле умер отец.

— Умнее ничего не мог придумать! — сказала барыня спокойно. — Много здесь дураков прилетало, как мухи на мёд... Ну, вот что. Мне некогда. Если ты приехала, чтобы работать, то я возьму тебя с завтрашнего дня. Вот этот мистер Борк укажет тебе мой дом... А эти — тебе родня?

— Нет, милостивая пани, но...

И Матвей видел, как испуганный глаз девушки остановился на нём, будто со страхом и вопросом.

— Никаких «но». Я не позволю тебе водить ни любовников, ни там двоюродных братьев. Вперёд тебе говорю: я строгая. Из-за того и беру тебя, что не желаю иметь американскую барыню в кухарках. Шведки тоже уже испорчены... Слышишь? Ну, а пока до свидания. А паспорт есть?

— Есть...

— То-то.

Барыня встала, гордо кивнула головой и вышла из помещения.

— Наша! — сказал Матвей и глубоко вздохнул.

— А это, видно, и здесь так же, как и всюду на свете, — прибавил к этому Дыма.

Анна тихонько вытерла слезу концом передника.

Еврей посмотрел на девушку с сожалением и сказал:

— Ну, что вы плачете, мисс Эни! Я вам прямо скажу: это дело не пойдёт, и плакать нечего...

— А почему же не пойдёт? — возразил Матвей задумчиво, хотя и ему самому казалось, что не стоило ехать в Америку, чтобы попасть к такой строгой барыне. Можно бы, кажется, и пожалеть сироту... А, впрочем, в сердце ложищанина примешивалось к этому чувству другое. «Наша барыня, наша, — говорил он себе, — даром что строгая, зато своя и не даст девушке ни пропасть, ни избаловаться...»

— Ну, почему же не идёт? — повторил он свой вопрос.

— Га! Если мисс Эни приехала сюда искать своего счастья, то я скажу, что его надо искать в другом месте. Я эту барыню знаю: она любит очень дешёво платить и чтобы ей очень много работали.

— Эх, мистер Борк, а кто же этого не любит на свете? — сказал Матвей со вздохом.

— Ну, это правда, а только здесь всякий любит также получить больше, а работать меньше. А может быть, вы думаете иначе, тогда мистер Борк будет молчать... это уже не моё дело...

Борк поднялся с своего места и вскоре ушёл, одевшись, на улицу.

Он был еврей серьёзный, но неудачливый, и дела его шли неважно. Помещение было занято редко, и буфет в соседней комнате работал мало. Дочь его прежде ходила на фабрику, а сын учился в коллегии; но фабрика стала, сам мистер Борк менял уже третье занятие и теперь подумывал о четвёртом. Кроме того, в Америке действительно не очень любят вмешиваться в чужие дела, поэто-

му и мистер Борк не сказал лозищанам ничего больше, кроме того, что покамест мисс Эни может помогать его дочери по хозяйству, и он ничего не возьмёт с неё за помещение.

— Подождём ещё, малютка, — сказал Матвей. — Может быть, придёт скоро ответ от Лозинского, тогда, пожалуй, и тебе найдётся работа в деревне.

— Дай-то боже, — ответили в один голос девушка и Дыма.

— А теперь, — прибавил Матвей, — напиши, Дыма, адрес.

Но тут открылось вдруг такое обстоятельство, что у лозищан кровь застыла в жилах. Дело в том, что бумажка с адресом хранилась у Матвея в кисете с табаком. Да как-то, видно, тёрлась и тёрлась, пока карандаш на ней совсем не истёрся. Первое слово видно, что губерния Миннесота, а дальше ни шагу. Осмотрели этот клочок сперва Матвей, потом Дыма, потом позвали девушку, дочь Борка, не догадается ли она, потом вмешался новый знакомый Дымы — ирландец, но ничего и он не вычитал на этой бумажке.

— Что же это теперь будет? — сказал Матвей печально.

Дыма посмотрел на него с великою укоризной и постучал себя пальцем по лбу. Матвей понял, что Дыма не хочет ругать его при людях, а только показывает знаком, что он думает о голове Матвея. В другое время Матвей бы, может, и сам ответил, но теперь чувствовал, что все они трое по его вине идут на дно — и смолчал.

— Эх, — сказал Дыма и заскрёб в голове. Заскрёб в голове и Матвей, но ирландец, человек, видно, решительный, схватил конверт, написал на нём: «Миннесота, фермерскому работнику из России, Иосифу Лозинскому» и сказал:

— All right.

— Он говорит олл райт, — обрадовался Дыма, — значит, дойдёт.

— Дай-то бог, — это будет чудо господне, — сказал Матвей.

А ирландец вдобавок предложил Дыме сходить вместе, отнести письмо. И когда они выходили, — ирландец, надев свой котелок и взяв в руки тросточку, а Дыма в своей свитке и бараньей шапке, — то Матвею показались они оба какими-то странными, точно он их видел во сне. Особенно, когда, у порога, ирландец, как-то изогнувшись,

предложил Дыме выйти первому. Дыма, изогнувшись совершенно так же, предлагал пройти вперёд ирландцу. Потом они двинулись оба вместе, и тут уже Дыма постарался всё-таки пройти первым. Ирландец крепко хлопнул его по плечу и захохотал... Дыма посмотрел на Матвея с гордым видом.

IX

Дело это было в пятницу, уже после обеда.

Матвей ждал Дыму, но Дыма с ирландцем долго не шёл. Матвей сел у окна, глядя, как по улице снуют народ, ползут огромные, как дома, фургоны, летят поезда. На небе, поднявшись над крышами, показалась звезда. Роза, девушка, дочь Борка, покрыла стол в соседней комнате белой скатертью и поставила на нём свечи в чистых подсвечниках и два хлеба прикрыла белыми полотенцами.

От этих приготовлений у Матвея что-то вдруг прилило к сердцу. Он вспомнил, что сегодня пятница, и что таким образом на его родине евреи готовят всегда встречать субботу.

Действительно, скоро мистер Борк вернулся из синагоги, важный, молчаливый и, как показалось Матвею, очень печальный. Он стоял над столом, покачивался и жужжал свои молитвы с закрытыми глазами, между тем как в окно рвался шум и грохот улицы, а из третьей комнаты доносился смех молодого Джона, вернувшегося из своей «коллегии» и рассказывавшего сестре и Аннушке что-то веселое. На зов отца девушка вбежала в комнату и подала ему на руки воду. Он мыл руки, потом концы пальцев, брызгал воду и бормотал слова молитвы, а девушка, видно, вспомнила что-то смешное и глядела на брата, который подошел к столу и ждал, покачиваясь на каблуках. Затем они уселись. Молодые люди продолжали весело разговаривать. Один Борк что-то порой шептал про себя, тихонько разрезывая луковицу или белый хлеб, и часто и глубоко вздыхал...

Лозищанин глядел на еврея и вспоминал родину. Вот и шабаш здесь не такой, думал он про себя, и родное местечко встало в памяти, как живое. Вот засияла вечерняя звезда над потемневшим лесом, и городок стихает, даже перестали дымиться трубы в еврейских домах. Вот загорелись огнями синагога, зажглись жёлтые свечи в окнах лачуг, евреи степенно идут по домам, смолкает на улицах говор и топот шагов, а зато в каждое окно можно видеть,

как хозяин дома благословляет стол, окружённый семьёй. В это время двери всюду открыты, чтобы Авраам, Иаков и другие патриархи могли ходить невидимо от одной лачуги к другой и заходить в дома. Знакомые евреи говорили Матвею, что в это время ангелы ходят вместе с Авраамом, а черти, как вороны, носятся над крышами, не смея приблизиться к порогу.

Разумеется, в своём месте Матвей смеялся над этими пустяками: очень нужно Аврааму, которого чтут также и христиане, заходить в грязные лачуги некрещёных жидов! Но теперь ему стало очень обидно за Борка и за то, что даже еврей, такой крепкий в своей вере народ, — забыли здесь свей обычай... Молодые люди наскоро отужинали и убежали опять в другую комнату, а Борк остался один. И у Матвея защемило сердце при виде одинокой и грустной фигуры еврея.

Мистер Борк, как бы угадывая мысли Лозинского, вышел из-за стола и сел с ним рядом.

— Вижу я, господин Борк, — обратился к нему Матвей, — что твои дети не очень почитают праздник?

Борк задумчиво погладил бороду и сказал:

— А! хотите вы знать, что я вам скажу? Америка — такая сторона, такая сторона... Она перемалывает людей, как хорошая мельница.

— Что, видно, и здесь не очень-то любят вашу веру? — сказал Матвей наставительно.

— Э, вы совсем не то говорите, что надо. Если бы вы захотели, я повёл бы вас в нашу синагогу... Ну, вы увидели бы, какая у нас хорошая синагога. А наш раввин здесь в таком почёте, как и всякий священник. И когда его вызывали на суд, то он сидел с их епископом, и они говорили друг с другом... Ну, совсем так, как двоюродные братья.

— А вы бросаете всё-таки свою веру? — сказал лозинский. Ему не совсем-то верилось, чтобы и здесь можно было приравнять раввина к священнику.

— Ну, это очень трудно вам объяснить. Видите что: Америка такая хитрая сторона, она не трогает ничьей веры. Боже сохрани! Она берёт себе человека. Ну а когда человек станет другой, то и вера у него станет уже другая. Не понимаете? Ну, хорошо. Я вам буду объяснять ещё иначе. Моя дочь кончила школу, а в это время мои дела пошли очень плохо. Ну, мне говорят, пусть ваша дочь идёт на фабрику. Плата будет десять долларов в неделю, а когда выучится — тогда плата будет и двенадцать дол-

ларов в неделю. Ну, что вы скажете на это? Ведь это двадцать четыре рубля в неделю, — хорошие деньги?

— Очень хорошие деньги, — подтвердил Матвей. — Такие деньги у нас платят работнику от Покрова до Пасхи... Правда, на хозяйских харчах.

— Ну, вот. Она пошла на фабрику к мистеру Бэркли. А мистер Бэркли говорит: «Хорошо. Еврейки работают не хуже других. Я могу принимать еврейку. Но только я не могу, чтобы у меня станок стоял пустой в субботу. Это не платит. Ты должна ходить и в субботу...»

— Ну?

— Ну... Я сказал: лучше я буду помирать или выйду на улицу продавать спички, а не позволю дочери ломать святую субботу. Хорошо. А в это время приехал к нам мистер Мозес. Вы не знаете, разумеется, кто такой мистер Мозес. Это один себе еврей из Луисвилля. У него ум, как огонь, а язык, как молот. Ну, он перековал всех своих евреев в Луисвилле и поехал в другие города. Собрались мы в синагогу слушать этого Мозеса, а он и говорит: «Слышал я, что многие из вас терпят нужду и умирают, а не хотят ломать субботу». Мы говорим: ну, это и правда. Суббота святая! Суббота царица, свет Израиля! А он говорит: «Вы похожи на человека, который собрался ехать, сел на осла задом наперёд и держится за хвост. Вы смотрите назад, а не вперёд, и потому все попадёте в яму. Но, если бы вы хорошо смотрели назад, то и тогда вы бы могли догадаться, куда вам ехать. Потому что, когда сынов Израиля стали избивать язычники, а было это дело при Маккавеях, то ваши отцы погибали, как овцы, потому что не брали меча в субботу. Ну, что тогда сказал господь? Господь сказал: «Если так будет дальше, то из-за субботы всех моих людей перережут, как стадо, и некому будет праздновать самую субботу... пусть уж лучше берут меч в субботу, чтобы у меня остались мои люди». Теперь подумайте сами: если можно брать меч, чтобы убивать людей в субботу, то отчего не взять в руки станок, чтобы вам не помирать с голоду в чужой стороне?» А! Я же вам говорю: это очень умный человек, этот Мозес.

Матвей посмотрел на еврея, у которого странно сверкали глаза, и сказал:

— Видно и тебя начинает тянуть туда же. А я тебя считал почтенным человеком.

— Ну, — ответил Борк, вздохнув, — мы, старики, всё-таки держимся, а молодёжь... А! что тут толковать! Вот и моя дочь пришла ко мне и говорит: «Как хочешь, отец,

незачем нам пропадать. Я пойду на фабрику в субботу. Пусть наша суббота будет в воскресенье».

Борк взял свою бороду обеими руками, посмотрел на Матвея долгим взглядом и сказал:

— Вы еще не знаете, какая это сторона Америка! Вот вы посмотрите сами, как это вам понравится. Мистер Мозес сделал из своей синагоги настоящую конгрегешен, как у американцев. И знаете, что он делает? Он венчает христиан с еврейками, а евреек с христианами!

— Послушай, Берко, — сказал Матвей, начиная сердиться. — Ты, кажется, шутишь надо мной.

Но Борк смотрел на него всё так же серьезно, и по его печальным глазам Матвей понял, что он не шутит.

— Да, — сказал он, вздохнув. — Вот вы увидите сами. Вы ещё молодой человек, — прибавил он загадочно... — Ну, а наши молодые люди уже все реформаторы, или, ещё хуже — эпикурейцы... Джон, Джон! А поди сюда на минутку! — крикнул он сыну.

Смех и разговоры в соседней комнате стихли, и молодой Джон вышел, играя своей цепочкой. Роза с любопытством выглянула из-за дверей.

— Послушай, Джон, — сказал ему Борк. — Вот господин Лозинский осуждает вас, зачем вы не исполняете веру отцов.

Джон, которому, видно, не очень любопытно было разговаривать об этом, — поиграл цепочкой и сказал:

— А разве господин тоже еврей?

Матвей выпрямился. У себя он бы, может быть, поучил этого молокососа за такое обидное слово, но теперь он только ответил:

— Я христианин, и деда, и отцы были христиане — греко-униаты...

— Олл райт! — сказал молодой Джон. — А как вы мне скажете: можно ли спастись еврею?

Матвей подумал и сказал, немного смутившись:

— По совести тебе, молодой человек, скажу: не думаю.

— Уэлль! Так зачем вы хотите, чтобы я держался такой веры, в которой моя душа должна пропасть...

И видя, что Матвей долго не соберётся ответить, — он повернулся и опять ушёл к сестре.

— А ну! Что вы скажете? — спросил Борк, глядя на ло-зищанина острым взглядом. — Вот как они тут умеют рассуждать. Поверите вы мне, на каждое ваше слово он вам сейчас вот так ответит, что у вас язык присохнет. По-нашему лучшая вера та, в которой человек родился, — вера отцов и дедов. Так мы думаем, глупые старики.

— Разумеется, — ответил Матвей, обрадовавшись.

— Ну а знаете, что он вам скажет на это?

— Ну?

— Ну, он говорит так: значит, будет на свете много самых лучших вер, потому что ваши деды верили по-вашему... Так? Ага! А наши деды — по-нашему. Ну, что же дальше? А дальше будет вот что: лучшая вера такая, какую человек выберет по своей мысли... Вот как они говорят, молодые люди...

— А чтоб им провалиться, — сказал Матвей. — Да это значит, сколько голов, столько вер.

— А что вы думаете, — тут их разве мало? Тут что ни улица, то своя конгрегешен. Вот нарочно подите в воскресенье в Бруклин, так даже можете не мало посмеяться.

— Посмеяться? В церкви?

— Ну, они и молятся, и смеются, и говорят о своих делах, и опять молятся.... Я вам говорю, — Америка такая сторона... Вот увидите сами...

И долго ещё эти два человека: старый еврей и молодой лозищанин, сидели вечером и говорили о том, как верят в Америке. А в соседней комнате молодые люди всё болтали и смеялись, а за стеной глухо гремел огромный город...

Х

Город гремел, а Лозинский, помолвившись богу и рано ложась на ночь, закрывал уши, чтобы не слышать этого страшного, тяжёлого грохота. Он старался забыть о нём и думать о том, что будет, когда они разыщут Осипа и устроятся с ним в деревне...

В той самой деревне, которая померещилась им ещё в Лозищах, из-за которой Лозищи показались им бедны и скучны, из-за которой они проехали моря и земли, которая виднелась им из-за дали океана, в туманных мечтах, как земля обетованная, как вторая родина, которая должна быть такая же дорогая, как и старая родина.

Такая же, как и старая, только гораздо лучше...

Такие же люди, только добрее. Такие же мужики, в таких же свитках, только мужики похожи на старых лозищан, ещё не забывших о своих старых правах, а свитки тоньше и чище, только дети здоровее и все обучены в школе, только земли больше, и земля родит не по-нашему; только лошади крепче и сытее, только плуги берут шире и глубже, только коровы дают по ведру на удой...

И такие же сёла, только побольше, да улицы шире и

чище, да избы просторнее и светлее, и крыты не соломою, а тесом... а может быть, и соломой, — только новой и свежей... И должно быть, около каждого дома — садик, а на краю села у выезда корчма, с приветливым американским жидом, где по вечерам гудит бас, тонко подпеваает скрипка и слышен в весенние тёплые вечера топот и песни до ранней зари, — как было когда-то в старые годы в Лозицах. А по середине села школа, а недалеко от школы. — церковь, может быть, даже униатская.

А в селе такие же девушки и молодницы, как вот эта Анна, только одеты чище, и лица у них не такие запуганные, как у Анны, и глаза смеются, а не плачут.

Всё такое же, только лучше. И конечно, такие же начальники в селе, и такой же писарь, только и писарь больше боится бога и высшего начальства. Потому что и господа в этих местах должны быть добрее и все только думают и смотрят, чтобы простому человеку жилось в деревне как можно лучше...

С этими мыслями лозищанин засыпал, стараясь не слышать, что кругом стоит шум, глухой, непрерывный, глубокий. Как ветер по лесу, пронёсся опять под окнами ночной поезд, и окна тихо прозвенели и смолкли, — а Лозинскому казалось, что это опять гудит океан за бортом парохода... И когда он прижимался к подушке, то опять что-то стучало, ворочалось, гроыхало под ухом... Это потому, что над землёй и в земле стучали без отдыха машины, вертелись чугунные колёса, бежали канаты...

И вот, ночью Матвею приснилось, что кто-то стоит над ним огромный, без лица и не похожий совсем на человека, стоит и кричит, совсем так, как ещё недавно кричал в его ушах океан под ночным ветром.

— Глупые люди, бедные, темные люди. Нет такой деревни на свете, и нет таких мужиков, и господ таких нету, и нет таких писарей. И поле здесь не такое, и не то здесь в поле родится, и люди иные. И нет уже тебя, Матвея Оглобли, и нет твоего приятеля Дымы, и нету Анны!.. Прежний Матвей уже умер, и умер Дыма, и умерла ваша прежняя вера, и сердце у вас станет другое, и иная душа, и чужая молитва... И если бы встала твоя мать из заброшенной могилы, на тихом кладбище под лозищанским лесом, — то здесь в детях твоих она не признала бы своих внуков... Потому что они не будут похожи ни на отца, ни на тебя, ни на дедов и прадедов... А будут американцы...

Матвей проснулся весь в поту и сел на своей постели.

Он протирал глаза и не мог вспомнить, где он. В комнате было темно, но кто-то ходил, кто-то топал, кто-то сошел и кто-то стоял над самой его постелью.

Потом вдруг комната осветилась, потому что кто-то зажгёт газовый рожок спичкой. Комната осветилась, а Матвей всё ещё сидел и ничего не понимал и говорил с испугом:

— Всякое дыханье да хвалит господа.

— Ну, что ещё?.. Чего ты это испугался? — сказал кто-то знакомым голосом. Голос был как будто Дымы, но что-то ещё было в нём страшное и чужое. И человек, стоявший над кроватью Матвея, был тоже Дыма, но как будто какой-то другой, на Дыму не похожий... Матвей думал, что это всё ещё сон, и стал протирать кулаками глаза... Когда он открыл их, в комнате было ещё светлее, и по ней двигались люди, только что вернувшиеся целой гурьбой... Странные люди, чужие люди, люди непонятные и незнакомые, люди неизвестного звания, люди с такими лицами, по которым нельзя было определить, добрые они или злые, нравятся ли они человеку, или не нравятся... Они нахлынули в комнату, точно толпа странных привидений, которые человеку видятся порой только во сне, — и тихо, без шума занимали свои места. И Матвей долго ещё не мог сообразить — кто это, откуда, что здесь делают и что он сам делает среди них...

А потом вспомнил: да ведь это американцы. Те, что летают по воздуху, что смеются в церквах, что женятся у раввинов на еврейках, что выбирают себе веру, кто как захочет... Те, что берут себе всего человека, и тогда у него тоже меняется вера...

А тот, что стоял над самой постелью, — неужели это Дыма? Да, это и был Дыма, но только опять такой, как будто он приснился во сне. Он очень торопился раздеваться и отворачивал лицо. Однако от Матвея не ускользнуло, что этот Дыма скидает с себя совсем не свою одежду. На нём не было ни белой свитки, ни красного пояса, купленного перед самым отъездом в местечке, ни высоких смазных сапог, ни широких шаровар из коричневой коломянки. Вместо всего этого он теперь старался поскорее вылезти из какой-то немецкой кургузой куртки, не закрывавшей даже как следует того, что должно быть закрыто хорошей одеждой; шею его подпирал высокий воротник крахмальной рубашки, а ноги нельзя было освободить из узких штанов... Когда же он, наконец, разделся и полез к Матвею под одно одеяло, — то Матвей даже отшатнулся, до такой степени самое лицо Дымы стало чужое. Волосы

его были коротко острижены и торчали еяром на лбу, усы подстрижены над губой, а от бороды осталась только узкая американская лопатка.

— Побойся ты бога, Дыма! — сказал Матвей, взглядевшись. — На кого ты похож, и что это ты над собою сделал?

Дыма, повидимому, чувствовал себя так, как человек, который вышел на базар, забывши надеть штаны... Он как-то всё отворачивал лицо, закрывал рот ружью и говорил каким-то виноватым и слащавым голосом:

— Да вот, как меня, видишь... Зашёл с проклятым ирландцем в цирюльню, чтобы меня немного остригли. Поверь совести, Матвей, я хотел чуть-чуть... А вышло вот что. Посадили меня в кресло. Кресло, знаешь, такое хорошее, а только как сел в него — и кончено. Ноги сейчас схватило чем-то и кинуло кверху, голову отвалило назад: ей-богу, как баран на бойне... Вижу, делает немец не так, как надо, а двинуться не могу. Посмотрел потом на себя в зеркало, — не я, да и только. «Что ты, говорю, собачий сын, над человеком сделал?» А они оба довольны, хлопают меня по плечу: «Уэл, уэл, вери уэл!»

Дыма тихонько полез под одеяло, стараясь улечься на краю постели. Однако, когда в комнате погасили огонь и последний из американцев улёгся, он сначала всё ещё лицемерно вздохнул, потом поправился на своём месте и, наконец, сказал:

— Ну, а всё-таки, признайся, Матвей... Всё-таки этак человек как-то больше похож на американца.

— А зачем тебе непременно походить на американца? — сказал Матвей холодно...

— И знаешь, — живо продолжал Дыма, не слушая, — когда я, вдобавок, выменял у еврея на базаре эту одежду... с небольшой, правда, придачей... то уже на улице подошел ко мне какой-то господин и заговорил по-английски...

— Ах, Иван, Иван, — сказал Матвей с такой горечью, что Дыму что-то как бы укололо, и он заворочался из места. — Правду, видно, говорит этот Берко: ты уже скоро забудешь и свою веру...

— Иные люди, — заворчал Дыма, отворачиваясь, — так упрямы, как лозищанский вол... Им лучше, чтобы в них кидали на улице корками...

— Вот ты уже ругаешься Лозищами, в которых родился, — сказал Матвей и замолчал. Дыма еще поворчал, поворочался, повздыхал и затем заговорил тихим, немного заискивающим голосом:

— Охота тебе слушать Берка. Вот он обляял этого ирландца... И совсем напрасно... Знаешь, я-таки разузнал, что это такое Тамани-холл и как продают свой голос... Дело совсем простое... Видишь ли... Они тут себе выбирают голову, судей и прочих там чиновников... Одни подают голоса за одних, другие за других... Ну, понимаешь, всякому хочется попасть повыше... Вот они и платят... Только, говорит, подай голос за меня.. Кто соберёт десять голосов, кто двадцать... Ты, Матвей, слушаешь меня?

И, хотя Матвей ничего не ответил, он продолжал:

— И, по-моему, это-таки справедливо: хочешь себе, — дай же и людям... И знаешь ещё что?..

Тут Дыма понизил голос до шопота и повернулся совсем к Матвею:

— Они говорят — этот ирландец и еврей у которого я покупал одежду, что и нам бы можно... Конечно, голоса не совсем настоящие, но тоже чего-нибудь стоят...

Матвей хотел ответить что-то очень внушительное, но в это время с одной из кроватей послышался сердитый окрик какого-то американца. Дыма разобрал только одно слово devil, но и из него понял, что их обоих посылают к дьяволу за то, что они мешают спать... Он скорчился и юркнул под одеяло.

А наверху, в маленькой комнатке спали вместе Роза и Анна. Когда им пришлось ложиться, — Роза посмотрела на Аннушку и спросила:

— Вам, может быть, неприятно будет спать на одной постели с еврейкой?

Анна покраснела и сконфузилась.

Она собиралась молиться, вынула свой образок и только что хотела приладить его где-нибудь в уголку, как слова Розы напомнили ей, что она — в еврейском помещении. Она стояла в нерешительности, с образком в руках. Роза всё смотрела на неё и потом сказала:

— Вы хотите молиться и... я вам мешаю... Я сейчас уйду?

Анна сконфузилась. Она действительно думала, хорошо ли молиться богу в присутствии еврейки, и позволит ли еврейка молиться по-христиански в своей комнате.

— Нет, — ответила она. — Только... я думала, — не будет ли вам неприятно?

— Молитесь, — просто сказала Роза и стала оправлять постель.

Аннушка прочитала свои молитвы, и обе девушки стали раздеваться. Потом Роза завернула газовый рожок,

и свет по час. Через некоторое время в темноте обозначилось окно, а за окном высоко над продолжающим гудеть огромным городом стояла небольшая, бледная луна.

— О чём вы думаете? — спросила Роза лежащую с ней рядом Анну.

— Я думаю... видят ли теперь этот самый месяц в нашем городишке.

— Нет, не видят, — ответила Роза, — у вас теперь день... А какой ваш город?

— Наш город — Дубно...

— Дубно? — живо подхватила Роза. — Мы тоже жили в Дубне... А зачем вы оттуда уехали?

— Братья уехали раньше... Я жила с отцом и младшим братом. А после этого брата... услали.

— Что он сделал?

— Он... вы не думайте... Он не вор и не что-нибудь... только...

Она замялась. Она не хотела сказать, что, когда разбивали еврейские дома, он разбивал тоже, и после стали драться с войсками... Она думала, что лучше не говорить этого, и замолчала.

— Что ж, — сказала Роза, — со всяким может случиться несчастье. Мы жили спокойно и тоже не думали ехать так далеко. А потом... вы, может быть, знаете... когда стали громить евреев... Ну, что людям нужно? У нас всё разбили, и... моя мать...

Голос Розы задрожал.

— Она была слабая... и они её очень испугали... и она умерла.

Анна подумала, что она хорошо сделала, не сказав Розе всего о брате... У неё как-то странно сжалось сердце... И ещё долго она лежала молча, и ей казались странными и этот глухо гудящий город, и люди, и то, что она лежит на одной постели с еврейкой, и то, что она молилась в еврейской комнате, и что эта еврейка кажется ей совсем не такой, какой представлялась бы там, на родине...

Начинало уже светать, когда, наконец, обе девушки заснули крепким молодым сном. А в это самое время Матвей, приподнявшись на своей постели, после лёгкого забытья, — всё старался припомнить, где он и что с ним случилось. Ненадолго притихший было город начинал просыпаться за стеной. Быстрее ворочались колёса на какой-то блочке старини, и уже проиёлся поезд, шумя, как ветер в бору перед дождливым утром. Рядом на другой подушке лежала голова Дымы, но Матвей с трудом узнавал своего

приятеля. Лицо Дымы было красно, потому что его сильно подпирал тугой воротник не снятой на ночь крахмальной сорочки. Прежние его казацкие длинные усы были подстрижены, и один ещё держался кверху тонко нафабреным кончиком. Вообще, — при виде этого почти чужого лица Матвею стало как-то обидно... Ему казалось, что Дыма становится чужим...

XI

И, действительно, с следующего утра стало заметно, что у Ивана Дымы начал портиться характер...

Когда он проснулся, то прежде всего, наскоро одевшись, подошёл к зеркалу и стал опять закручивать усы кверху, что делало его совсем не похожим на прежнего Дыму. Потом, едва поздоровавшись с Матвеем, подошёл к ирландцу Падди и стал разговаривать с ним, видимо гордясь его знакомством и как будто даже щеголяя перед Матвеем своими развязными манерами. Матвею казалось, однако, что остальные американцы глядят на Дыму с улыбкой.

Компания жильцов мистера Борка была довольно разнообразна. Были тут и немцы, и итальянец, и два-три англичанина, и несколько ирландцев. Часть этих людей казалась Матвею солидными и серьёзными. Они вставали утром, умывались в ванной комнате, мало разговаривали, пили в соседней комнате кофе, которое подавали им Роза с Анной, и потом уходили на работу или на поиски работы. Но была тут и кучка людей, которые оставались на целые дни, курили, жевали табак и страшно плевались, стараясь попадать в камин, иной раз через головы соседей. У них не было определённых часов работы. Иной раз они уходили куда-то гульбой, и тогда звали с собой и Дыму... В разговорах часто слышалось слово Тамани-холл... Дела этой компании, повидимому, шли в это время хорошо. Возвращаясь из своих походов в помещение Борка, они часто громко хохотали... И Дыма хохотал с ними, что Матвею казалось очень противно.

Так прошло ещё два-три дня.

Характер Дымы портился всё больше. Правда, он сделал большие, даже удивительные успехи в языке. За две недели на море и за несколько дней у Борка он уже говорил целые фразы, мог спросить дорогу, мог поторговаться в лавке и при помощи рук и разных движений разговаривал с Падди так, что тот его понимал и передавал другим

его слова... Это, конечно, не заслуживало ещё осуждения. Но Матвея огорчало и даже сердило, что Дыма не просто говорит, а как будто гримасничает и передразнивает кого-то: вытягивает нижнюю губу, жуёт, шипит, картавит... «Взял бы хоть пример с жида, — думал про него Матвей. — Он тоже говорит с американцами на их языке, но — как степенный и серьёзный человек». А Дыма уже и «мистер Борк» произносит как-то особенно картаво, — мисте'г Бег'к. А иной раз, забывшись, он уже и Матвея начинал называть мистер Мэтью... В таких случаях Матвей смотрел на него долгим укоризненным взглядом — и он немного смущался.

В один день, после того как Падди долго говорил что-то Дыме, указывая глазами на Матвея, — они оба ушли куда-то, вероятно, к еврею-лавочнику, который в трудных случаях служил им переводчиком. Вернувшись, Дыма подошёл к Матвею и сказал:

— Послушай, Матвей, что я тебе скажу. Сидим мы здесь оба без дела и только тратим кровные деньги. А между тем, можно бы действительно кое-что заработать.

Матвей поднял глаза и, ничего не говоря, ожидал, что Дыма скажет дальше.

— Вот видишь ли... Тут эти вот шестеро — агенты или, по-нашему, факторы Тамани-холла... Это, видишь ли, такая, скажем себе, компания... Скоро выборы. И они хотят выбрать в мэры над городом своего человека. И всех тогда назначат тоже своих... Ну, и тогда уже делают в городе, что хотят...

— Ну, так что же? — спросил Матвей.

— Так вот они собирают голоса. Они говорят, что если бы оба наши голоса, то они и дали бы больше, чем за один мой... А нам что это стоит? Нужно только тут в одном месте записаться и не говорить, что мы недавно приехали. А потом... Ну, они всё сделают и укажут...

Матвей вспомнил, что раз уже Дыма заговаривал об этом; вспомнил также и серьёзное лицо Борка, и презрительное выражение его печальных глаз, когда он говорил о занятиях Падди. Из всего этого в душе Матвея сложилось решение, а в своих решениях он был упрям, как бык. Поэтому он отказался наотрез.

— Но отчего же ты не хочешь? Скажи! — спросил Дыма с неудовольствием.

— Не хочу, — упрямо ответил Матвей. — Голос дан человеку не для того, чтобы его продавать.

— Э, глупости! — сказал Дыма. — Ведь не останешься же ты после этого без голоса. Даже не охрипнешь. Если

люди покупают, так отчего не продать? Всё-таки не убудет в кошельке, а прибудет...

— А помнишь, как когда-то экономайстер уговаривал нас, чтобы мы подписали его бумагу... Что бы тогда вышло?

— Гм... да... — пробормотал Дыма, немного растерявшись. — Потеряли бы всю чиншевую землю! Так ведь там было что терять. А тут... что нам за дело? Дают, чорт их бей, деньги, и кончено.

Матвей не нашёл, что ответить, но он был человек упрямый.

— Не пойду, — сказал он, — и если хочешь меня послушать, — то и тебе не советую. Не связывайся ты с этим лодырем.

И Матвей без церемонии ткнул пальцем по направлению к Падди, который внимательно следил за разговором и, увидя, что Матвей указывает на него, весело закивал головой. Дыма, конечно, тоже не послушался. — Ну, что ж, — сказал он, — когда ты такой, то работаю один. Всё-таки хоть что-нибудь... И в тот же день он сообщил, что его уже записали...

XII

Письма всё не было, и дни шли за днями. Матвей больше сидел дома, ожидая, когда, наконец, он попадет в американскую деревню, а Дыма часто уходил и, возвращаясь, рассказывал Матвею что-нибудь новое.

— Сегодня Падди сводил меня на кулачную драку, — сказал он однажды. — Ты, Матвей, и представить себе не можешь, как этот народ любит драться. Как только двое заспорят, то остальные станут в круг, — кто с трубкой, кто с старомой, кто с жвачкой, и смотрят. А те сейчас куртки долой, засучат рукава, завертят-завертят руками и — хлоп! Кто половчее, глядишь, а засветил другому фонарь... И притом больше всего любят бить по лицу, в нос, или, если уж не удастся — в ухо. А в темя или под сердце — боже упаси! Но дерутся, заметь, не сердито и, как только один полетит пятками кверху, так его сейчас поднимут, обмоют лицо и опять сядут вместе за игру или там за кружки, как будто бы ничего и не случилось. И начнут говорить, кто как ударил и как бы можно ударить ещё лучше.

— Ну, это правда, — подтвердил Бокс, слышавший рассказ Дымы. — Во всей Америке бокс очень любят! И если ещё, вдобавок, выщутся какие-нибудь необыкновенные силачи, то ездят из города в город и тузят друг друга на

людях за хорошие деньги. И знаете что: в это время за ними ездят газетчики и всё записывают. И даже посылают телеграммы: «в два часа 15 минут 4 секунды Джон подбил Джеку правый глаз, вот таким способом, а через полминуты Джек свалил Джона с ног так-то». И тогда в разных городах люди сидят в ресторанах, а им читают известия. И они спорят: как бы можно ударить Джона или Джека ещё лучше... И что вы думаете: проигрывают на этом большие деньги!

— Лодыри! — сказал на это Матвей...

В один день Дыма пришёл под вечер и сказал, что сегодня они-таки выбрали нового мэра и именно того, кого хотелось Тамани-холлу.

— Жарко было, о вэлл! — сказал он хвастливо. — А всё-таки наша взяла... И знаешь: Падди мне говорит, что много помогли наши «ненастоящие голоса».

В этот день Падди и его компания были особенно веселы и шумны. Они ходили по кабачкам, много пили и угощали Дыму. Дыма вернулся с ними красный, говорил громко, держался особенно развязно. Матвей сидел на своей постели, около газового рожка и, пристроив небольшой столик, читал библию, стараясь не обращать внимания на поведение Дымы.

Однако, через несколько минут, Дыма подошёл к нему и, положив ему руку на плечо, наклонился к его лицу так близко, что от него запахло даже вином.

— Слушай, Матвей, — сказал он каким-то заискивающим голосом. — Вот видишь, что я тебе хочу сказать. Они... хотели бы угостить тебя.

— Спасибо, я не хочу, — ответил Матвей, не отрываясь от книги.

— И видишь, что ещё... Пожалуйста, не прими там как-нибудь... того... в дурную сторону. У всякого народа свой обычай, и в чужой монастырь, как говорится, не ходят со своим уставом.

— К чему ты это ведёшь? — спросил Матвей строго.

— А к тому, что этот Падди хочет с тобой драться...

Матвей даже разинул рот от удивления, и два приятеля с полминуты молча глядели друг на друга. Потом Дыма отвёл глаза и сказал:

— Когда уже у них здесь такой обычай...

— Послушай, Дыма, — сказал Матвей серьёзно. — Почему ты думаешь, что их обычай непременно хорош? А по-моему, у них много таких обычаев, которых лучше не перенимать крещёному человеку. Это говорю тебе я,

Матвей Лозинский, для твоей пользы. Вот ты уже переменял себе лицо, а потом застыдишься и своей веры. И когда придёшь на тот свет, то и родная мать не узнает, что ты был лозищанин.

— Э! — ответил Дыма с неудовольствием. — Где Крым, где Рим, а где панская корчма. С какой стати ты пришёл сюда мою покойницу мать? Мне говорят: скажи, я и сказал. А ты как себе хочешь.

— Ну, так я и говорю: скажи ты своим приятелям, пусть не просят своего бога, чтобы я стал с ними драться...

— Ну, вот видишь, — обрадовался Дыма. — Я им как раз говорил, что ты у нас самый сильный человек не только в Лозищах, но и во всём уезде. А они говорят: ты не знаешь правильного боя.

Дыма отошёл к ирландцам, а Матвей опять обратился к старой библии и погрузился в чтение.

Он стал читать, шевеля губами, о том, как двое молодых людей пришли в Содом к Лоту и как жители города захотели взять их к себе. Потом он поднял голову и начал думать. Он думал о том, что вот они с Дымой как раз такие молодые люди в этом городе. Только у Дымы сразу стал портиться характер, и он сам пошёл к жителям города.

Пока он размышлял таким образом, кто-то вдруг погасил рожок, около которого он сидел. Матвей оглянулся. За ним, недалеко, сидел мистер Падди, ирландец, приятель Дымы, и невинно улыбался.

Матвей достал спичку, зажёл рожок и опять принялся за книгу. Однако, догадавшись, что Падди на этом не кончит, — он тотчас оглянулся. Падди стоял сзади и уже вытянул рот, чтобы дунуть на огонь из-за плеча Матвея.

Матвей не очень сильно двинул локтем, и Падди упал на постель.

— All right (хорошо), — сказал он, подымаясь и скидая куртку.

— Very well (отлично), — сказали его товарищи, отодвигая стулья и подходя к тому месту.

— Аль райт, — повторил за другими и Дыма как-то радостно. — Теперь выходи, Матвей, на середину и, главное, защитай лицо. Он будет бить по носу и в губы. Я знаю его манеру.

Но Матвей, как ни в чём не бывало, сел опять и раскрыл свою книгу.

Ирландцы были озадачены. Однако, так как у них на всё есть свои правила, то вскоре Падди стал подходить к Матвею, приседая и вертя кулаками, точно мельницей.

«Ну, делать нечего, — подумал Матвей, — если уж ты сам этого хочешь».

И не успел ещё Падди изловчиться, как уже сильный лозищанин встал во весь рост, как медведь на охотника, поднял над головой Падди обе руки, потом сгрёб его за густые, хотя и не длинные волосы, нагнул и, зажав голову коленями, несколько раз шлёпнул очень громко по мягкому месту.

Всё это случилось так быстро, что никто не успел и оглянуться. А когда Падди поднялся, озираясь кругом, точно новорожденный младенец, который не знает, что с ним было до этой минуты, — то все невольно покатались со смеху.

На несколько минут большая комната мистера Борка оглашалась только хохотом на разные лады и разными голосами. Даже длинный американец, с сухим лицом и рыжей бородой в виде лопатки, человек в очень потёртом клетчатом костюме, на высохшем и морщинистом лице которого никогда не видно было даже подобия улыбки, теперь делал какие-то невероятные гримасы, как будто хватил нечаянно уксусу, и из его горла вылетало что-то такое, как будто он сильно заикался. А один безусый юноша, недавно занявший последнюю кровать у мистера Борка, кинулся на свою постель и хохотал звонко, неудержимо, лягая в воздухе ногами, как будто боялся, что иначе смех задушит его насмерть. На этот шум из других комнат прибежали сначала Роза, а потом и Анна. Роза видела только, как Падди оглядывался по комнате, и всё-таки упала на стул у двери, свесив руки и закинув голову от смеха. А Анна уже ничего не видела, но всё-таки смеялась, заражённая общим хохотом и глядя на сухопарого американца, который всё ещё икал и как будто давился.

Дыма тоже смеялся и сначала очень гордился своим приятелем. — А, что! Я говорил вам, — сказал он, поворачиваясь к смеющимся американцам и забывая даже перевести свои слова. — Га! Вот как дерутся у нас в Лозишах. — Но после, когда смех постепенно утих и все принялись горячо обсуждать случившееся, лицо Дымы стало омрачаться, и через некоторое время он сказал так, что Матвей расслышал ясно его слова:

— Хорошо, нечего сказать: драться, точно медведь у берлоги... Это стыд перед образованными людьми...

— Ничего, — ответил Матвей спокойно, опять, как ни в чём не бывало, принимаясь за библию, — хоть по-медвежьи, а здорово. В другой раз твой Падди будет знать...

Ирландцы пошумели ещё некоторое время, потом расступились, выпустив Падди, который опять вышел вперёд и пошёл на Матвея, сжав плечи, втянув в них голову, опустивши руки и изгибаясь, как змея. Матвей стоял, глядя с некоторым удивлением на его странные ужимки, и уже опять было приготовился повторить прежний урок, как вдруг ирландец присел; руки Матвея напрасно скользнули в воздухе, ноги как будто сами поднялись, и он полетел через постель на спину.

Кровать затрещала, и огромный лозищанин свалился на пол.

— All right! — одобрительно раздалось в кучке ирландцев, а Падди, довольный, стал надевать свою куртку. Но в это время Матвей тяжело поднялся из-за кровати.

Его нельзя было узнать: всегда кроткие глаза его теперь глядели дико, волосы торчали дыбом, зубы скрипели, и он озирался, что бы ему взять в руку.

Ирландцы взяли Падди в середину и сомкнулись тревожно, как стадо при виде медведя. Все они глядели на этого огромного человека, ожидая чего-то страшного, тем более, что Дыма тоже стоял перепуганный и бледный...

Трудно сказать, что было бы дальше, но в эту минуту Анна перебежала через комнату и схватила Матвея за руку.

— Для бога, — сказала она только. — О, для бога!..

Матвей поглядел на неё сначала мутным, непонимающим взглядом, но через несколько секунд тяжело перевёл дух. Потом отвернулся и сел к окну.

Ирландцы успокоились. Падди хотел даже подойти к Матвею и протянул руку, но Дыма остановил его, и они оставили Матвея в покое.

А за окном весь мир представлялся сплошною тьмой, усеянной светлыми окнами. Окна большие и окна маленькие, окна светились внизу, и окна стояли где-то высоко в небе, окна яркие и весёлые, окна чуть видные и будто прижмуренные. Окна вспыхивали и угасали, наконец, ряды окон пролетали мимо и в них мелькали, проносились и исчезали чьи-то фигуры, чьи-то головы, чьи-то едва видные лица...

XIII

Поздним вечером Дыма осторожно улёгся в постель рядом с Матвеем, который лежал, заложив руки за голову, и о чём-то думал, уставивши глаза и сдвинувши брови. Все уже спали, когда Дыма, собравшись с духом, сказал:

— И чего бы, кажется, сердиться на приятеля... Разве я тут виноват... Если уже какой-нибудь поджарый Падди может повалить самого сильного человека во всех Лозищах... Га! Это значит, такая уже в этой стороне во всём образованность... Тут сердиться нечего, ничего этим не поможешь, а видно надо как-нибудь и самим ухитриться... Индейский удар! Это у них, видишь ли, называется индейским ударом...

Матвей поднялся на постели, повернул лицо к Дыме и спросил:

— А ты, Дыма Лозинский, знал вперёд, что они мне приготовили эту индейскую штуку?..

— А... разве я уже всё понимаю по-английски, — отвечал Дыма уклончиво. И затем, обрадовавшись, что Матвей говорит спокойно, он продолжал уже смелее: — Вот, знаешь что, — сходим завтра к этому цырюльнику. Приведи ты и себя, как это здесь говорится, в порядок, и конечно. Ей-богу, правда! — прибавил он сладким голосом и уже собираясь заснуть.

Но вдруг он с испугом привскочил на кровати. Матвей тоже сидел. При свете с улицы было видно, что лицо его бледно, волосы стоят дыбом, глаза горят, а рука приподнята кверху.

— Слушай ты, Дыма, что тебе скажет Матвей Лозинский. Пусть гром разобьёт твоих приятелей, вместе с этим мерзавцем Таманиголлом, или как там его зовут! Пусть гром разобьёт этот проклятый город и выбранного вами какого-то мэра. Пусть гром разобьёт и эту их медную свободу, там на острове... И пусть их возьмут все черти, вместе с теми, кто продаёт им свою душу...

— Тише, пожалуйста, Матвей, — пробовал остановить его Дыма. — Люди спят, и здесь не любят, когда кто кричит ночью...

Но Матвей не остановился, пока не кончил. А в это время действительно и ирландцы повскакали с кроватей, кто-то зажёл огонь, и все, проснувшись, смотрели на расвирепевшего лозищанина.

— Смотрите, не смотрите, а это правда, — сказал он, повернувшись к ним и грозя кулаком, и затем снова повалился на постель.

Американцы стали тревожно разговаривать между собой и потом, потребовав Дыму, спрашивали у него, в своём ли уме его приятель и не грозит ли им ночью от него какая-нибудь опасность. Но Дыма их успокоил: теперь Матвей будет спать и никому ничего не сделает. Он человек доб-

рый, только не знает образованности, и теперь его дня два не надо трогать... Тогда американцы тихо разошлись по своим постелям, оглядываясь на Матвея. Погасили огни, и в комнате мистера Борка водворилась тишина. Только огни с улицы светили смутно и неясно, так что нельзя было видеть, кто спит и кто не спит в помещении мистера Борка.

XIV

Матвей Лозинский долго лежал в темноте с открытыми глазами и забылся сном уже перед утром, в тот серый час, когда заснули совсем даже улицы огромного города. Но его сон был мучителен и тревожен; он привык уважать себя и не мог забыть, что с ним сделал негодяй Падди. И как только он начинал засыпать, — ему снилось, что он стоит, не способный двинуть ни рукой, ни ногой, а к нему, приседая, подгибая колени и извиваясь, как змея, подходит кто-то, — не то Падди, не то какой-то курчавый негр, не то Джон. И он не может ничего сделать, и летит куда-то среди грохота и шума, и перед глазами его мелькает испуганное лицо Анны.

Потом вдруг всё стихло, и он увидел еврейскую свадьбу; мистер Мозес из Луисвилля, еврей очень неприятного вида, венчает Анну с молодым Джоном. Джон с торжествующим видом топчет ногой рюмку, как это делается на еврейской свадьбе, а кругом, надрываясь, все в поту, с вытаращенными глазами, ирландцы гудят и пищат на скрипичах, и на флейтах, и на пузатых контрабасах... А недалеко, задумчивый и недоумевающий, стоит Берко и говорит:

— Ну, что вы на это скажете?.. И как вы это можете допустить?..

Матвей заскрежетал во сне зубами, так что Дыма проснулся и отодвинулся от него со страхом... — Гей-гей! — закричал Матвей во сне... — А где же тут христиане? Разве не видите, что жида захватили христианскую овечку!..

Дыма отодвинулся ещё дальше, слушая бормотание Матвея, — но тот уже смолк, а сон шёл своим чередом... Бегут христиане со всех сторон, с улиц и базаров, из шинков и от возов с хлебом. Бегут христиане с криком и шумом, с камнями и дреколлем... Быстро запираются двери домов и лавочек, звякают стёкла, слышны отчаянные крики женщин и детей, летят из окон еврейские бебехи и всякая рухлядь, пух из перин кроет улицы, точно снегом...

Потом и это затихло, и в глубоком сне к Матвею подошёл кто-то и стал говорить голосом важным и почтенным что-то такое, от чего у Матвея на лице даже сквозь сон проступило выражение крайнего удивления и даже растерянности.

И на этом он проснулся... Ирландцы спешно пили в соседней комнате утренний кофе и куда-то торопливо собирались. Дыма держался в стороне и не глядел на Матвея, а Матвей всё старался вспомнить, что это ему говорил кто-то во сне, тёр себе лоб и никак не мог припомнить ни одного слова. Потом, когда почти все разошлись и квартира Борка опустела, — он вдруг поднялся наверх, в комнату девушек.

Там он застал Джона. В последние дни молодой человек нередко заходил туда, просиживал по полчаса и более и что-то оживлённо рассказывал Анне. На этот раз, поднимаясь по лестнице, Матвей опять услышал голос молодого человека.

— Ну, вот видите, — говорил он, — так-то здесь живут, в новом свете, что? Разве плохо?

Увидя Матвея, он скоро попрощался и выбежал, чтобы поспеть к поезду, а Матвей остался. Лицо его было немного бледно, глаза глядели печально, и Анна потупилась, ожидая, что он скажет. Обе девушки посмотрели на него как-то застенчиво, как будто невольно вспоминали об индейском ударе и боялись, что Лозинский догадается об этом. Он тяжело присел на постель, посмотрел на Анну немного растерянным взглядом и сказал:

— Хочешь ли ты, сирота, послушать, что тебе скажет Матвей Лозинский?

— Говорите, пожалуйста. Я вас считаю за родного, — тихо ответила девушка, которая старалась показать Матвею, что она не перестала уважать его после вчерашнего случая.

Матвей мучительно задумался и сказал.

— Мало хорошего в этой стороне, малютка. Поверь ты мне, — мало хорошего... Содом и Гоморра.

Роза невольно улыбнулась, но он говорил так печально, что у Анны навернулись на глаза слезы. Она подумала, что, по рассказам Джона, в Америке, не так уж плохо, если только человек сумеет устроиться. Но она не возражала и сказала тихо:

— Что же теперь делать?

— А! Что делать! Если бы можно, надел бы я котомку на плечи, взял бы в руки палку, и пошли бы мы с тобой

назад, в свою сторону, хотя бы христовым именем... Лучше бы я стал стучаться в окна на своей стороне, лучше стал бы водить слепых, лучше издох бы где-нибудь на своей дороге... На дороге или в поле... на своей стороне... Но теперь этого нельзя, потому что...

Он потёр себе лоб и сказал:

— Потому что море... А письма от Осипа не будет... И сидеть здесь, сложа руки... ничего не высидим... Так вот, что я скажу тебе, сирота. Отведу я тебя к той барыне... к нашей... А сам посмотрю, на что здесь могут пригодиться здоровые руки... И если... если я здесь не пропаду, то жди меня... Я никогда ещё не лгал в своей жизни и... если не пропаду, то приду за тобою...

— Нехорошо вы придумали! — горячо сказала на это молодая еврейка. — Мы эту барыню знаем... Она всегда старается нанимать приезжих.

— Бог наградит её за это, — сказал Матвей сухо.

— Но это потому... — сбиваясь, сказала Роза, — что она платит очень мало...

— С голоду не уморит...

— И заставляет очень много работать.

— Бог любит труд...

Матвей посмотрел на Розу высокомерным и презрительным взглядом. Молодая еврейка хорошо знала этот взгляд христиан. Ей казалось, что она начала дружить с Анной и даже питала симпатию к этому задумчивому волынцу с голубыми глазами. Но теперь она вспыхнула и сказала:

— Делайте, как себе хотите... — И она вышла из комнаты...

— Наше худое лучше здешнего хорошего. — сказал Матвей поучительно, обращаясь к Анне. — Собери свои вещи. Мы пойдём сегодня.

Анна вздохнула, однако, покорно стала собираться. Матвею не понравилось, что, уходя из помещения мистера Борка, она крепко поцеловалась с еврейкой, точно с сестрой.

XV

В этот день наши опять шли по улицам Нью-Йорка, с узлами, как и в день приезда. Только в этот раз с ними не было Дымы, который давно расстался с своей белой свитой, держался с ирландцами и даже плохо знал, что затевают земляки. Зато Матвей и Анна остались точь-в-точь, как были: на нём была та же белая свита с шнурами, на

ней — беленький платочек. Молодой Джон тоже считал очень глупым то, что надумал Матвей. Но, как американец, он не позволял себе мешаться в чужие дела и только посвистывал от досады, провожая Матвея и Анну.

Сначала шли пешком, потом пара лошадей потащила их в огромном вагоне, потом поднимались наверх и летели по воздуху. Из улицы в улицу — ехали долго. Пошли дома поменьше, попроще, улицы пошли прямые, широкие и тихие.

На одном углу наши вышли и пошли прямо. Если бы поменьше камня, да если бы кое-где из-под камня пробивалась мурава, да если бы на середине улицы сидели ребята с задранными рубашонками, да если бы кое-где корова, да хотя один домишко, вросший окнами в землю и с провалившейся крышей, — то, думалось Матвею, улица походила бы, пожалуй, на нашу. Только здесь все дома были как один: все в три этажа, все с плоскими крышами, у всех одинаковые окна, одинаковые крылечки, с одинаковым числом ступенек, одинаковые выступы и карнизы. Одним словом, вдоль улицы ряды домов стояли, как родные братья-близнецы, — и только чёрный номер на матовом стекле, над дверью, отличал их один от другого.

Джон посмотрел в свою записную книжку, потом разыскал номер и прижал пуговку у двери. В квартире что-то затрещало. Дверь отворилась, и наши вошли в переднюю.

Старая барыня, ждавшая мужа, сама отперла дверь. Она, как оказалось, мыла полы. Очки у неё были вздёргнуты на лоб, на лице виднелся пот от усталости, и была она в одной рубашке и грязной юбке. Увидев пришедших, она оставила работу и вышла, чтобы переодеться.

— Смотри, — шепнул Матвей Анне, — вот как здесь живётся нашим господам, — что уж говорить о простых людях.

— Ну, — ответил Джон, — вы ещё не знаете этой стороны, мистер Мэтью. — И с этими словами он прошёл в первую комнату, сел развязно на стул, а другой подвинул Анне.

Матвей строго посмотрел на невежливого молодого человека, и оба с Анной остались на ногах у порога. Матвей невзлюбил молодого еврея ещё с тех пор, как говорил с ним о религии. А затем он не мог не заметить, что Джоч частенько остаётся дома, с сестрой, помогает девушкам по хозяйству и поглядывает на Анну. Нужно сказать, что девушка была хороша: голубые глаза, большие и ясные, кроткий взгляд, приветливая улыбка и нежное лицо, немного, правда, побледневшее от дороги и от неизвестно-

сти. Никто из бездельников, живших у Борка, ни разу не позволил себе с девушкой ни одной вольности. Однако, не считая Дымы, который вывёртывался перед нею в своих диковинных пиджаках, — ещё и Падди тоже старался всячески услужить ей, когда встречался в коридоре или на лестнице. А тут ещё Джон и рассказы Борка о Мозесе... Чего доброго, — думал Матвей, — ведь в этом Содоме никто не смотрит за такими делами. Вот Дыма — давний и испытанный приятель, но и у него характер совершенно изменился в какую-нибудь неделю. Что же может случиться с молоденькой, неопытной девушкой, немного ещё, может быть, и легкомысленной, как все дочери Евы... Дурного, положим, она не сделает... Но ведь здесь и хорошее тоже ни чорта не стоит, а девушка молода, неопытна и испугана.

Вспомнив, вдобавок, свой сон, Матвей даже вздохнул и оглянулся. Слава богу, — вот квартира старой барыни, которая возьмёт к себе Анну. Всё нравилось Матвею в этой квартире. В первой комнате стоял стол, покрытый скатертью, в соседней виднелась кровать, под пологом, в углу большой знакомый образ Почаевской божией матери, которую в нашем Западном крае чтут одинаково католики и православные. За образом была воткнута восковая свеча и пучок сухих веток. Вербя не верба, а всё-таки был виден наш обычай, и у Матвея стало теплее на сердце... Поэтому он сначала заложил руку за пояс и очень гордо посмотрел на молодого еврея... Но тотчас же ему пришлось смиренно согнуться почти до земли, потому что в комнату вошла барыня, одетая, с очками на носу, с вязанием в руках. Вид у неё был спокойный и даже величавый, так что Матвею было даже странно вспомнить, что он видел её сейчас за мытьём полов. Она села на стул, досчитала петли, передернула спицу и сказала почтительно ожидавшим Матвею и Анне, не кивнув даже Джону:

— Ну, что скажете?

— К вашей милости, — ответили оба в один голос.

— Тебя, кажется, зовут Анной?..

— Анной, милостивая пани.

— А тебя... Матвеем?

Лицо Матвея расцвело приятной улыбкой.

— А что же тот... Третий?..

Матвей махнул рукой:

— А! Не знаю уж, что и сказать... Поступил на службу или уж как... к какому-то здешнему... Таманиголлау.

Барыня жалостно посмотрела на Матвея и покачала головой.

— Хороший господин, нечего сказать! Шайка мошенников!

— О господи, — вздохнул Лозинский.

— В этой стороне всё наыворот, — сказала опять барыня. — У нас таких молодцов сажают в тюрьмы, а здесь они выбирают висельников в городские мэры, которые облагают честных людей налогами.

Матвей вспомнил, что и Дыма выбирал мэра, и вздохнул ещё глубже. У барыни спиды забегали быстрее, — было видно, что она начинает чего-то сердиться...

— Ну, что же ты мне скажешь, моя милая? — спросила она как-то едко, обращаясь к Анне. — Ты пришла наниматься или, может быть, тоже поищешь себе какого-нибудь Тамани-голла?..

— Она — девушка честная, — вступился Матвей.

— А! Видела я за двадцать лет много честных девушек, которые через год, а то и меньше пропадали в этой проклятой стране. Сначала человек как человек: тихая, скромная, послушная, боится бога, работает и уважает старших. А потом... Смотришь, — начала задирать нос, потом обвешается лентами и тряпками, как ворона в павлиньих перьях, потом прибавляй ей жалованье, потом ей нужен отдых два раза в неделю... А потом уже барыня служи ей, а она хочет сидеть, сложа руки...

— Господи упаси! Где же это видано?.. — сказал с ужасом Матвей.

Молодой Джон сидел на стуле, вытянув ноги и заложив руки в карманы, с видом человека, скучающего от этих разговоров.

— Ну, чорт ещё не так страшен, как его малюют, — сказал он...

Барыня замолкла, даже перестала вязать и устремила внимательный взгляд на Джона, который поднял беспечно голову к потолку, как будто разглядывая там что-то интересное. Несколько секунд стояло молчание, барыня и Матвей укоризненно смотрели на молодого еврея. Анна покраснела.

— А всё отчего? — начала опять барыня спокойно. — Всё оттого, что в этой стране нет никакого порядка. Здесь жид Берко — уже не Берко, а мистер Борк, а его сын Иоська превратился в ясновельможного Джона...

— Чистая правда, — сказал Матвей с убеждением. — Слышишь, Анна?

Девушка с некоторым удивлением посмотрела на Матвея и покраснела ещё больше. Ей казалось, что, хотя, ко-

нечно, Джон еврей, и сидит немного дерзко, но что говорить так в глаза не следует...

— Да, всё здесь перемешалось, как на Лысой горе, — продолжала барыня, — правду говорит один мой знакомый: этот новый свет как будто сорвался с петель и легит в преисподнюю.

— И это святая правда, — подтвердил Матвей.

— Я вижу, что ты человек разумный, — сказала барыня снисходительно, — и понимаешь это... То ли, сам скажи, у нас?.. Старый наш свет стоит себе спокойно... люди знают своё место... жид так жид, мужик так мужик, а барин так барин. Всякий смиренно понимает, кому что назначено от господа... Люди живут и славят бога...

— Ну, эту историю надо когда-нибудь кончить, — сказал Джон, поднимаясь.

— Ах, извините, мистер Джон, — усмехнулась барыня. — Ну, что ж, моя милая, надо и в самом деле кончать. Я возьму тебя, если сойдемся в цене... Только вперёд предупреждаю, чтобы ты знала: я люблю всё делать по-своему, как у нас, а не по-здешнему.

— Это и всего лучше, — вставил Матвей.

— Я за тебя отвечаю перед людьми и перед богом. По воскресеньям мы станем вместе ходить в храм божий, а на эти митинги и балы — ни ногой.

— Слушай барыню, Анна, — сказал Матвей. — Барыня тебя худому не научит... И уж она не обидит сироту.

— Пятнадцать долларов в месяц считается — здесь совсем низкой платой, — сказал Джон, глядя на часы, — пятнадцать долларов, отдельная комната и свободный день в неделю.

Барыня, всё так же спокойно продолжая вязанье, кинула на Джона уничтожающий взгляд и сказала Ачме:

— Знаешь ты, что значит доллар?

— А это два рубля, милостивая госпожа, — ответил за Анну Матвей.

— Ты служила уже где-нибудь?

— Служила... горничной у г-жи Залесской.

— Сколько получала?

— Шесть рублей.

— Много что-то для нашей стороны, — вздохнула барыня. — В моё время такой платы не знали... А здесь, если хочешь получить тридцать, — то поди вот к нему. Он тебе даст тридцать рублей, отдельную комнату и сколько хочешь свободного времени... днём...

Краска опять залила лицо Анны, а барыня, посмотрев на нее поверх очков, прибавила, обращаясь к Матвею:

— Недалеко ходить: на этой же улице живёт христианская девушка у еврея. И уже бог благословил их ребёнком.

— Вы же знаете, что они обвенчаны, — сказал Джон сердито.

— Обвенчаны, конечно!.. Кто же их это обвенчал, скажи, пожалуйста?

— Их обвенчали в мэрии, вы знаете.

— Ну, вот видите, — обратилась барыня к Матвею. — Они это называют венчанием...

Матвей с ненавистью взглянул на еврея и сказал:

— Девушка останется у вас.

И потом, посмотрев на Анну, он добавил мягким тоном:

— Она, сударыня, круглая сирота... Грех её обидеть.

Барыня, перебирая спицы, кивнула головой. Между тем, Джон, которому очень не понравилось всё это, а также и обращение с ним Матвея, надел шляпу и пошёл к двери, не говоря ни слова. Матвей увидел, что этот неприятный молодой человек готов уйти без него, и тоже заторопился. Наскоро попрощавшись с Анной и поцеловав у барыни руку, он кинулся к двери, но ещё раз остановился.

— А что... извините... я спросил бы у вас?

— Что такое?

— Не найдётся ли и мне у вас местечка? За дешёвую плату... Может по двору, в огороде или около лошади? Угла бы я у вас где-нибудь в сарае не пролежал и цену бы взял пустую? А?.. Чтобы только не издохнуть...

— Нет, милый. Какие огороды! Какие лошади! Здесь сенаторы садятся за пять центов в общественный вагон рядом с последним оборванцем...

— Ну, прошу прощения... А где же?..

И, не кончив, Матвей торопливо выбежал на крыльцо, чтобы не потерять из виду Джона.

XVI

На крыльце неприятного молодого человека уже не было, но кто-то мелькнул за углом. Матвей побежал туда, хотя ему и показалось, что это в другой стороне. Повернув ещё за угол, он догнал шедшего человека, но в этой стороне люди, как и дома, похожи друг на друга. На незнакомце был такой же котелок на голове, такая же тросточка в руках, такая же походка, как и у Джона, но лицо

человека, повернувшегося к Матвею, было совсем чужое, удивлённое и незнакомое. Матвей остолбенел и провожал взглядом уходящего незнакомца, а на Матвея с обеих сторон улицы глядели занавешенные окна домов, похожих друг на друга, как две капли воды.

Матвей попробовал вернуться. Он ещё не понимал хорошенько, что такое с ним случилось, но сердце у него застучало в груди, а потом начало как будто падать. Улица, на которой он стоял, была точь-в-точь такая, как и та, где был дом старой барыни. Только занавески в окнах были опущены на правой стороне, а тени от домов тянулись на левой. Он прошёл квартал, постоял у другого угла, оглянулся, вернулся опять и начал тихо удаляться, всё оглядываясь, точно его тянуло к месту или на ногах у него были пудовые гири.

А в это время молодого Джона зазирила совесть, что он так невежливо бросил Матвея. Он быстро вернулся, позвонил и довольно сердито попросил выслать Лозинского, потому что ему некогда ждать: время — деньги.

Старая барыня посмотрела на него с удивлением, Анна, которая успела уже снести свой узел в кухню и, подёрнув подол юбки, принималась за мытьё пола, покинутого барыней, — наскоро оправившись, тоже выбежала к Джону. Все трое стояли на крыльце и смотрели и направо, и налево. Никого не было видно, похожего на Матвея, на тихой улице.

— Ну, он, верно, пошёл на станцию другой дорогой, — сказал Джон.

Анна недоверчиво покачала головой.

— Нет, — сказала она, — он не знает здесь никакой дороги.

Она посмотрела на улицу, на ряды однообразных домов, и на глазах у неё появились слёзы.

— Ну, милая, — сказала барыня, — глядеть теперь нечего... Ничего не высмотришь... Да и не затем я взяла тебя... Там пол стоит недомытый.

— Может быть... он вернётся? — сказала Анна.

— Что же! Ты так и будешь стоять тут до вечера? — спросила барыня, уже немного раздражаясь.

— Он у меня один только близкий человек в этой стороне, — произнесла Анна тихо.

— Ну, и слава богу, что только один, — ответила барыня. — Для молодой девушки и одного слишком много.

Анна кинула последний взгляд на улицу. За углом мелькнула фигура Джона, расспрашивавшего какого-то про-

хожего. Потом и он исчез. Улица опустела. Анна вспомнила, что она не оставила себе даже адреса мистера Борка и что она теперь так же потеряна здесь, как и Матвей.

Вскоре дверь за нею захлопнулась, и дом старой барыни, недавно ещё встревоженный, стоявший с открытою дверью и с людьми на крыльце, которые останавливали распросами прохожих, — опять стал в ряд других, ничем не отличаясь от соседей: та же дверь с матовым стеклом и чёрный номер: 1235.

Между тем, недалеко в переулке один из прохожих, которого расспрашивал Джон, наткнулся на странного человека, который шёл, точно тащил на плечах невидимую тяжесть, и всё озирался. Американец ласково взял его за рукав, подвёл к углу и указал вдоль улицы:

— Тэрти-файф, тэрти-файф (тридцать пятый), — сказал он ласково, и после этого, вполне уверенный, что с таким точным указанием нельзя уже сбиться, — побежал по своему спешному делу, а Матвей подумал, оглянулся и, подойдя к ближайшему дому, позвонил. Дверь отворила незнакомая женщина, с лицом в морщинах и с чёрными буклями по бокам головы. Она что-то сердито спросила — и захлопнула дверь.

То же случилось в следующем доме, то же в третьем. На углу он подумал, что надо повернуть, и он повернул, опять повернул и, увидя фонтан, мимо которого, как ему казалось, они проходили час назад, повернул ещё раз. Перед ним вновь была такая же улица, только тени опять перебросились на правую сторону, а солнце прямо било в занавески на левой... Издали, точно где-то за горой, храпел поезд... Матвей остановился на середине улицы, как барка, которую сорвало с причала и несёт куда-то по течению, и, без надежды найти жильё старой барыни, пошёл туда, откуда слышался шум. А в это время, по улице, через которую только что прошёл лозищанин, опять пробежал молодой Джон, совсем встревоженный и огорчённый. № 1235 опять отворился, и опять на крыльце стояли две женщины с молодым человеком, советуясь и озираясь кругом. У Анны на глазах стояли слёзы, Джон сконфуженно пожимал плечами.

Поздно вечером, заплаканная и грустная, Анна кончила работу своего первого дня на службе. Работы было много, так как более двух недель уже барыня обходилась без прислуги. Вдобавок, в этот день у барыни обыкновенно вечером играли в карты жильцы её и гости. Засиделась

далеко за полночь, и Анна, усталая и печальная, ждала в соседней комнате, чтобы быть готовой на первый зов.

Расходясь, гости благодарили хозяйку за приятный вечер.

— А! Право, только у вас и почувствуешь себя иной раз, точно на родине, — сказал один из гостей, целуя у хозяйки руку. — И как вы это всё умеете устроить?

— О, она у меня истинная волшебница!.. — сказал с гордостью муж старой барыни, человек круглый, седой, с пробритой в середине бородкой и торчавшими по бокам седыми баками. — А заметили вы новую горничную?

— Как не заметить. Наверное, из наших стран. Такие хорошие, покорные глаза. О, наш народ ещё не испорчен.

— Скажите лучше: не всё ещё испорчен. Есть уже и у нас эти карикатуры на господ. Даже в деревню уже проникает пиджак, заменяя живописные костюмы простого народа.

— Да! А девушка, действительно, приятная; нет этого вызывающего нахальства, этого... как бы сказать... Ну, одним словом, приятно, когда видишь человека, занимающего свое место.

— Надолго ли только! — вздохнула барыня. — Пóртится всё это здесь необыкновенно скоро. И не знаешь, просто откуда.

— В воздухе, в воздухе... вроде эпидемии, — сказал один из жильцов, весело засмеявшись... — И, проходя в свою комнату, он благосклонно ущипнул Анну за подбородок...

А в бординг-гоузе мистера Борка в этот вечер долго стоял шум. Несмотря на то, что у Дымы испортился характер, ему теперь было очень совестно и жалко Матвея, и он чувствовал себя виноватым. Отправляясь на чужую сторону, они сговорились жить и пропадать вместе. Голова — Дымы; сила, руки и ноги — Матвея. Теперь ноги одни ходили по свету в то время, как голова путалась с чужими людьми. Совесть у Дымы проснулась, Дыма кричал, Дыма проклинал Джона, себя и своих приятелей и даже толкнул Падди, когда тот сунулся с какой-то шуткой. Падди обиделся и вызвал Дыму на единоборство. Дыма сначала послал его к чорту; но Падди пустил ему немного крови из носу, — тогда он сам стал совать руками, куда попало... Чувствуя, однако, что и голове приходится плохо без сильной руки товарища, он схватил стул, стал кричать, что ему наплевать на все правила, и сильно уронил себя во мнении Падди... Ночью он вскакивал с постели и даже плакал.

Но это, конечно, не помогло. Приятель потонул в огромном городе, точно иголка на пыльном проезжем шляху...

XVII

Впоследствии, по причинам, которые мы изложим дальше, Матвей Лозинский из Лозищей стал на несколько дней самым знаменитым человеком города Нью-Йорка, и каждый шаг его в эти дни был прослежен очень точно. Прежде всего, человека в странной белой одежде видели идущим на 4-й авеню, потом он долго шёл пешком под настилкой воздушной дороги, к Бруклинскому мосту. Казалось, его тянуло туда, гделюднее и гуще. На углу Бродвея и какого-то переулка он вошёл в булочную и, указав на огромный кусок белого хлеба, протянул руку с деньгами на ладони. Он говорил что-то продавцу-немцу и даже, когда тот отдавал сдачу, старался схватить его за руку и тянулся к ней губами. Немец вырвал руки и занялся другими покупателями. Человек постоял, посмотрел на булочника грустными глазами, пытался ещё говорить что-то и вышел на улицу.

Это был час выхода вечерних газет. На небольшой площадке, невдалеке от огромного здания газеты «Tribune», странный человек зачерпнул воды у фонтана и пил её с большой жадностью, не обращая внимания на то, что в грязном водёме два маленьких оборванца плавали и ныряли за никелевыми и медными монетками, которые им на пстеху кидали прохожие. Бесчисленное количество газетных мальчишек, ожидавших выхода номера и развлекавшихся пока чем попало, разделили своё внимание между этими водолазами и странно одетым человеком, которого они засыпали целой тучей звонких острот. В это время через площадку проходил газетный репортёр-иллюстратор и наскоро набросал эту сцену в своей книжке. Без сомнения, если бы этот джентльмен мог провидеть будущее, он постарался бы сделать свой рисунок как можно точнее. Но, во-первых, он очень торопился, и ему пришлось поэтому заканчивать набросок с памяти, а во-вторых, он был введён в заблуждение присутствием нырявших мальчишек, которых причислил к семейству незнакомца. Наконец, он не знал, на что собственно может пригодиться его эскиз, так как странный незнакомец не мог ответить ничего на самые обыкновенные вопросы.

— *Your nation?* — спросил репортёр, желая узнать, какой Матвей нации.

— Как мне найти мистера Борка? — ответил тот.

— Your name (ваше имя)?

— Он тут где-то... имеет помещение. Наш... могилёвский жид.

— How do you like this country? — Это значило, что репортёр желал знать, как Матвею понравилась эта страна, — вопрос, который, по наблюдениям репортёров, обязаны понимать решительно все иностранцы...

Но незнакомец не ответил, только глядел на газетного джентльмена с такою грустью, что ему стало неловко. Он прекратил расспросы, одобрительно похлопал Матвея по плечу и сказал:

— Very well! Это очень хорошо для вас, что вы сюда приехали: Америка — лучшая страна в мире, Нью-Йорк — лучший город в Америке. Ваши милые дети станут здесь когда-нибудь образованными людьми. Я должен только заметить, что полиция не любит, чтобы детей купали в городских бассейнах.

Затем, с «талантом, отличающим карандаш этого джентльмена», он украсил на рисунке свитку лозищанина несколькими фантастическими узорами, из его волос, буйных, нестриженных и слипшихся, сделал одно целое — вместе с бараньей шапкой и, наконец, всю эту странную причёску, по внезапному и слишком торопливому вдохновению, перевязал тесьмой или лентой. Рост Матвея он прибавил ещё на четверть аршина, а у его ног, в водоёме поместил двух младенцев, напоминавших чертами предполагаемого родителя.

Всё он наскоро снабдил надписью:

«Дикарь, купающий своих детей в водоёме на Бродвее», и затем, сунув книжку в карман и оставляя до будущего времени вопрос о том, можно ли сделать что-либо полезное из такого фантастического сюжета, — он торопливо отправился в редакцию.

Как раз в эту минуту вышло вечернее прибавление, и всё внимание площадки и прилегающих переулков, обратилось к небольшому балкону, висевшему над улицей, на стене Tribune-building (дом газеты «Трибуна»). На этот балкончик выходили люди с кипами газет, брали у толпившихся внизу мальчишек, запрудивших весь переулок, их марки, а взамен кидали им кипы газет. Минут в двадцать всё было кончено. Сотни мальчишек мчали во все стороны десятки тысяч номеров, и их звонкие крики разносились с этого места по огромному городу.

На площадке остался только лозищанин, да два обо-

рванца вылавливали в водоёме последние монеты. Вскоре туда же подошёл ещё высокий господин в партикулярном платье, в серой большой шляпе, в виде шлема, и с короткою палкой в руке, вроде гетманской булавы, украшенной цветным шнурком и кистями. Это был полисмен Гопкинс, лицо хорошо известное всему Нью-Йорку. Полисмен Гопкинс, как сообщалось в тех же газетных заметках, из которых я узнал эту часть моей достоверной истории, был прежде довольно искусным боксёром, на которого ставились значительные пари. Однако в последние годы ему пришлось испытать несколько крупных превратностей, связанных с этой профессией, а одна из них сопровождалась даже раздроблением носовых хрящей, потребовавших серьёзного лечения. Это побудило мистера Гопкинса к перемене рода занятий. Физические данные и любовь к сильным ощущениям решили его выбор, и он предложил свои услуги директору полиции в качестве полисмена. Само собою разумеется, что услуги его были охотно приняты, так как времена наступали довольно бурные: участились стачки и митинги безработных («которыми, — как писала одна благомыслящая газета, — эта цветущая страна обязана коварной агитации завистливых иностранцев»), и всё это открывало новое поле природным талантам мистера Гопкинса и его склонности к физическим упражнениям более или менее рискованного свойства. Увесистый «клуб» из ясеня или дуба даёт, вдобавок, решительное преимущество полисмену перед любым боксёром, и имя мистера Гопкинса опять стало часто мелькать в хронике газет. «Полисмен Гопкинс, известный неумеренным употреблением клуба», — писали в нём рабочие газеты. Зато другие отмечали с восторгом, что «клуб полисмена Гопкинса, как всегда, отбивал баранную дробь на головах анархистов».

Случай пожелал, чтобы дороги знаменитого полисмена и бедного лозищанина встретились два раза. В первый раз это произошло именно у описанного фонтана. Мистер Гопкинс шёл мимо, как всегда, величаво и важно, играя на ходу своим клубом, и его внимательный взгляд остановился на странной фигуре неизвестного иностранца. «Не видя, однако, законных причин для какого бы то ни было личного воздействия», — так рассказывал впоследствии Гопкинс газетным интервьюерам, — он решил только подойти поближе для внимательного осмотра. Но тут незнакомец удивил его своим непонятным поведением: «сняв с головы свой странный головной убор (повидимому, из бараньего меха), он согнул стан таким образом, что голова его при-

шлаась вровень с поясом Гопкинса и, внезапно поймав одной рукою его руку, потянулся к ней губами с неизвестною целью. Гопкинс не может сказать наверняка, что незнакомец хотел укусить его за руку, но не может и отрицать этого».

Вопрос остался невыясненным, так как в это мгновение над поверхностью водоёма появились внезапно головы двух водолазов. Они нырнули при появлении Гопкинса и теперь опять вынырнули в надежде, что он уже прошёл. Это было уже явное нарушение правил благочиния. Полисмен тотчас же взял обоих мальчишек за шивороты, поднял их высоко над землёй и стал встряхивать, точно две мокрые тряпицы. Вид у него в это время был величавый и грозный, и как раз в эту же минуту через площадь пробежал прежний торопливый репортёр. Он остановился, быстро набросал, около прежней фигуры лозищанина, фигуру мистера Гопкинса с двумя дикарёнками в руках и прибавил надпись:

«Полисмен Гопкинс объясняет дикарю, что купание детей в городских водоёмах не согласно с законами этой страны».

Затем, сунув книжку в карман, он рывулся со всех ног к вагону канатной дороги, чтобы поспеть на пожар. В его голове мелькал уже план целой заметки: «Известно, что наш город, величайший в мире, привлекает к себе пришельцев из отдалённейших частей света. На днях мы имели случай наблюдать, как один из этих дикарей...»

Вагон канатной дороги умчал талантливого человека вместе с этим началом, а мистер Гопкинс поставил мальчишек на мостовую, дал им по лёгкому шленку, при одобрительном смехе проходящих, и затем повернулся к незнакомцу. Очень может быть, что мистери Гопкинсу удалось бы лучше выяснить национальность незнакомца, а также и то, «как ему нравится эта страна»... Может быть, даже Матвей в тот же вечер попал бы в объятия Дымы, который весь день бегал с Падди по городу, — если бы... в то время, пока Гопкинс возился с мальчишками, лозищанин не скрылся...

По всему поведению Гопкинса он понял, что это полицейский и даже, повидимому, не из последних. А эта мысль тотчас же привела за собой другую: Матвей вспомнил, что его паспорт остался в квартире Борка... А так как он не знал, что в этой стране даже не понимают хорошенько, что такое паспорт, — то его подрало по спине. Сначала он попятился немного назад, потом ещё, а потом, — как у нас говорится, — взял ноги за пояс и пошёл, не оглядываясь, прочь. С тяжёлой мыслью в голове, что вот он теперь,

вдобавок ко всему, стал и в этой сторсне беспаспортным бродягой, — он смешался с густой толпой на Бродвее.

XVIII

Тут ещё раз лозищанина приласкала надежда. Когда он шёл по людной улице, кто-то тронул его за рукав тихо и ласково. Рядом с ним стоял негр и что-то говорил ему, указывая рукою на стул, который стоял тут же, на панели. Чёрное, лоснящееся лицо, красные губы, сверкающие белки и вьющиеся волосы негра показались Матвею как будто знакомыми. Он даже подумал, — не один ли это из тех бездельников, которые приставали к нему на улице в первый день приезда. Но что же ему нужно теперь? А может быть, он узнал Матвея, может быть, он знает Борка и Дыму, может быть, он видел, что они ищут его по всему городу, и предлагает подождать здесь, а сам пошлёт кого-нибудь за приятелями Матвея?

Действительно, сажая Матвея на стул, негр сказал что-то своему мальчишке, и тот внезапно куда-то провалился. Очевидно, побежал за Дымой или Борком. Матвей радостно сел и кивнул негру головой. Лицо чёрного человека теперь ему очень понравилось: глаза грустные и ласковые, губы добрые. Правда, некрасив и чёрен, зато приветлив и услужлив. Он тоже кивнул Матвею головой, присел у его ног и вздумал, пока что, почистить Матвею сапоги. Матвей сначала противился, а потом подумал, что всякие есть обычаи на свете, пожалуй, как бы негр не обиделся. И он согласился исполнить желание доброго человека, тем более, что, действительно, сапоги совсем порыжели за дорогу. Негр всё так же ласково стал тереть ноги Матвея щётками, мазал сапоги ваксой, плевал, дышал и опять тёр. Минут через пять сапоги Матвея стали, как зеркало. Матвей кивнул головой и опять уселся на стул поудобнее, но негр взял его за рукав и показал большим пальцем на ладонь. Матвей понял, что негр просит «на водку», сошёл со стула и полез в карман.

— И стоит, — сказал он громко. — Верно, что стоит. За такую услугу не знаю, чего бы человек не отдал.

И он вынул из кармана две монеты. Негр взял лишь одну.

— Бери ещё, — сказал Матвей добродушно.

Негр покачал головой. «Вот ведь какой честный народ», — подумал Матвей и опять хотел взгромоздиться на стул, но в это время какой-то господин сел раньше его, а прибежавший мальчишка принёс негру кружку пива. Негр

стал пить пиво, а мальчишка принялся ваксить сапоги ново-прибывшего американца. Волосы у Матвея стали подыматься под шапкой.

— А Дыма, а Борк? — спросил он, обращаясь к старшему негру.

Тот повернулся, поглядел на Матвея, потом указал на его сапоги и сказал:

— Уэлл (хорошо).

— Уэлл, — вспомнил Матвей объяснение Дымы. — Это значит «очень хорошо». Что же тут хорошего? А, проклятый! Он говорит, что хорошо вычистил мои сапоги. Ему только этого и было нужно...

«Собака ты, чёрная собака, — подумал он с горечью. — Человек на тебя надеялся, как на друга, как на брата... как на родного отца! Ты мне казался небесным ангелом... А вместо всего — ты только вычистил мои сапоги...»

И бедный человек пошёл дальше. Сапоги его блестели, как зеркало, но на душе стало ещё темнее...

XIX.

Так вышел он на берег залива. Круглая площадка, на ней — небольшой садик, над головами прохожих вьется по столбам дорога, по дороге пробежал поезд, изогнулся над самым заливом и побежал дальше берегом, скрывшись за углом серого дома и кинувши на воду клуб чёрного дыма. Матвей сел на скамью и стал смотреть на залив. Вода колыхалась, искрилась, сверкала. Невдалеке свистнул пароход и отбежал от берега, нагруженный народом. Глаза Матвея побежали невольно за ним. Пароходик бежал прямо к острову, на котором стояла знакомая медная женщина. Мимо острова в это самое время тихо проплывал гигантский корабль, такой же, как и тот, на котором приехали лозищане. Распущенный флаг плескался по ветру и, казалось, стлался у ног медной женщины, которая держала над ним свой факел... Матвей смотрел, как европейский корабль тихо расталкивает свою грудь волны, и на глаза его просились слёзы... Как недавно ещё он с такого же корабля глядел до самого рассвета на эту статую, пока на ней угасли огни и лучи солнца начинали золотить её голову... А Анна тихо спала, склонясь на свой узел...

Невдалеке от этого места стоит круглое невысокое здание, вроде цирка. Теперь это здание уже заколочено, а прежде, ещё недавно, здесь получали приют эмигранты из Европы, приезжавшие на эмигрантских пароходах.

Если бы Матвей знал это, то, наверное, подошёл бы поближе. А если бы подошёл, то мог бы увидеть, как из ворот, весёлая и нарядная, выходила его сестра Анна, об руку с Осипом Лозинским. Осип одет, как господин, так же, как оделся Дыма, только на Осипе всё уже облежалось и не торчит, как на корове седло. Они вышли и пошли берегом, направо, к пристаням, в надежде, что, может быть, Матвей и Дыма приехали на том эмигрантском корабле из Германии, который только что проплыл мимо «Свободы». А в это время Матвей поднялся и пошёл налево, вдоль берега, за убежавшим поездом.

Часа в четыре странного человека видели опять у моста. Только что прошёл мостовой поезд, локомотив делал поворот по кругу, с лестницы сходила целая толпа приехавших с той стороны американцев, — и они обратили внимание на странного человека, который, стоя в середине этого людского потока, кричал:

— Кто в бога верует, спасите!

Но, разумеется, никто его не понял. Если бы так крикнул кто теперь, в большом американском городе, то, наверное, ему отозвался бы кто-нибудь из толпы, потому что в последние годы корабль за кораблём привозит множество наших: поляков, духоборов, евреев. Они расходятся отсюда по всему побережью, пробуют пахать землю в колониях, нанимаются в приказчики, работают на фабриках. Иным удаётся, иные богатеют, иные пристраиваются к земле, и тогда через несколько лет уже не узнаешь еврейских мальчиков, вырастающих в здоровых фермерских работников. Но многие также терпят неудачи; тогда, обедневшие и испуганные, они опять кидаются в города, цепляются за прежнюю жизнь. Кто разложит на тележке плохие ножики и замочки, кто торгует с рук разной мелочью, кто носит книжки с картинками Нью-Йорка, Ниагары, великой дороги, кто бегаёт на побегушках у своей братии и приезжих. Идёт такой бедняга с дрянным товаром, порой со спичками, только бы прикрыть чем-нибудь своё нищенство, идёт лохматый, оборванный и грязный, с потускневшими и грустными глазами, и по всему сразу узнаёшь нашего еврея, только ещё более несчастного на чужой стороне, где жизнь дороже, а удача встречает не всех.

Но тогда их было ещё не так много, и на несчастье Матвея ему не встретилось ни одного, когда он стоял среди толпы и кричал, как человек, который тонет. Американцы останавливались, взглядывали с удивлением на

странного человека и шли дальше... А когда опять к этому месту стал подходить полисмен, то Лозинский опять быстро пошёл от него и скрылся на мосту...

За мостом он пошёл всё прямо по улицам Бруклина. Он ждал, что за рекой кончится этот проклятый город и начнутся поля, но ему пришлось идти часа три, пока, наконец, дома стали меньше, и между ними, на больших расстояниях, потянулись деревья.

Лозинский вздохнул полной грудью и стал жадными глазами искать полей с жёлтыми хлебами или лугов с зелёной травой. Он рассчитал, что, по-нашему, теперь травы уже поспели для косы, а хлеба должны наливаться, и думал про себя:

— А! Подойду к первому, возьму косу из рук, взмахну раз-другой, так тут уже и без языка поймут, с каким человеческом имеют дело... Да и народ, работающий около земли, должен быть проще, а паспорта, наверное, не спросят в деревне. Только когда, наконец, кончится этот проклятый город?..

Теперь по бокам дороги пошли уже скромные коттеджи, в один и два этажа, на иных висели скромные вывески, как на наших лавках — по дверям и в окнах. Сады становились всё чаще, дома всё те же, мощёная дорога лежала прямо, точно разостланная на земле холстина, над которой с обеих сторон склонились зелёные деревья. Порой на дороге показывался вагон, как тёмная коробочка, мелькал в солнечных пятнах, вырастал и прокатывался мимо, и вдали появлялся другой... Порой казалось, что вот-вот сейчас всё это кончится, и откроется даль, с шоссейной дорогой, которая бежит по полям, с одним рядом телеграфных столбов, с одинокой почтовой тележкой и с морем спелых хлебов по сторонам, до самого горизонта. А там светлая речка, мостик, лужок — и приветливый деревенский народ на работе...

Но, вместо этого, внезапно целая куча домов опять выступала из-за зелени, и Матвей опять попадал как будто в новый город; порой даже среди скромных коттеджей опять подымались гордые дома в шесть и семь этажей, а через несколько минут опять маленькие домики и такая же дорога, как будто этот город не может кончиться, как будто он занял уже весь свет...

И всё здесь было незнакомо, всё не наше. Кое-где в садах стояла странная зелень, что-то вилось по тычинкам, связанным дугами, — и, приглядевшись, Матвей увидел кисти винограда.

Наконец, в стороне мелькнул меж ветвей кусок чёрной,

как бархат, пашни. Матвей быстро кинулся туда и стал смотреть с дороги из-за деревьев...

Но то, что он здесь увидел, облило кровью его сердце. Это был кусок плоского поля, десяти в пятнадцать, огороженного не плетнём, не тыном, не жерднями, а железной проволокой с колючками. На одном краю этого поля дымилась труба завода, закопченного и чёрного. На другом — стоял локомотив, — красивая и сверкающая машина на колёсах. Маховое колесо быстро вертелось, суетливо стучали поршни, белый пар вырвался тоненькой, хлопотливой и прерывистой струйкой. Тут же, мерно волнуясь, плыл в воздухе приводной канат. Проследив его взглядом, Матвей увидел, что с другого конца пашни, как животное, сердито взрывая землю, ползёт железная машина и грызёт и роет, и отваливает широкую борозду чернозёма.

Матвей перекрестился. Всякое дыхание да хвалит господа! На что же теперь может пригодиться в этой стороне деревенский человек, вот такой пахарь, как Матвей Лозинский, на что нужна умная лошадь, почтенный вол, твёрдая рука, верный глаз и сноровка? И что же он станет делать в этой стороне, если здесь так пахут землю?

Несколько человек следили за этой работой. Может быть, они пробовали машину, а может быть, обрабатывали поле, но только ни один не был похож на нашего пахаря. Матвей пошёл от них в другую сторону, где сквозь зелень блеснула вода...

Он жадно наклонился к ней, но вода была солёная. Это уже было взморье, — два-три паруса виднелись между берегом и островом. А там, где остров кончался, — над линией воды тянулся чуть видный дымок парохода. Матвей упал на землю, на береговом откосе, на самом краю американской земли, и жадными, воспалёнными, сухими глазами смотрел туда, где за морем осталась вся его жизнь. А дымок парохода тихонько таял, таял и, наконец, исчез...

Между тем, за островом село солнце. Волна за волной тихо набегала на берег, и пена их становилась белее, а волны темнели. Матвею казалось, что он спит, что это во сне плещутся эти странные волны, угасает заря, полный месяц, большой и задумчивый, повис в вечерней мгле, лиловой, прозрачной и лёгкой... Волны всё бежали и плескались, а на их верхушках, закруглённых и зыбких, играли то белая пена, то переливы глубокого синего неба, то серебристые отблески месяца, то, наконец, красные огни фонарей, которые какой-то человек, сновавший по воде в лёгкой лодке, зажигал зачем-то в разных местах над морем...

Потом, опять будто во сне, послышались голоса, крики, звонкий смех. Несколько мужчин, женщин и девушек, в странных костюмах, с обвязанными руками и ногами до колен, появились из маленьких деревянных будок, построенных на берегу, и, взявшись за руки, кинулись со смехом в волны, расплещивая воду, которая брызгала у них из-под ног тяжёлыми каплями, точно расплавленное золото. Ещё сильнее закачались зыбкие гребни, ещё быстрее запрыгали в воде огни, перемеживаясь с цветными клочками неба и месяца, а лодки под фонарями, чёрные, точно из цельного угля, — забились и запрыгали на вершушках...

Матвею всё казалось, что он спит или грезит. Чужое небо, незнакомая красота чужой природы, чужое, непонятное веселье, чужой закат и чужое море — всё это расслабляло его усталую душу...

— Господи, Иисусе, святая дева...

— Всякое дыхание... Помилуй меня грешного.

Пстихоньку бормотание странного человека стихало.

Он действительно спал, откинувшись на спину, на откосе...

XX.

Проснулся он внезапно, точно кто толкнул его в бок, вскочил и, не отдавая себе отчёта, куда и зачем, пошёл опять по дороге. Море совсем угасло, на берегу никого не было, дорога тоже была пуста. Коттеджи спали, освещаемые месяцем сверху, спали также высокие незнакомые деревья с густою, тяжёлою зеленью, спало недопаханное квадратное поле, огороженное проволокой, спала прямая дорога, белевшая и искрившаяся бледною полоской...

Послышался звон. Вагон вывернул на свет из тени деревьев и, вздрагивая, позванивая, гудя, как ночной жук, пробежал мимо. Матвей посмотрел ему вслед. Лошадей не было, не было ни трубы, ни дыма, ни пара. Только наверху, откинувшись спереди назад, точно щупальце этого странного животного из стекла, железа и дерева, — торчал железный стержень с утолщением на конце. Он как будто хватался вверху за тонкую проволоку, чуть видную в тёмном воздухе, и всякий раз, как ему встречался узел, — на его вершущке вспыхивала яркая, синеватая искра.

Вагон уменьшался, стихал его гудящий звон, и искорки бледнели и угасали вдали, а из тени уже подходил другой, также гудя и позванивая.

Это, должно быть, был уже последний и шёл почти пустой. Полусонный кондуктор, заметив одинокую фигуру на дороге, позвонил; вагон задрожал, заскрежетал на рельсах

и замедлил ход. Кондуктор наклонился, взял Лозинского под локоть и посадил на скамью. Лозинский подал монету, раздался металлический звонок счётчика, и вагон опять покатился, а мимо убегали назад коттеджи, сады, переулки, улицы. Сначала всё это спало или засыпало. Потом как будто пробуждалось, гремело, говорило, светилось. На небе разливалось зарево. Замелькали окна, уходя всё выше и выше к небу.

— Бридж (мост), — сказал кондуктор. Матвей вышел, сожалея, что нельзя ехать таким образом вечно. Перед ним зияло опять, точно пещера, устье Бруклинского моста. Вверху, пытая, опять завернулся локомотив и подхватил поезд. В левой стороне вкатывались вагоны канатной дороги, справа выбегали другие, а рядом въезжали фургоны и шли редкие пешеходы...

Дойдя до половины моста, Матвей остановился. В ушах у него шумело, в голове что-то ворочалось. Мимо бежали поезда, вагоны, коляски, мост гудел, и было страшно слушать тонкие свистки пароходов, долетавшие снизу, — так они казались далеко и глубоко, в какой-то бездне, переполненной снующими огоньками... А в небо уходили два гигантских пролёта, с которых спускались канаты невиданной толщины. Целая сеть железных стержней, которые казались Матвею с корабля такой красивой паутиной, тянулась от канатов, поддерживая мост на весу. Из-за них едва можно было разглядеть реку, сливавшуюся с заливом в одно серебристое сияние, в котором утопали и из которого виднелись опять огни пароходов. И дальше тысячи огней, как звёзды, висели над водой, уходя вдаль, туда, где новые огни горели в Нью-Джерси. И среди всего этого моря огня, вдалеке, острые глаза Матвея едва различили круглую огненную диадему и факел свободы. Ему казалось, что он видит в синеватом свете и голову медной женщины, и поднятую руку. Но это уже светилось слабо, чуть-чуть мерцая, как недавние дни с мечтами о счастье на чужой стороне...

В чёрной громаде пролёта, точно нора, светилось оконце мостового сторожа, и сам он, как ничтожный светляк, выполз из этой норы, с фонарём. Он тотчас же увидел на мосту иностранца, а это всегда нравится американцу. Сторож похлопал Матвея по плечу и сказал несколько одобрительных слов.

— Нельзя ли у тебя переночевать? — спросил Матвей усталым голосом.

— О уэлл! — ответил тот по-своему и стал объяснять

Матвею, что Америка больше всего остального света, — это известно. Нью-Йорк — самый большой город Америки, а этот мост — самый большой в Нью-Йорке. Из этого Матвей, если бы понимал слова сторожа, мог бы заключить, чего стоят остальные мостишки перед этим.

Потом сторож поглядел в глаза странного человека, прочёл в них тоску, вместо удивления, и мысли его приняли другое направление... Конечно, если уже человеку жизнь не мила, то, пожалуй, лестно кинуться с самого большого моста в свете, но, во-первых, это трудно: не перелезешь через эту сеть проволок и канатов, а во-вторых, мост построен совсем не для того. Всё это сторож объявил Матвею, а затем довольно решительно повернул его и стал провожать, подталкивая сзади. Впрочем, странный человек пошёл покорно, как заведённая машина, туда, где над городом стояло зарево и, точно венец, плавало в воздухе кольцо электрических огней над зданием газетного дома...

За мостом он уже без приглашения кондуктора взобрался в вагон, на котором стояла надпись: Central park. Спокойное сидение и ровный бег вагона манили невольно бесприютного человека, а куда ехать, ему было теперь всё равно. Только бы ехать, чем дальше, тем лучше, не думая ни о чём, давая отдых усталым ногам, пока дремота налетает вместе с ровным постукиванием колёс...

Ему было очень неприятно, когда постукивание вдруг прекратилось и перед ним стал кондуктор, взявший его за рукав. Он опять вынул деньги, но кондуктор сказал:—No,— и показал рукой, что надо выйти.

Матвей вышел, а пустой вагон как-то радостно закатился по кругу. Кондуктор гасил на ходу огни, окна вагона точно зажмуривались, и скоро Матвей увидел, как он вкатился во двор станции и стал под навесом, где, покрытые тенью, отдыхали другие такие же вагоны...

Здесь было довольно тихо. Луна стала совсем маленькой, и синяя ночь была довольно темна, хотя на небе виднелись звёзды, и большая, ещё не застроенная площадь около Центрального парка смутно белела под серебристыми лучами... Далёкие дома перемежались с пустырями и заборами, и только в одном месте какой-то гордый человек вывел дом этажей в шестнадцать, высившийся чёрною громадой, весь обставленный ещё лесами... Эта вавилонская башня резко рисовалась на зареве от освещённого города...

До ушей Матвея донёсся шум деревьев. Лес всегда тянет к себе бесприютного бродягу, а Матвей Лозинский чувствовал себя настоящим бродягой.

Поэтому он быстро повернулся и пошёл к парку. Если бы кто смотрел на него в это время с площади, то мог бы видеть, как белая одежда то теряется в тени деревьев, то мелькает опять на месячном свете.

Он шёл так несколько минут и вдруг остановился. Перед ним возвышалась в чаще огромная клетка из тонкой проволоки, точно колпаком покрывшая дерево. На ветвях и перекладинах сидели и тихо дремали птицы, казавшиеся какими-то серыми комками. Когда Матвей подошёл поближе, большой коршун поднял голову, сверкнул глазами и лениво расправил крылья. Потом опять уселся и втянул голову между плеч.

Матвей отошёл, боясь, чтобы птицы не подняли возню. Он ступал тихо и оглядывался, ища себе приюта. Вскоре перед ним забелело продолговатое здание. Половина его была тёмная, и Матвею показалось, что это какой-нибудь сарай, где можно свернуться и заснуть до утра. Но, подойдя, он опять увидел железную решётку, от которой отскочил в испуге. Из-за неё сверкнули на него огнём два глаза. Большой серый волк стоял над спящею волчицей и зорко следил за подозрительным человеком в белой одежде, который бродит неизвестно зачем ночью около звериного жилья.

В то же время откуда-то из тени человеческий голос сказал что-то по-английски резко и сердито. Матвею этот окрик показался хуже ворчания лесного зверя. Он вздрогнул и пугливо пошёл опять к опушке. Тут он остановился и погрозил кулаком. Кому? Неизвестно, но человек без языка чувствовал, что и в нём просыпается что-то волчье...

XXI

Лёгкое журчанье воды потянуло его дальше. Это струился в бассейн неплотно запертый фонтан. Вода сочилась кверху, будто сонная, и, то поднимаясь, то падая совсем низко, струйка звенела и плескалась. Матвей склонился к водоёму и стал жадно пить. Потом он снял шапку и перекрестился, решившись лечь тут же в кустах. Издалека в тишине ночи до него донёсся свисток... Ему показался он звуком из какого-то другого мира. Он сам когда-то тоже приехал на пароходе... Может быть, это ещё такой же пароход из старой Европы, на котором люди приехали искать в этой Америке своего счастья, — и теперь смотрят на огромную статую с поднятой рукой, в которой чуть не под облаками светился факел... Только теперь лосицианину казалось, что он освещает вход в огромную могилу.

С сокрушеннем, сняв шапку и глядя в звездное небо, он стал молиться готовыми словами вечерних молитв. Небо тихо горело своими огнями в бездонной синеве и казалось ему чужим и далёким. Он вздохнул, бережно положил около себя кусок хлеба, с которым всё не расставался, — и лёг в кусты. Всё стихло, всё погасло, всё заснуло на площади, около зверинца и в парке. Только плескалась струйка воды, да где-то вскрикивала в клетке ночная птица, да в кустах шевелилось что-то белое, и порой человек бормотал во сне что-то печальное и сердитое, может быть, молитву, или жалобы, или проклятия.

Ночь продолжала тихий бег над землёй. Поплыли в высоком небе белые облака, совсем похожие на наши. Луна закатилась за деревья; становилось свежее и как будто светлело. От земли чувствовалась сырость...

Тут с Матвеем случилось небольшое происшествие, которого он не забыл во всю свою последующую жизнь, и хотя он не мог считать себя виноватым, но все же оно камнем лежало на его совести.

Он начинал дремать, как вдруг раздвинулись кусты и какой-то человек остановился над ним, заглядывая в его ночное убежище.

Час был серый, сумеречный. Матвей плохо видел лицо незнакомца. Впоследствии ему припомнилось, что лицо было бледно, а большие глаза смотрели страдающе и грустно.

Очевидно, это был тоже ночной бродяга, какой-нибудь несчастливец, которому, видно, не повезло в этот день, а может, не повезло уже много дней и теперь не было нескольких центов, чтобы заплатить за ночлег. Может быть, это был тоже человек без языка, какой-нибудь бедняга-итальянец, один из тех, что идут сюда целыми стадами из своей благословенной страны, бедные, тёмные, как и наши, и с такой же тоской о покинутой родине, о родной беде под родным небом... Один из безработных, выкинутых этим огромным потоком, который лишь ненадолго затих там, в той стороне, где высились эти каменные вавилонские Башни и зарево огней тихо догорало, как будто и оно засыпало перед рассветом. Может быть, и этого человека грызла тоска; может быть, его уже не носили ноги; может быть, его сердце уже переполнилось тоской одиночества; может быть, его просто томил голод, и он рад бы был куску хлеба, которым мог бы с ним поделиться Лозинский. Может быть, и он мог бы указать лозищанину какой-нибудь выход...

Может быть... Мало ли что может быть! Может быть.

эти два человека нашли бы друг в друге братьев до конца своей жизни, если бы они обменялись несколькими братскими словами в эту тёплую, сумрачную, тихую и печальную ночь на чужбине...

Но человек без языка шевельнулся на земле так, как недавно шевельнулся ему навстречу волк в своей клетке. Он подумал, что это тот, чей голос он слышал недавно, такой резкий и враждебный. А если и не тот самый, то, может быть, садовый сторож, который прогонит его отсюда...

Он поднял голову с враждой на душе, и четыре человеческих глаза встретились с выражением недоверия и испуга...

— Джермен? — спросил незнакомец глухим голосом... — Френч? Тэдеско, итальяно?.. (Германец? француз? итальянец?)

— Что тебе нужно? — ответил Матвей. — Неужели и здесь не дашь человеку минутку покоя?..

Они ещё обменялись несколькими фразами. Голоса обоих звучали сердито и враждебно...

Незнакомец тихо выпустил ветку, кусты сдвинулись, и он исчез.

Он исчез, и шаги его стали стихать... Матвей быстро приподнялся на локте с каким-то испугом. «Уходит, — подумал он. — А что же будет дальше...» И ему захотелось вернуть этого человека. Но потом он подумал, что вернуть нельзя, да и незачем. Всё равно — не поймёт ни слова.

Он слушал, как шаги стихали, потом стихли, и только деревья что-то шептали перед рассветом в сгустившейся темноте... Потом с моря надвинулась мгlistая туча и пошёл тихий дождь, недолгий и тёплый, покрывший весь парк шорохом капель по листьям.

Сначала этот шорох слышали два человека в Центральном парке, а потом только один...

Другого наутро ранняя заря застала висящим на одном из шептавших деревьев, с страшным, посиневшим лицом и застывшим стеклянным взглядом.

Это был тот, что подходил к кустам, заглядывая на лежащего лозищанина. Человек без языка увидел его первый, поднявшись с земли от холода, от сырости, от тоски, которая гнала его с места. Он остановился перед ним, как вкопанный, невольно перекрестился и быстро побежал по дорожке, с лицом, бледным, как полотно, с испуганными, сумасшедшими глазами... Может быть, ему было жалко, а может быть, также... он боялся попасть в свидетели... Что

он скажет, он, человек без языка, без паспорта судьям этой проклятой стороны?..

В это время его увидел сторож, который, зевая, потягивался под своим навесом. Он подивился на странную одежду огромного человека, вспомнил, что как будто видел его ночью около волчьей клетки, и потом с удивлением рассматривал огромные следы огромных сапог лозичанина на сырой песчаной дорожке...

XXII

В это утро безработные города Нью-Йорка решили устроить митинг. Час был назначен ранний, так, чтобы шествие обратило внимание всех, кто сам спешит на работу, в конторы, на фабрики и в мастерские.

О предстоящем митинге уже за неделю писали в газетах, сообщая его программу и имена ораторов. Предвидели, что толпа может «выйти из порядка», интервьюировали директора полиции и вожakov рабочего движения. Газеты биржевиков и Тамани-холла громили «агитаторов», утверждая, что только иностранцы да ещё лентяи и пьяницы остаются без работы в этой свободной стране. Рабочие газеты возражали, но тоже призывали к достоинству, порядку и уважению к законам. «Не давайте противникам повода обвинять вас в некультурности», — писали известные вожаки рабочего движения.

Газета «Sun», одна из наиболее распространённых, обещала самое подробное описание митинга в нескольких его фазах, для чего каждые полчаса должно было появляться специальное прибавление. Один из репортёров был поэтому командирован ранним утром, чтобы дать заметку: «Центральный парк перед началом митинга».

Ему очень повезло. Прежде всего, обегая все закоулки парка, он наткнулся на Матвея и тотчас же нацелился на него своим фотографическим аппаратом. И хотя Матвей быстро от него удалился, но он успел сделать моментальный снимок, к которому намеревался прибавить подпись: «первый из безработных, явившийся на митинг». Он представлял себе, как подхватят эту фигуру газеты, враждебные рабочему движению: «Первым явился какой-то дикарь в фантастическом костюме. Наша страна существует не для таких субъектов...»

Затем, зоркий глаз репортёра заметил в чаще висящее тело. Надо отдать справедливость этому газетному джентльмену: первой его мыслью было, — что, может быть,

несчастный ещё жив. Поэтому, подбежав к трупу, он вынул из кармана свой ножик, чтобы обрезать верёвку. Но, пощупав совершенно охладевшую руку, — спокойно отошёл на несколько шагов и, выбрав точку, — набросал снимок в альбом... Это должно было тоже произвести впечатление, — хотя уже с другой стороны. Это подхватят рабочие газеты... «Человек, который явился на митинг ещё ранее... Ещё одна жертва нужды в богатейшей стране мира»... Во всяком случае заметка вызовет общую сенсацию, и редакция будет довольна.

Действительно, и заметка, и изображение мёртвого тела появились в газете ранее, чем о происшествии стало известно полиции. По странной оплошности («что, впрочем, может случиться даже с отличной полицией», — писали впоследствии в некоторых газетах) — толпа уже стала собираться и тоже заметила тело, а полиция всё ещё не знала о происшествии...

Матвей Лозинский, ничего, конечно, не читавший о митинге, увидел, что к парку с разных сторон стекается народ. По площади, из улиц и переулков шли кучами какие-то люди в пиджаках, правда, довольно потёртых в сюртуках, правда, довольно засаленных, в шляпах, правда довольно измятых, в крахмальных, правда, довольно грязных рубашках. Общий вид этой толпы, измождённые, порой бородастые лица производили на Лозинского успокоительное впечатление. Он чувствовал что-то как будто родственное и симпатичное. Все они собирались к фонтану, затем узнали о самоубийстве и, как муравьи, толпились около этого места, сумрачные, озлобленные, печальные.

Лозинский теперь смелее вышел на площадку, около которой расположилась группа черномазых и густоволосых людей, ещё более оборванных, чем остальные. Глаза у них были, как сливы, лица смуглые, порой остроконечные шляпы с широкими полями, а язык звучал, как музыка, — мягко и мелодично. Это были итальянцы. Они напомнили Матвею словаков, заходивших в Лозици из Карпат, и он доверчиво попытался заговорить с ними. Но и тут его никто не понял. Итальянцы лениво поворачивали к нему головы; один подошёл, пощупал его белую свиту и с удивлением щёлкнул языком. Потом он с удовольствием ощупал мускулы его рук и сказал что-то товарищам, которые выразили своё одобрение шумными криками... Но больше ничего от них Матвей не добился... Он заметил только, что глаза у них сверкают, как огонь, а у иных, под куртками у поясов, висят небольшие ножи.

Ескере толпа залила уже всю площадку. Над ней стояла тонкая пыль, залегавшая, как туман, между зеленью, и сплошной гул голосов носился над людскими головами...

Около дерева, где висел человек, началось движение. Суровые и важные, туда прошли полисмены в своих серых шляпах. Над ними смеялись, их закидывали враждебными криками и остротами, показывая номер газеты, но они не обращали на это внимания. Только около самого дерева произошло какое-то замешательство, — серые каски как-то странно толкались между черными, рыжими и пёстрыми шляпёнками, потом подымались кверху и опускались деревянные палки, и что-то суетливо топталось и шарахалось. Потом мёртвое тело колыхнулось, голова мертвеца вдруг выступила из тени в светлое пятно, потом поникла, а тело, будто произвольно, тихо опустилось вровень с толпой.

Матвей снял шапку и перекрестился. А в это время, с другой стороны, с площадки, послышались вдруг звуки музыки. Повернув туда голову, лозищанин увидел, что из переулка, на той стороне площади, около большой постройки, выкатился клуб золотистой пыли и покатился к парку. Точно гнали стадо, или шло большое войско. А из облака неслись звуки музыки, то стихая, — и тогда слышался как будто один только гулкий топот тысячи ног, — то вдруг вылетал вперёд визгом кларнетов и медных труб, стуком барабанов и звоном литавров. Впереди бежали двумя рядами уличные мальчишки, и высокий тамбур-мажор шагал, отмахивая такт большим жезлом. За ним двигались музыканты, с радутыми и красными щёками, в касках с перьями, в цветных мундирах с огромными эполетами на плечах, расшитые и изукрашенные до такой степени, что, кажется, не оставалось на них ни клочка, кем-нибудь не расцвеченного, не завешанного каким-нибудь галуном или лезументом.

Матвей думал, что далее он увидит отряд войска. Но, когда пыль стала ближе и прозрачнее, он увидел, что за музыкой идут сначала рядами, а потом, как попало, в беспорядке — всё такие же пиджаки, такие же мятые шляпы, такие же пыльные и полинялые фигуры. А впереди всей этой пёстрой толпы, высоко над ее головами, плывёт и колыхается знамя, укреплённое на высокой платформе на колёсах. Кругом знамени, точно стража, с десятков людей двигались вместе с толпой...

Время, стуча, колыхаясь, под яркие звуки марша, под неистовые крики и свист ожидавшего народа, знамя пошло к фонтану и стало. Складки его колыхнулись и упали,

только ленты шевелились по ветру, да порой полотнище плескалось, и на нём струились золотые буквы...

Тогда в толпе поднялся настоящий шабаш. Одни звали новоприбывших к дереву, где недавно висел самоубийца, другие хотели остаться на заранее назначенном месте. Знамя опять колыхнулось, платформа поплыла за толпой, но скоро вернулась назад, отражённая плотно сомкнувшимися у дерева отрядом полиции.

Когда пыль, поднятую этой толкотнёй, пронесло дальше, к площади, знамя опять стояло неподвижно, а под знаменем встал человек с открытой головой, длинными, откинутыми назад волосами и чёрными сверкающими глазами южанина. Он был невелик ростом, но возвышался над всею толпой на своей платформе, и у него был удивительный голос, сразу покрывший говор толпы. Это был мистер Чарльз Гомперс, знаменитый оратор рабочего союза.

Толпа вся стихла, когда, протянув руку к дереву, где ещё недавно висел самоубийца, он сказал негромко, но с какой-то особенной торжественной внятностью:

— Прежде всего, отдадим почёт одному из наших товарищей, который ещё этой ночью изнемог в трудной борьбе.

Над многотысячной толпой точно пронёсся ветер, и бесчисленные шляпы внезапно замелькали в воздухе. Головы обнажились... Складки знамени рванулись и заплескались среди гробовой тишины печально и глухо. Потом Гомперс начал опять свою речь.

В груди у Матвея что-то дрогнуло. Он понял, что этот человек говорит о нём, о том, кто ходил этой ночью по парку, несчастный и бесприютный, как и он, Лозинский, как и все эти люди с истомлёнными лицами. О том, кого, как и их всех, выкинул сюда этот безжалостный город, о том, кто недавно спрашивал у него о чём-то глухим голосом... О том, кто бродил здесь со своей глубокой тоской и кого теперь уже нет на этом свете.

Было слышно, как ветер тихо шелестит листьями, было слышно, как порой тряхнётся и глухо ударит по ветру своими складками огромное полотнище знамени... А речь человека, стоявшего выше всех с обнажённой головой, продолжалась, плавная, задушевная и печальная...

Потом он повернулся и протянул руку к городу, гневно и угрожающе.

И в толпе будто стукнуло что-то разом во все сердца, — произошло внезапное движение. Все глаза повернулись туда же, а итальянцы приподнимались на цыпочках, сжи-

мая свои грязные, загорелые кулаки, вытягивая свои жилистые руки.

А город, объятый тонкою мглою собственных испарений, стоял спокойно, будто тихо дыша и продолжая жить своею обычною, ничем невозмутимую жизнью. По площади тянулись и грохотали вагоны, пыхтел где-то в туннеле быстрый поезд... Ветер нёс над площадью пыльное облако. Облако это, точно лента, пронизанная солнцем, — повисло в половине огромного недостроенного дома, напоминавшего вавилонскую башню. Вверху среди лесов и настилок колошились, как муравьи, занятые постройкой рабочие, а снизу то и дело подымались огромные тяжести... Подымались, исчезали в облаке пыли и опять плыли сверху, между тем как внизу гигантские краны бесшумно ворочались на своих основаниях, подхватывая всё новые платформы с глыбами кирпичей и гранита...

И на всё это светило яркое солнце весёлого ясного дня. В груди лозищанина подымалось что-то незнакомое, неиспытанное, сильное. В первый ещё раз на американской земле он стоял в толпе людей, чувство которых ему было понятно, было в то же время и его собственным чувством. Это нравилось ему, это его как-то странно шекотало, это его подмывало на что-то. Ему захотелось ещё большего, ему захотелось, чтобы и его увидели, чтобы узнали и его историю, чтобы эти люди поняли, что и он их понимает, чтобы они оказали ему участие, которое он чувствует теперь у них. Ему хотелось ещё чего-то необычного, опьяняющего, ему казалось, что сейчас будет что-то, от чего станет лучше всем, и ему, лозищанину, затерявшемуся, точно иголка, на чужой стороне. Он не знал, куда он хочет идти, что он хочет делать, он забыл, что у него нет языка и паспорта, что он бродяга в этой стране. Он всё забыл и, ожидая чего-то, проталкивался вперёд, опьянённый, после одиночества, сознанием своего единения с этой огромной массой в каком-то общем чувстве, которое билось и трепетало здесь, как море в крутых берегах. Он как-то кротко улыбнулся, говорил что-то тихо, но быстро, и всё проталкивался вперёд, туда, где под знаменем стоял человек, так хорошо понимавший все чувства, так умело колышавший их своим глубоким, проникавшим голосом...

XXIII

Совершенно неизвестно, что сделал бы Матвей Лозицкий, если бы ему удалось подойти к самой платформе, и чем бы он выразил оратору, мистеру Гомперсу, волновав-

шие его чувства. В той местности, откуда он был родом, люди, носящие сермяжные свиты, имеют обыкновение выражать свою любовь и уважение к людям в сюртуках посредством низких, почти до земли, поклонов и целования руки. Очень может быть, что мистер Гомперс получил бы это проявление удивления к своему ораторскому искусству, если бы роковой случай не устроил это дело иначе, а именно так, что ранее мистера Гомперса, председателя рабочих ассоциаций и искусного оратора, на пути лозинчина оказался мистер Гопкинс, бывший боксёр и полисмен. Мистер Гопкинс, наряду с другими людьми в серых касках и с клыками в руках, стоял неподвижно, как статуя, и, разумеется, не был тронут красноречием мистера Гомперса. Нью-Йоркская полиция отлично знала этого популярного джентльмена и действие его красноречия оценивала с своей точки зрения. Она знала, что мистер Гомперс человек очень искусный и никогда в своих речах не «выйдет из порядка». Но зато — таково было обычное действие его слова, — слушатели выходили из порядка слишком часто. Безработные всегда склонны к этому в особенности, а сегодня, вдобавок, от этого проклятого дерева, на котором полиция прозевала повесившегося беднягу и позволила ему висеть «вне всякого порядка» слишком долго, на толпу веяло чем-то особенным. Между тем, давно уже не бывало митинга такого многолюдного, и каждому полисмену, в случае свалки, приходилось бы иметь дело одному на сто.

В таких случаях полиция держится крепко настороже, следя особенно за иностранцами. Пока всё в порядке, — а в порядке всё, пока дело ограничивается словами, хотя бы и самыми страшными, и жестами, хотя бы очень драматическими, — до тех пор полисмены стоят в своих серых шляпах, позволяя себе порой даже знаки одобрения в особенно удачных местах речи. Но лишь только в какой-нибудь части толпы явится стремление перейти к делу и «выйти из порядка» — полиция тотчас же занимает выгодную позицию нападающей стороны. И клобы пускаются в ход быстро, решительно, с ошеломляющей неожиданностью. И толпа порой тысяч в двадцать отступает перед сотнею-другою палок, причём задние бегут, закрывая, на всякий случай, головы руками...

Матвей Лозинский, разумеется, не знал ещё, к своему несчастью, местных обычаев. Он только шёл вперёд, с раскрытым сердцем, с какими-то словами на устах, с надеждой в душе. И когда к нему внезапно повернулся высокий господин в серой шляпе, когда он увидел, что это опять

вчерашний полицейский, он излил на него всё то чувство, которое его теперь переполняло: чувство огорчения и обиды, беспомощности и надежды на чью-то помощь. Одним словом, он наклонился и хотел поймать руку мистера Гопкинса своими губами.

Мистер Гопкинс отскочил шаг назад и — клуб свистнул в воздухе... В толпе резко прозвучал первый удар...

Лозищанин внезапно поднялся, как разъярённый медведь... По лицу его текла кровь, шапка свалилась, глаза стали дикие. Он был страшнее, чем в тот раз в комнате Борка. Только теперь не было уже человеческой силы, которая была бы в состоянии сдержать его. Неожиданное оскорбление и боль переполнили чашу терпения в душе большого, сильного и кроткого человека. В этом ударе для него вдруг сосредоточилось всё то, что он пережил, перечувствовал, перестрадал за это время, вся ненависть и гнев бродяги, которого, наконец, затравили, как дикого зверя.

Неизвестно, знал ли мистер Гопкинс индейский удар, как Падди, во всяком случае и он не успел применить его вовремя. Перед ним поднялось что-то огромное и дикое, поднялось, навалилось — и полисмен Гопкинс упал на землю, среди толпы, которая вся уже волновалась и кипела... За Гопкинсом последовал его ближайший товарищ, а через несколько секунд огромный человек в невиданной одежде, лохматый и свирепый, один опрокинул ближайшую цепь полицейских города Нью-Йорка... За ним, с громкими криками и горящими глазами первые кинулись итальянцы. Американцы оставались около знамени, где мистер Гомперс напрасно надрывал грудь призывами к порядку, указывая в то же время на одну из надписей: «Порядок, достоинство, дисциплина!»

Через минуту вся полиция была смята, и толпа кинулась на площадь...

Была одна минута, когда, казалось, город дрогнул под влиянием того, что происходило около Central park'a... Узжавшие вагоны заторопились, встречные остановились в нерешимости, перестали вертеться краны, и люди на стройке перестали ползать взад и вперёд... Рабочие смотрели с любопытством и сочувствием на толпу, опрокинувшую полицию и готовую ринуться через площадь на ближайшие здания и улицы.

Но это была только минута. Площадь была во власти толпы, но толпа совершенно не знала, что ей делать с этой площадью. Между тем, большинство осталось около знамени, и понемногу голова толпы, которая, точно змея, по-

тянулась было по направлению к городу, — опять притянулась к туловищу. Затем, после короткого размышления, вожаки решили, что митинг сорван, и, составив наскоро резолюцию, протестующую против действий полиции, они двинулись обратно. Впереди, как ни в чём не бывало, опять выстроился наёмный оркестр, и облако пыли опять покатилося вместе с музыкой через площадь. А за ним сомкнутым строем шли оправившиеся полицейские, ободрительно помахивая клобами и поощряя отставших.

Через полчаса парк опустел; подъёмные краны опять двигались на своих основаниях, рабочие опять сновали чуть не под облаками на постройке, опять мерно прокатывались вагоны, и проезжавшие в них люди только из газет узнали о том, что было полчаса назад на этом месте. Только сторожа ходили около фонтана, качая головами и ругаясь за помятые газоны...

XXIV

Несколько дней газеты города Нью-Йорка, благодаря лозищанину Матвею, работали очень бойко. В его честь типографские машины сделали сотни тысяч лишних оборотов, сотни репортёров сновали за известиями о нём по всему городу, а на площадках, перед огромными зданиями газет «World», «Tribune», «Sun», «Herald», толпились лишние сотни газетных мальчишек. На одном из этих зданий Дыма, всё ещё рыскавший по городу в надежде встретиться с товарищем, увидел экран, на котором висело объявление:

ДИКАРЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ

Присшествие на митинге безработных.

Кафр, патаговец или славянин?

Сильнее полисмена Гопкинса.

УГРОЗА ЦИВИЛИЗАЦИИ

Оскорбление законов этой страны!

Мы дадим портрет дикаря,

убившего полисмена Гопкинса.

Через час листы уже летели в толпу мальчишек, которые тотчас же ринулись во все стороны. Они шныряли под ногами лошадей, вскакивали на ходу в вагоны электрической дороги, через полчаса были уже на конце подземной дороги, и в предместьях Бруклина, — и всюду раздавались их звонкие крики:

«Дикарь в Нью-Йорке!.. Портрет дикаря на митинге безработных!.. Оскорбление законов этой страны!»

Газетный джентльмен, нарисовавший вчера фантастическое изображение дикаря, купающего свою семью в городском водоёме, не подозревал, что его рисунок получит скорое применение. Теперь это талантливое произведение красовалось в сотнях тысяч экземпляров, и серьёзные американцы, возвращавшиеся из своих контор, развёртывали на ходу газету именно в том месте, где находилась фигура дикаря, «дважды нарушившего законы этой страны». А так как очень трудно воздержаться от невольных сопоставлений, то газета, пока не выяснятся окончательно мотивы загадочного преступления этого загадочного человека, — предлагала своё объяснение, не настаивая, впрочем, на полной его достоверности. «Вчера бедный Гопкинс разъяснил дикарю всю неуместность купания детей в городских водоёмах. Известно, что дикари мелочны и мстительны. Кто знает, быть может, Гопкинс пал невинною жертвой ревностного исполнения своего долга на Бродвее».

В другой газете, более серьёзной, дано было изложение события по свежим следам. Заметка носила название: «Митинг безработных».

«Спешим дать нашим читателям точное изложение события в Центральном парке. Как уже известно, митинг безработных был назначен утром, и уже чуть не с рассвета площадка и окружающая местность стали наполняться людьми в количестве, которое привело в некоторое замешательство полицейские резервы. В числе последних оказался известный Гопкинс, бывший боксёр, лицо достаточно популярное в этом городе.

«К несчастью, случай, один из тех, которые, конечно, могут встретиться во всяком городе этого штата, во всяком штате этой страны, во всякой стране этого мира (где всегда будет богатство и бедность, что бы ни говорили опасные утописты) — такой случай внёс особенное возбуждение в настроение этой толпы. Неподалеку от фонтана, по соседству с местом митинга, в эту ночь повесился какой-то бедняк, имя, род занятий, даже национальность которого остаются пока неизвестны. Как бы то ни было, — полиция проявила несомненную оплошность. Один из репортёров успел срисовать даже изображение самоубийцы прежде, чем полиция узнала о факте. Вынимать тело из петли пришлось уже в то время, когда в парке было много людей, судьба которых, вследствие случайных, но тем не менее прискорбных причин очень грустно иллюстрировалась

видом и судьбой этого бедняги. Первая попытка полиции снять тело — оказалась неудачна, вследствие сопротивления, оказанного сильно возбуждённой толпой. Но затем, когда силы полиции увеличились, это было, наконец, сделано, — хотя, нужно признаться, не без содействия клобов, которые, как мы это указывали многократно, полиция наша пускает в ход нередко и при обстоятельствах, пожалуй, менее оправдывающих употребление этого орудия в цивилизованной стране.

«В назначенное время прибыл на место известный рабочий агитатор мистер Гомперс, в сопровождении хора музыки и со знаменем, на котором была надпись:

Работы!

Терпение народа истощено.

Соединяйтесь!

Петиция новому мэру!

«Беспристрастие требует прибавить, что, кроме этих, была ещё надпись следующего содержания: «Достоинство, порядок, дисциплина!»

За этой заметкой следовала в газете другая, имевшая опять три заглавия:

Чарли Гомперс был горек.

Он громил богатство и роскошь.

*Порицал порядки этой страны, а этот город
называл вавилонской блудницей.*

«Чарли Гомперс; ораторскому таланту которого нельзя не отдать должной дани удивления, прекрасно использовал данное положение. Едва прибыв на место, в сопровождении прекрасного хора м-ра Ивэнса (Second avenue, № 300), и узнав об утреннем происшествии, он начал свою речь блестящей импровизацией, в которой в самых мрачных красках изобразил положение лишённых работы и судьбу, ожидающую; быть может, в близком будущем многих из этих несчастливцев. Вслед за этим он воспользовался контрастами, которые на всяком шагу развёртывает этот город, как известно, самый большой и самый богатый в мире. Эта речь Чарли Гомперса, имевшая целью пригласить безработных к петиции на имя городского мэра, а также пропагандировавшая идею рабочих ассоциаций, вызвала, по-видимому, самые дурные страсти. Правда, англичане и американцы (которых, впрочем, было очень немного), даже большинство ирландцев и немцы, — остались в порядке

Но наименее цивилизованные элементы толпы, — в лице итальянцев, отчасти русских евреев и в особенности какого-то дикого человека неизвестной нации, — вспыхнули при этом, как порох от спички».

«Мнение о происшествии сенатора Робинзона»

«Мистер Робинзон, любезно принявший у себя нашего репортёра, находит, что в этом происшествии с особенной яркостью выразилась сила законного порядка этой страны. «Сэр, — сказал мистер Робинзон нашему репортёру, — что вы видите в данном случае? Мятежники, побуждаемые опасными демагогами, опрокинули полицию. Преграда между ними и цивилизацией в лице бравого Голкинса и его товарищей рушилась. И что же, — мятежники не находят ничего лучшего, как вернуться самопроизвольно к порядку. Я позволил бы себе, однако, предложить мистеру Гомперсу и в его лице всем подобным ему агитаторам один вопрос, который, надеюсь, поставил бы их в немалое затруднение: *зачем вы, сэр, возбуждаете страсти и подстрекаете толпу на дело, самый успех которого не можете ни в каком случае обратить в свою пользу?*»

«В следующем номере, — прибавляла редакция, — мы надеемся дать читателям ответ мистера Гомперса на уничтожающий вопрос почтенного сенатора».

Наутро газета исполнила своё обещание. Она дала, во-первых, портрет мистера Гомперса, а затем подробное изложение беседы его с репортёром. При этом мистер Гомперс в изображении репортёра рисовался столь же благожелательными красками, как и сенатор Робинзон. «Мистер Гомперс в личной жизни — человек привлекательный и симпатичный, его обращение с репортёром было необыкновенно приветливо и любезно, но его отзывы о деле — очень горячи и энергичны. Мистер Гомперс винит во всём несдержанность полиции этого города. Сам он был «в порядке». Правда, как это совершенно справедливо было отмечено нашим репортёром, он «был горяк» в своей речи. Он этого не отрицает. Но с каких же это пор для американца в этой стране считается обязательным произносить только сладкие речи?! Кому не нравится сравнение этого города с блудницей, тот не должен слушать по воскресеньям проповеди, хотя бы, например, достопочтенного реверенд-Джонса, так как это его любимое сравнение. И, однако, никто не обвиняет за это священников в возбуждении дурных страстей или в оскорблении страны. Надо думать, что Таманиринг, которого, как известно,

м-р Робинзон является деятельным членом, ещё не в силах ограничить в этой стране свободу слова, завещанную великими творцами её конституции! (Здесь репортёр выражает сожаление, что он не в силах передать ни великолепного жеста, ни возвышенного пафоса, с каким мистер Гомперс произнёс последнюю фразу. Он констатирует, однако, что они сделали бы честь первым ораторам страны.) Мистер Гомперс очень сожалеет о том, что случилось, но пострадавшими в этом деле считает себя и своих друзей, так как митинг оказался сорванным и прито собрание грубо нарушено в их лице. Как началась свалка, он не видел. Он далёк также от мысли заподозреть добросовестность талантливого джентльмена, давшего изображение дикаря. Однако и наружность, и костюм этого дикаря кажутся ему достаточно маскарадными, чтобы быть изобретением полиции. Что касается до обращённого к нему вопроса, то удовлетворить любопытство distinguished сенатора гораздо легче, чем осветить некоторые проделки Таманиринга. Как уже ясно из предыдущего, он не подстрекал никого к нападению на полицию, так же как не подстрекал полицейских к слишком усердному употреблению клобов. Но он убеждён, что великий вопрос о богатстве и бедности должен был решён на почве свободы слова и союзов. Что же касается до плодов агитации, то они видны уже и теперь. Два года назад ассоциация рабочих, в которой он имеет честь быть председателем, считала ровно вдвое меньшее число членов, чем имеет в настоящее время. Таковы плоды непосредственные. Что же касается дальнейших, то мистер Робинзон, сенатор и крупный фабрикант, может сказать кое-что по этому поводу, так как на его собственной фабрике с прошлого года рабочие часы сокращены без сокращения платы. «И мы с гордостью предвидим,—прибавил м-р Гомперс с неподражаемой проницательностью,— тот день, когда м-ру Робинзону придётся ещё поднять плату без увеличения рабочего дня».. Наконец, мистер Гомперс сообщил, что он намерен начать процесс перед судьёй штата о нарушении неприкосновенности собраний. Как известно,—сказал он,— учёным этой страны до сих пор не удалось выдвинуть вопроса о национальности загадочного дикаря. М-р Гомперс не теряет, однако, надежды, что суду это удастся и что директору полиции (которому он не отказывает, впрочем, в должном уважении) уже и теперь известно кое-что по этому поводу».

«Одним словом,— так заканчивалась заметка,— если

оставить в стороне некоторые щекотливые вопросы, вызывающие (быть может, и справедливое) осуждение, — м-р Гомперс оказался не только превосходным оратором и тонким политиком, но и очень приятным собеседником, которому нельзя отказать в искреннем пафосе и возвышенном образе мыслей. Сам мистер Гомперс убеждён, что он и его единомышленники оказывают истинную услугу стране, внося организацию, порядок, сознательность и надежду в среду, бедствие, отчаяние и справедливое негодование которой легко могли бы сделать её добычей анархии...»

Несколько дней ещё происшествие в Центральном парке не сходило со столбцов нью-йоркских газет. Репортёры обегали весь город, и в редакции являлись разные лица, видевшие в разных местах странных людей, навлекавших подозрение в тождественности с загадочным дикарём. Дикарей в Нью-Йорке оказалось достаточно. Исходя из первого изображения, некоторые более или менее учёные джентльмены высказывали своё мнение о его национальности. Отзывы были весьма различны, но по мере того, как сведения становились многочисленнее и точнее, заключения учёных джентльменов начинали вращаться в круге всё более ограниченном. Первый приблизился к истине некто мистер Аткинсон, взявший исходным пунктом «разрушительные тенденции незнакомца и его беспредельную ненависть к цивилизации и культуре». Судя по этим признакам, он причислял его к славянскому племени... К сожалению, пустившись в дальнейшие гипотезы, мистер Аткинсон отнес к славянскому племени также «кавказских черкесов и самоедов, живущих в глубинах снежной Сибири».

Круг около загадочной личности смыкался всё более. В заметках, становившихся всё более краткими, но зато и более точными, появлялись всё новые места и лица, так или иначе прикосновенные к личности «дикаря». Негр Сам, чистильщик сапог в Бродвее, мостовой сторож, подозревавший незнакомца в каком-нибудь покушении на целостность Бруклинского моста, кондуктор вагона, в котором Матвей прибыл вечером к Central park'у, другой кондуктор, который подвергал свою жизнь опасности, оставаясь с глазу на глаз с дикарём в электрическом вагоне, в пустынных предместьях Бруклина, наконец, старая барыня, с буклями на висках, к которой таинственный дикарь огромного роста и ужасающего вида позвонился однажды с неизвестными, но, очевидно, недобрыми целями, когда она была одна в своём доме... К счастью, престарелая лэди успела захлопнуть свою дверь как раз во-время для спасения своей жизни.

О другой старой барыне, из дома № 1235, в газетах не упоминалось. Не упоминалось также и об Анне, которая только вздыхала порой при воспоминании о пропавшем без вести Матвее. Человек канул точно в воду, а сама она попала, как лодка, в тихую заводь. Каждый день, когда муж и жильцы старой барыни уходили, — она, точно невидимая фея, являлась в оставленные комнаты, убирала постели, подметала полы, а раз в неделю перетираала стёкла и чистила газовые рожки. Каждый день выносила сор на улицу в корзину, откуда его убирали городские мусорщики, и готовила обед для господ и для двух джентльменов, обедавших с ними. Два раза в месяц она ходила в церковь вместе с барыней... Вообще всё для неё в этом уголке было так, как на родине. Всё было как на родине в такой степени, что девушке становилось до боли грустно: зачем же она ехала сюда, зачем мечтала, надеялась и ждала, зачем встретила с этим высоким человеком, задумчивым и странным, который говорил: «Моя доля будет и твоя доля, малютка». Молодой Джон и Дыма не являлись. Жизнь её истекала скучными днями, как две капли воды, похожими друг на друга... Она нашла здесь родину, ту самую, о которой так вздыхал Лозинский, — и не раз она горько плакала об этом по ночам в своей кухне, в подвальном этаже, низком и тесном... И не раз ей хотелось вернуться к той минуте, когда она послушалась Матвея, вместо того, чтобы послушать молодую еврейку... Вернуться и начать жить здесь по-иному, искать иной доли, может быть, дурной, да иной...

Однажды почтальон, к её великому удивлению, подал ей письмо. На конверте совершенно точно стоял её адрес, написанный по-английски, а наверху печатный штампель: «Соединённое общество лиц, занятых домашними услугами». Не понимая по-английски, она обратилась к старой барыне с просьбой прочесть письмо. Барыня подозрительно посмотрела на неё и сказала:

— Поздравляю! Ты уже заводишь шашни с этими бунтовщиками!

— Я ничего не знаю, — ответила Анна.

В письме был только печатный бланк с приглашением поступить в члены общества. Сообщался адрес и размер членского взноса. Цифра этого взноса поразила Анну, когда барыня иронически перевела приглашение... Однако девушка спрятала письмо и порой вынимала его по вечерам

и смотрела с задумчивым удивлением: кто же это мог заметить её в этой стране и так правильно написать на конверте её имя и фамилию?

Это было вскоре после её поступления на службу. А ещё через несколько дней старая барыня с суровым видом сообщила ей новость:

— Хорошие дела, нечего сказать, наделал этот твой... Матвей, что ли! — сказала она. — Вот и верь после этого наружности. Казался таким почтительным и смиренным.

— Что такое? — спросила Анна с тревогой.

— Убил полицейского, ни более, ни менее.

— Не может быть! — вскрикнула девушка невольно.

Старая барыня показала ей кучку газет, которые принёс ей муж, когда уже личность Матвея стала выясняться. В фантастическом изображении трудно было признать добродушную фигуру лозищанина, хотя всё же сохранились некоторые черты и оклад бороды. Затем, в следующих номерах был приведён портрет Дымы, на этот раз в свите и бараньей шапке, — как соотечественника исчезнувшей знаменитости. Старая барыня, надев очки, целый день читала газеты, сообщая от времени до времени вычитанные сведения и Анне. Сама она была искренно удивлена, узнав, что Матвей попал на митинг и оказался предводителем банды итальянцев, опрокинувших полицию и побуждавших толпу безработных ограбить ближайшие магазины.

— А ведь каким казался почтительным и тихим, — сказала барыня в раздумьи, вспоминая покорную фигуру Матвея, его кроткие глаза и убеждённое поддакивание на все её мнения... — Да, да! Верь после этого наружности.

Она подозрительно покосилась даже на Анну, готовая видеть в ней сообщницу страшного человека, но открытый взгляд девушки рассеял её опасения.

— Он очень вспыльчив, — сказала Анна грустно, вспоминая страшную минуту во время столкновения с Падди... — И... и... знаете что... Как это там написано: потянулся губами к руке... Ведь это он... прошу вас... хотел, верно, поцеловать у него руку...

— Хотел поцеловать?... и убил?... Что-то всё это странно, — сказала барыня. — Во всяком случае, если его поймут, то непременно повесят... Видишь, до чего здесь доводят эти... общества разные... Я бы этих Гомперсов!.. Смугри, вот они и тебя хотят завлечь в свои сети...

Анна видела, что барыня говорит совершенно искренно, а происшествие с Матвеем придавало её словам ещё большее значение. Однако, когда, в отсутствие барыни,

опять пришло письмо на её имя с тем же штемпелем, — она обратилась за прочтением не к ней, а к одному из жильцов. Это был человек молчаливый и суровый, не участвовавший в карточных вечерах у хозяев и не сказавший никогда с Анной лишнего слова. Он всё сидел в своей комнате, целые дни писал что-то и делал какие-то выкладки. В доме говорили, что он «считает себя изобретателем». Почему-то Анна питала к суровому человеку безотчётное доверие и уважение.

Он взял из её рук письмо и добросовестно перевёл слово в слово. Содержание письма очень удивило Анну: в нём писали, что комитету общества стало известно, что мисс Анна служит на таких условиях, которые, во-первых, унижительны для человеческого достоинства своей неопределённостью, а во-вторых, понижают общий уровень вознаграждения. 10 долларов в месяц и один свободный день в неделю — это минимальные требования, принятые в одном из собраний «Соединённого общества лиц, занятых домашними услугами». Ввиду этого ей опять предлагают поступить в члены общества и предъявить повышенные требования своей хозяйке, иначе её сотоварищи вынуждены будут считать её «врагом своего класса».

Анна выслушала с испугом это странное обращение.

— Что же мне будет? — спросила она, глядя на чтеца совсем округлившимися глазами и не понимая хорошенько, кто это пишет и по какому праву.

— Ну, я в эти дела не мешаюсь, — ответил сурово молчаливый жилец и опять повернулся к своим бумагам. Но между глазами и бумагой ему почудилось испуганное лицо миловидной девушки, растерявшейся и беспомощной, и он опять с неудовольствием повернулся, подымая привычным движением свои очки на лоб.

— Ты ещё здесь? — сказал он, глядя в упор на Анну своими близорукими глазами, устремлёнными как бы в пространство или видевшими что-то за ней. — Странно: твоё лицо мне мешает... Ты спрашивала моё мнение?.. Ну, так вот: по моему мнению, всё это глупости! Когда-то и я верил в эти бирюльки и увлекался, пока не понял, что только наука способна изменить все человеческие отношения. Понимаешь: наука! Вопрос решается не на улице, а в кабинете учёного... Вот здесь (он положил руку на бумаги) решение всех этих вопросов. Скоро все узнают... и ты в том числе. Ну, а пока — иди с богом. Твоё лицо мне мешает... А моё дело и для тебя важнее всей этой сутолоки.

И он опять наклонился над чертежами и выкладками,

махая Анне левой рукой, чтобы она уходила. Анна пошла в кухню, думая о том, что всё-таки не всё здесь похоже на наше и что она никогда ещё не видела такого странного господина, который бы так торжественно произносил такие непонятные слова.

Она захотела посоветоваться ещё с Дымой и Розой. В церковь она ходила мимо Борка и уже знала дорогу. Однажды, когда барыня осталась дома и она одна пошла в церковь, девушка забежала в знакомую квартиру. Розы и Джона не было, а Борк был очень занят. От него она узнала только, что Дыма уехал, так как письмо его, наконец, дошло, и Лозинские его увезли в Миннесоту. Это было для него очень кстати, так как приятели-ирландцы разбрелись, Тамани-холл не нуждался более в его голосе, а работы всё не находилось... Временная знаменитость и появление его портрета в газетах плохо утешали Дыму в потере приятеля. Впрочем, в это время публика перестала уже интересоваться инцидентом в Центральном парке, в особенности после того, как оказалось, вдобавок, что и здоровье мистера Гопкинса, вовсе не убитого, приведено в надлежащее состояние.

История дикаря отступала всё далее и далее, на четвертую, пятую, шестую страницы, а на первых, за отсутствием других предметов сенсации, красовались через несколько дней портреты мисс Лиззи и мистера Фрэда, двух ещё совсем молодых особ, которые, обвенчавшись самовольно в Балтиморе, устроили своим родителям, известным миллионерам города Нью-Йорка, «неожиданный сюрприз». И веселая, кудрявая головка мисс Лиззи, с лукавыми чёрными глазками, глядела на читателя с того самого места и даже нарисованная тем самым карандашом, который изображал недавно нашего земляка.

Из этого следует, как легко стать знаменитым в этой стране и как это бывает ненадолго...

И только Дыма да Лозинские читали, что могли, о Матвее, думая о том, как им теперь разыскать беднягу, опять потонувшего без следа в людском океане...

XXVI

А сам виновник волнения публики в день знаменитого митинга под вечер ехал в экстренном поезде на Детройт, на Бэффало, на Циагару и на Чикаго...

Как он попал в этот поезд, он помнил потом очень смутно. Когда толпа остановилась, когда он понял, что более

уже ничего не будет, да и быть более уже нечему, кроме самого плохого, когда, наконец, он увидел Гопкинса, лежащим на том месте, где он упал, с белым, как у трупа, лицом и закрытыми глазами, он остановился, дико озираясь вокруг и чувствуя, что его в этом городе настигнет, наконец, настоящая гибель. С этой минуты он стал опять точно беспомощный ребёнок и покорно побежал за каким-то долговязым итальянцем, который схватил его за руку и увлёк за собой.

Через площадь они пробежали вместе с другими, потом вбежали в переулок, потом спустились в какой-то подвал, где было ещё с десяток беглецов, частью мрачных, частью, повидному, довольных сегодняшним днём. Мрачны были старики, довольны молодые бобыли и в том числе долговязый спаситель Матвея. Это был тот самый молодой человек, который утром, перед митингом, хлопал Матвея по плечу и щупал его мускулы. Весёлому малому, кажется, очень понравилась манера обращения Матвея с полицией. Он и несколько его товарищей кинулись вслед за Матвеем, расчистившим дорогу, но затем, когда толпа остановилась, не зная, что делать дальше, — он сообразил, что теперь остаётся только скрыться, так как дело принимало оборот очень серьёзный. И он счёл своей обязанностью позаботиться также о странном незнакомце.

Из переулка Матвея ввели в какое-то помещение, длинное, узкое и довольно тёмное. Здесь столпилось десятка два человек, разных национальностей, которые, чувствуя себя в безопасности, обсуждали события дня. Они горячо спорили при этом: одни находили, что митинг сорван напрасно, другие доказывали, что, наоборот, всё вышло хорошо, и факт прямого столкновения с полицией произведёт впечатление даже сильнее «слишком умеренных» речей Гомперса. Всё это привело, наконец, споривших к вопросу: что же им делать с странным незнакомцем?

Они приступили к Матвею с расспросами на разных языках, но он только глядел на них своими синими глазами, в которых виднелась щемящая тоска, и повторял: Миннесота... Дыма... Лозинский...

Наконец долговязый юноша пришёл к заключению, что не остаётся ничего другого, как переодеть Матвея и отправить его по железной дороге в Миннесоту. Достали одежду, которая сразу затрещала по швам, когда её напялили на Матвея, а затем привели парикмахера из членов того же общества. Сначала Матвей оказал было сопротивление, но когда молодой верзила очень красноречивым

жестом показал на шею, как бы охватывая её петлёй, — Матвей понял и покорно отдался своей судьбе. Через десять минут в небольшое зеркальце на Матвея глядело чужое, незнакомое лицо, с подстриженными усами и небольшой лопаткой вместо бороды.

Молодой человек похлопал его по плечу. Лозищанин понял, что эти люди заботятся о нём, хотя его удивляло, что этот беспечный народ относился к его печальному положению с каким-то непонятным весельем. Как бы то ни было, под вечер, совершенно преображённый, он покорно последовал за молодыми людьми на станцию железной дороги. Здесь у него взяли деньги, отсчитали, сколько было нужно, остальное (не очень много) отдали ему вместе с билетом, который проделали за ленту шляпы. Перед самым отходом поезда долговязый принёс ещё две бутылки сидра, большой белый хлеб и несколько фруктов. Всё это было уложено в корзине. Это до глубины души тронуло Матвея, который крепко обнял своего благодетеля.

— Ты мне всё равно, как родной, — сказал Матвей. — Никогда тебя не забуду... — Долговязый похлопал его по плечу, и вся компания, весело кивая и смеясь, проводила взглядами поезд, который понес Матвея по туннелям, по улицам, по насыпям и кое-где, кажется, по крышам, всё время звоня мерно и печально. Некоторое время в окнах вагона ещё мелькали дома проклятого города, потом засинела у самой насыпи вода, потом потянулись зелёные горы, с дачами среди деревьев, кудрявые острова на большой реке, синее небо, облака... потом большая луна, как вчера на взморье, — всплыла и повисла в голубоватой мгле над речною гладью...

Корзина с провизией склонилась в руках ослабевшего человека, сидевшего в углу вагона, и груши из нее посыпались на пол. Ближайший сосед поднял их, тихо взял корзину из рук спящего и поставил её рядом с ним. Потом вошёл кондуктор, не будя Матвея, вынул билет из-за ленты его шляпы и на место билета положил туда же белую картонную марку с номером. Огромный человек крепко спал сидя, и на лице его бродила печальная судорога, а порой губы сводило, точно от испуга...

А поезд летел, и звон, мерный, печальный, оглашал то спящие ущелья, то долины, то улицы небольших городов, то станции, где рельсы скрещивались, как паутина, где, шумя, как ветер в непогоду, пролетали такие же поезда по всем направлениям, с таким же звоном, ровным и печальным.

Впоследствии Матвею случилось ездить тою же дорогой, но впоследствии всё в Америке казалось ему уже другим, чем в эти печальные дни, когда поезд мчал его от Нью-Йорка, а куда — неизвестно. Он проспал чудные берега Гудзона и проснулся на время лишь в Сиракузах, где в окнах засветилось что-то снаружи зловещим красным светом. Это были громадные литейные заводы. Расплавленный чугун огненным озером лежал на земле, кругом стояли чёрные здания, чёрные люди бродили, как нечистые духи, чёрный дым уходил в тёмное мглистое небо, и колокола паровоза всё звонили среди ночи, однообразно и тревожно... Затем Бэффало, весь тоже во мгле и дыму. Потом, уже на заре, — в вагоне застучали отодвигаемые окна; повеяло утренней свежестью, американцы высунулись в окна, глядя куда-то с видимым любопытством.

-- Найагара, Найагара-фолл, — сказал кондуктор, торопливо проходя вдоль поезда, и тронул лозищанина за рукав, с удивлением глядя на человека, который один сидит в своём углу и не смотрит Ниагару.

Матвей поднялся и заглянул в окно. Было ещё темно, поезд как-то робко вползал на мост, висевший над клубящейся далеко внизу быстрой рекой. Мост вздрагивал и напрягался под тяжестью, как туго натянутая струна, а другой такой же мост, кинутый с берега на берег, на страшной высоте, казался тонкой полоской кружева, сквозившей во мгле. Внизу шумело пенистое течение реки, на скалах дремали здания городка, а под ними из камней струилась и падала книзу вода тонкими белыми лентами. Дальше пена реки сливалась с беловатым туманом, который клубился и волновался, точно в гигантском котле, закрывая зрелище самого водопада. Только глухой шум, неустанный, ровный и какой-то безнадежный, рвался оттуда, наполняя трепетом и дрожанием сырой воздух мгливой ночи. Будто в тумане ворочалось и клочкотало что-то огромное и глухо стонало, жалуясь, что нет ему покоя от века до века...

Поезд продолжал боязливо ползти над бездной, мост всё напрягался и вздрагивал, туман клубился, как дым огромного пожара, и, подымаясь к небу, сливался там с грядой дальних облаков. Потом вагон пошёл спокойнее, под колёсами зазвучала твёрдая земля, поезд сошёл с моста и потянулся, прибавляя ход, вдоль берега. Тогда стало

вдруг светлее, из-за облака, которое стояло над всем пространством огромного водопада, приглушая его грохот, выглянула луна, и водопад оставался сзади, а над водопадом всё стояла мгlistая туча, соединявшая небо и землю... Казалось, какое-то летучее чудовище припало в этом месте к реке и впилося в неё среди ночи, и ворчит, и роется, и клокочет...

Детройт остался у Матвея в памяти только тем, что железная дорога как будто вся целиком отделилась от земли и вместе с рельсами и поездом поплыла по воде. Это было уже следующей ночью, и на другом берегу реки, на огромном расстоянии, разлёгся город и тихо пламенел и сверкал синими, белыми, жёлтыми огнями. Потом поезд пронёсся утром мимо Чикаго. На правой стороне чуть не в самые рельсы ударяла синяя волна Мичигана — огромного, как море, и пароход, шедший прямо к берегу, выплывал из-за водного горизонта, большой и странннй, точно он взбирался на водяную гору... Ещё несколько часов вдоль берега, потом Мильвоки — и дорога отклонилась к западу...

Города становились меньше и проще, пошла леса и реки, потянулись поля и плантации кукурузы... И по мере того, как местность изменялась, как в окна врывается вольный ветер полей и лесов, — Матвей подходил к окнам всё чаще, всё внимательнее присматривался к этой стране, развёртывавшей перед ним, торопливо и мимолётно, мирные картины знакомой лозищанину жизни.

И вместе с тем, понемногу и незаметно, застывшая во вражде душа оскорблённого и загнанного человека начинала как будто таять. В одном месте он чуть не до половины высунулся из окна, провожая взглядом быстро промелькнувшую пашню, на которой мужчины и женщины вязали снопы пшеницы. В другом, опершись на сапы и кирки, смотрели на пробегающий поезд крепкие, загорелые люди, корчевавшие при поваленного леса. Матвею была знакома эта работа — и ему хотелось бы выскочить из вагона, взять в руки топор или кирку и показать этим людям, что он, Матвей Лозинский, может сделать с самым здоровым пнищем.

Но поезд всё звонил и летел, сменяя картину за картиной. Грустные дни чередовались с ещё более грустными ночами. И по мере того, как природа становилась доступнее, понятнее и проще, по мере того, как душа лозищанина всё более оттаивала и смягчалась, раскрываясь навстречу спокойной красоте мирной и понятной ему жизни:

по мере того, как в нём, на месте тупой вражды, вставало сначала любопытство, а потом удивление и тихое смирение, — по мере всего этого и наряду со всем этим его тоска становилась всё острее и глубже. Теперь он чувствовал, что и ему нашлось бы место в этой жизни, если бы он не отвернулся сразу от этой страны, от её людей, от её города, если бы он оказал более внимания к её языку и обычаю, если бы он не осудил в ней сразу, заодно, и дурное и хорошее... А теперь между ним и этой жизнью встало бродяжество и даже, может быть, — преступление...

И люди, хотя часто походили с виду на Падди, натинаяли всё-таки представляться лозищанину в другом свете. Пока он ехал, переходя с поезда на поезд, — не раз сменилась и публика, и кондукторская бригада. Не сменявшиеся пассажиры обращали внимание новых на огромного человека, чувствовавшего себя как будто неловко в своей одежде, робкого, застенчивого и беспомощного, как ребёнок. Никто его не тревожил, никто не надоедал никакими расспросами, но каждый раз, как приходилось менять вагон или пересаживаться на другой поезд, к Матвею подходил или кондуктор, или кто-нибудь из соседей, брал его за руку и вёл за собою на новое место. Большой человек покорно следовал в таких случаях за ними и глядел на провожавшего застенчивыми, но благодарными глазами.

Кроме того, здесь, в глубине страны, люди не казались уже до такой степени похожими друг на друга, как в том огромном городе, где Матвей испытал столько горестных приключений. В поезд то и дело садились рослые фермеры, загорелые, широкоплечие, в широких сюртуках и с бородами, которые могли бы и на них навлечь остроты нью-йоркских уличных бездельников. Порой суровый квакер в застёгнутом до шеи сюртуке, порой степной торговец скотом или охотник из Канады в живописном кожаном костюме, увешанном бахромой и кистями, — выделялись среди остальной публики, привлекая невольное внимание. А один раз у костра сидела в ожидании своего поезда группа бронзовых индейцев, возвращавшихся из Вашингтона, завернувшись в свои одеяла и равнодушно куривших трубки под взглядами любопытной толпы, высыпающей на это зрелище из поезда...

На одной станции у небольшого города, здания которого виднелись над рекой, под лесом, в вагон, где сидел Матвей, вошёл новый пассажир. Это был старик с худощавым лицом, сильно впавшими щеками, тонкими губами и острым, пронизательным взглядом. Человек вида странного, пожа-

луй даже смешного, тем более, что одет он был совсем оборванцем, а между тем держал себя уверенно и даже гордо. Его одежда, когда-то, вероятно, чёрная, — теперь стала серой от солнца, едкой белой пыли и многочисленных ржавых пятен. Его штаны были коротки, точно надеты с ребёнка, и сапоги порыжели ещё более, чем у Матвея, у которого они хранили всё-таки следы щёток негра Сама на Бродвее. Но на голове незнакомца был надет новенький лоснящийся цилиндр, а во рту торчала большая сигара, наполнявшая вагон тонким ароматом. Матвей удивлялся уже ранее, что здесь, повидимому, нет особых вагонов для «простого народа», а теперь подумал, что такого молодца в таких штанах, да ещё с сигарой, едва ли потерпят рядом с собой остальные пассажиры, несмотря даже на его новый цилиндр, как будто украденный. Но, к его удивлению, старика почтительно провожали с станции какой-то господин, очень щеголеватый, и кузнец, видимо только что отошедший от горна. Оба они пожимали ему руки на платформе, а когда он вошёл в вагон, — ближайший молодой человек, тоже одетый весьма старательно, приветливо посторонился, очищая место возле себя... Старик кивнул головой, вынул сигару, сплюнул и протянул молодому человеку руку в щегольской перчатке.

Между тем, поезд опять мчался дальше. Тёплый вечер спускался на поля, на леса, на равнины, закутывая всё лёгким сумраком, который становился всё сильнее и гуще. Мерное позванивание локомотива оглашало леса, молчаливо лежавшие по обе стороны дороги. И всякий раз при этом где-нибудь на полянке мелькал огонь, порой горел костёр, вокруг которого расположились дровосеки, порой светились окна домов... В одном месте семья садилась за ужин на открытом воздухе. В отворенных настежь дверях стояла женщина с ребёнком, и даже пламя свечей не колебалось в тихом лесном затишье.

Матвей глядел на всё это с смешанным чувством: чем-то родственным веяло на него от этого простора, где как будто ещё только закипала первая борьба человека с природой, и ему становилось грустно: так же вот где-нибудь живут теперь Осип и Катерина, а он... что будет с ним в неведомом месте после всего, что он наделал?

Ему стало так горько, что он решил лучше заснуть... И вскоре он действительно спал, сидя и закинув голову назад. А по лицу его, при свете электрического фонаря, проходили тени грустных снов, губы подёргивались, и брови сдвигались, как будто от внутренней боли...

Сон не всегда приходит к нам во-время. Если бы на этот раз Матвей не спал, то мог бы услышать много любопытного, и его похождения кончились бы благополучно и скоро.

Но он спал, когда поезд остановился на довольно продолжительное время у небольшой станции. Невдалеке от вокзала, среди вырубки, виднелись здания из свежесрубленного леса. На платформе царствовало необычайное оживление: выгружали земледельческие машины и камень, слышалась беготня и громкие крики на странном горловом жаргоне. Пассажиры-американцы с любопытством выглядывали в окна, находя, повидимому, что эти люди суетятся гораздо больше, чем бы следовало при данных обстоятельствах.

— Простите, сэр, — спросил пассажир, ехавший в поезде из Мильвоки, — что это за народ?

— Русские евреи, — ответил спрошенный. — Они основали колонию около Дебльтуна...

В это время у открытой боковой двери вагона остановились две фигуры, и послышались звуки русской речи.

— Слушай, Евгений, — говорил один высоким тенором, с лёгким гортанным акцентом. — Ещё раз: оставайся с нами.

— Нет, не могу, — ответил другой грудным баритоном. — Тянет, понимаешь... Эти последние известия...

— Такая же иллюзия, как и прежде!.. И из-за этих фантазий ты отворачиваешься от настоящего, хорошего, живого дела: дать новую родину тысячам людей, произвести социальный опыт...

— Все это так и при других условиях... Повторяю тебе: тянет. А что касается фантазий, то... во-первых, Самуил, только в этих фантазиях и жизнь... будущего! А во-вторых, ты сам со своим делом...

— All right (готово)! — крикнул кто-то на платформе.

— Please in the case (прошу в вагоны)! — раздались приглашения кондукторов. Два приятеля крепко обнялись, и один из них вскочил в вагон уже на ходу.

Это был высокий, молодой ещё человек, с неправильными, невыразительными чертами лица; в запылённой одежде и обуви, как будто ему пришлось в этот день много ходить пешком. Он положил небольшой узелок на полку, над головой Матвея, — и затем его взгляд упал на лицо спящего. В это время Матвей, быть может, под

влиянием этого взгляда, раскрыл глаза, сонные и печальные. Несколько секунд они смотрели друг на друга. Но затем голова Матвея опять откинулась назад, и из его широкой груди вырвался глубокий вздох... Он опять спал.

Пришелец ещё несколько секунд смотрел в это лицо... Несмотря на то, что Матвей был теперь переодет и гладко выбрит, что на нём был американский пиджак и шляпа, — было всё-таки что-то в этой фигуре, пробуждавшее воспоминания о далёкой родине. Молодому человеку вдруг вспомнилась равнина, покрытая глубоким мягким снегом, звон колокольчика, высокий бор по сторонам дороги и люди с такими же глазами, торопливо сворачивающие свои сани перед скачущей тройкой...

Может быть, и Матвею вспомнилось что-нибудь в этом роде. Губы его шевелились и бормотали что-то, и на лице виднелось выражение покорной просьбы.

Всю эту короткую молчаливую сцену наблюдал серый господин в цилиндре своими рысьими глазками, в которых светилось странное выражение — какого-то насмешливого доброжелательства.

— How do you do (здравствуйте), mister Nilov, — окликнул он, видя, что русский его не замечает. Тот вздрогнул и живо повернулся.

— А! Здравствуйте, судья Дикинсон, — ответил он на чистом английском языке, протягивая судье руку. — Простите, я вас не заметил.

— О, это ничего. Вы заинтересовались этим пассажиром?.. Меня он тоже интересуется... Он едет, повидимому, издалека.

— Из Мильвоки, — сказал один из пассажиров.

— О, нет, — вмешался другой. — Я еду из Мильвоки и уже застал его в поезде. Он, кажется, сел в Чикаго, а может быть, и в Нью-Йорке. Он не говорит ни слова по-английски и беспомощен, как ребёнок.

— Очевидно, иностранец, — сказал судья Дикинсон, меряя спящего Матвея испытующим, внимательным взглядом. — Атлетическое сложение!.. А вы, мистер Нилов, кажется, были у ваших земляков? Как их дела? Я видел: они выписали хорошие машины; лучшая марка в Америке.

— Да... теперь им ещё трудно. Но они надеются.

— Читали вы извлечение из отчётов эмиграционного комитета?.. Цифра переселенцев из России растёт.

— Да, — кратко ответил Нилов.

— А кстати: в том же номере «Дэбьтоунского курье-

ра» есть продолжение истории нью-йоркского дикаря, И знаете: оказывается, что он тоже русский.

— В таком случае, сэр, он не дикарь, — сказал Нилов сухо.

— Гм... да... Извините, мистер Нилов... Я, конечно, не говорю о культурной части нации... Но... до известной степени всё-таки... человек, который кусается...

— Без сомнения, он не кусается, сэр. Не все газетные известия верны.

— Однако... его поступок с полисменом Гопкинсом?

— Полисмен Гопкинс, судя даже по газетам, первый ударил его по голове кlobом... Считаете вы его дикарём?

Серый джентльмен засмеялся и сказал:

— О! Но это немного другое дело... Полицейские этой страны снабжаются кlobами для известного употребления. И раз иностранец нарушает порядок...

— Мне очень жаль это слышать от судьи, — сказал Нилов холодно.

Серый джентльмен несколько выпрямился, видимо, задетый, и сказал:

— Судью Дикинсона ещё никто не упрекал за опрометчивые суждения... в его камере. Здесь мы имеем дело с фактами, как они изложены в газетах... Я вас обидел чем-нибудь, мистер Нилов?

— Вы меня не обидели. Но если вы знаете полицейских вашей страны, то я знаю людей моей родины. И я считаю оскорбительной нелепостью газетные толки о том, что они кусаются. Вполне ли вы уверены, что ваши полицейские не злоупотребляют кlobами без причины?

Серый господин вынул изо рта сигару и некоторое время смотрел на собеседника, как будто удивлённый неожиданным оборотом разговора.

— Гм... да, — сказал он. — Если взглянуть на дело с этой точки зрения... По совести, я в этом далеко не уверен... И поступи это дело ко мне, я потребовал бы разъяснения... Повидимому, у вас есть идея всего события?

— Да, у меня есть идея события... Я думаю, что мой земляк попал на митинг случайно... И случайно встретился с Гопкинсом.

— Ну, а зачем он наклонился и старался схватить его... гм... одним словом... как это изложено в газетах?

— Правда состоит, вероятно, в том, что он наклонился... К сожалению, сэр, на моей родине люди действительно кланяются иногда слишком низко...

— Вы думаете? Ха! Это кажется невероятным. Наме-

рение укусить и именно за руку... Это по меньшей мере требовало бы доказательств...

— А если на приветствие последовал хороший удар по голове...

— Ха-ха! Это, конечно, затемняет рассудок и освобождает страсти! Положительно я считаю дело почти выясненным. Вы были бы отличным адвокатом. О, да! Вы могли бы стать лучшим адвокатом нашего города!.. И если вы всё-таки предпочитаете работать на моей лесопилке...

Он стряхнул пепел с своей сигары и впился в лицо Нилова своими живыми, острыми глазками. Затем, сглянувшись на других пассажиров и желая придать разговору больше интимности, он пересел на скамью рядом с Ниловым, положил ему руку на колено и сказал, понизив голос:

— Извините меня, мистер Нилов... Дик Дикинсон человек любопытный. Позвольте вы мне предложить вам несколько вопросов, так сказать... личного свойства?

— Сделайте одолжение. Если они будут неудобны, я не отвечу.

— О, конечно, конечно! — засмеялся Дикинсон. — Видите ли: вы третий русский джентльмен, которого я встречаю... Скажите — много американцев видели вы у себя на родине?

— Встречал, хотя... очень немного.

— И, наверное, они меняли своё среднее положение на лучшие условия у вас?..

— Пожалуй...

— Скажите теперь... Может быть, я ошибаюсь, но... Мне кажется... вы лично не поступили ли наоборот?.. И здесь вы уже несколько раз имели случай скинуть рабочую блузу и сделать лучшую карьеру...

Нилов бросил взгляд на невероятный костюм старого джентльмена и ответил, улыбнувшись:

— Я вижу на вас, судья Дикинсон, ваш рабочий костюм!

— О, это немного другое дело, — ответил Дикинсон. — Да, я был каменщиком. И я поклялся надевать доспехи каменщика во всех торжественных случаях... Сегодня я был на открытии банка в Н. Я был приглашён учредителями. А кто приглашает Дика Дикинсона, тот приглашает и его старую рабочую куртку. Им это было известно.

— Я очень уважаю эту черту, сэр, — сказал серьезно Нилов. — Но...

— Но, повторяю, это другое дело. Я надеваю старое рабочее платье и лучшие перчатки из Нью-Йорка. Это напоминает мне, чем я был и чем стал, то есть чем именно я обязан моим старым доспехам. Это — моё прошлое и моё настоящее...

Он замолк, пожевал сигару своими тонкими ироническими губами и, пристально глядя на молодого человека, прибавил:

— Вы, кажется, идёте обратным путём, и в старости вам, пожалуй, захочется надеть ваш фрак.

— Надеюсь, что нет, — ответил Нилов. — Однако, кажется, поезд останавливается. Это — лесопилка, и я здесь сойду. До свидания, сэр!

— До свидания. Я оставляю ещё за собой свои вопросы...

Нилов, снимая свой узел, ещё раз пристально и как будто в нерешимости посмотрел на Матвея, но, заметив острый взгляд Дикинсона, взял узел и попрощался с судьёй. В эту самую минуту Матвей открыл глаза, и они с удивлением остановились на Нилове, стоявшем к нему в профиль. На лице проснувшегося проступило как будто изумление. Но, пока он протирал глаза, поезд, как всегда в Америке, резко остановился, и Нилов вышел на платформу. Через минуту поезд нёсся дальше.

Дикинсон пересел на своё место, и американцы стали говорить об ушедшем.

— Да, — сказал судья, — это третий русский джентльмен, которого я встречаю, и третий человек, которого я не могу понять...

— Быть может... из секты Лео Толстого, — предположил один из собеседников.

— Не знаю... Но он, видимо, получил прекрасное образование, — продолжал Дикинсон задумчиво. — И уже несколько раз, на моих глазах, пропускает прекрасные шансы... Когда я исполнил свой первый небольшой подряд, мистер Дэглас, инженер, сказал мне: «Я вами доволен, Дик Дикинсон. Скажите мне, в чём ваша амбиция». Я усмехнулся и сказал: «Для первого случая, я непрочь попасть в президенты». Мистер Дэглас засмеялся тоже и ответил: «Верно, Дик! Не могу поручиться, что вы станете президентом, но вы построите целый город и станете в нём головой...»

— И это оправдалось, — сказал почтительно самый юный из пассажиров.

— Да, — продолжал Дикинсон. — Понять человека, зна-

чит узнать, чего он добивается. Когда я заметил этого русского джентльмена, работавшего на моей лесопилке, я тоже спросил у него: — What is your ambition. — И знаете, что он мне ответил? «Я надеюсь, что приготовлю вам фанеры не хуже любого из ваших рабочих...»

— Да, всё это странно, — сказал один из собеседников.

Между тем, Матвей, который опять задремал в поезде после ухода Нилова, — вздрогнул и забормотал во сне.

— Вот тоже человек, которого трудно понять, — засмеялся один из американцев.

— Я не встречал никого, кто мог бы так много спать в таком неудобном положении.

Судья Дикинсон внимательно посмотрел на Матвея и потом сказал:

— Я готов биться об заклад: на душе этого человека... беспокойно. Я не знаю, куда он едет, но предпочёл бы, чтобы он миновал наш город. О! у меня на этот счёт верный глаз...

XXIX

Звон раздавался чаще, поезд замедлял ход, кондуктор вошёл в вагон и отобрал билеты у серого старика и у его молодого соседа. Потом он подошёл к спавшему Матвею и, тронув его за рукав, сказал:

— Дэбльтоун, Дэбльтоун, сэр...

Матвей проснулся, раскрыл глаза, понял и вздрогнул всем телом. Дэбльтоун! Он слышал это слово каждый раз, как новый кондуктор брал билет из-за его шляпы, и каждый раз это слово будило в нём неприятное ощущение. Дэбльтоун, поезд замедлил ход, берут билет, значит, конец пути, значит, придётся выйти из вагона... А что же дальше, что его ждёт в этом Дэбльтоуне, куда ему взяли билет, потому что до этого места хватило денег...

В окнах вагона замелькали снаружи огни, точно бриллиантовые булавки, воткнутые в темноту гор и лесов. Потом эти огни сбежали далеко вниз, отразились в каком-то клочке воды, потом совсем исчезли, и мимо окна, шипя и гудя, пробежала гранитная скала так близко, что на ней ясно отражался жёлтый свет из окон вагона... Затем под поездом загудел мост, опять появились далёкие огни над рекой, но теперь они взбирались всё выше, подбегали всё ближе, заглядывая в вагон вплотную и

быстро исчезая назад. На паровозе звонили без перерыва, потому что поезд, едва замедливший ход, мчался теперь по главной улице города Дэблтоуна...

— Видели ли вы, сэр, как этот незнакомец вздрогнул? — спросил молодой человек, очевидно заискивавший у судьи Дикинсона.

— Я всё видел, — ответил старик. — Дик Дикинсон примет свои меры.

Через минуту двери домов в Дэблтоуне раскрывались, и жители выходили навстречу своих приезжих. Вагон опустел. Молодой человек ещё долго кланялся мистеру Дикинсону и напоминал о поклоне мисс Люси. Потом он отправился в город и посеял там некоторое беспокойство и тревогу.

Город Дэблтоун был молодой город молодого штата. Прошло не более восьми лет с тех пор, как были распланированы его улицы у линии новой железной дороги, и с тех пор городок жил тихою жизнью американского захолустья. Совершенно понятно, что среди однотонной рабочей жизни город Дэблтоун жадно поглотил известие, что с последним поездом прибыл человек, который не сказал никому ни слова, который вздрагивал от прикосновения, который, наконец, возбудил сильные подозрения в судье Дикинсоне, самом эксцентричном, но и самом уважаемом человеке Дэблтоуна.

Сйдя с поезда, судья Дикинсон тотчас же подозвал единственного дэблтоунского полисмена и, указав на фигуру Матвея, нерешительно стоявшего на залитой электрическим светом платформе, сказал:

— Посмотрите, Джон, куда отправится этот приезжий. Надо узнать намерения этого молодца. Боюсь, что нам не придётся узнать ничего особенно хорошего.

Полисмен Джон Келли отошёл и скрылся под тенью какого-то сарая, гордясь тем, что, наконец, и ему выпало на долю исполнять некоторое довольно тонкое поручение.

Однако Джону Келли скоро стало казаться, что у незнакомца не было никаких намерений. Он просто вышел на платформу без всякого багажа, только с корзиной в руке, даже, повидимому, без всякого плана действий и тупо смотрел, как удаляется поезд. Раздался звон, зашипили колёса, поезд пролетел по улице, мелькнул в полосе электрического света около аптеки, а затем потонул в темноте, и только ещё красный фонарик сзади несколько времени посылал прощальный привет из глубины ночи...

Ложищанин вздохнул, оглянулся и сел на скамью, под

забором, около опустевшего вокзала. Луна поднялась на середину неба, фигура полисмена Джона Келли стала выступать из сократившейся тени, а незнакомец всё сидит ничем не обнаруживая своих намерений по отношению к засыпавшему городу Дэблтоуну.

Тогда Джон Келли вышел из засады и, согласно уговору, постучался в окно к судье Дикинсону.

Судья Дикинсон высунул голову с выражением человека, который знал вперёд всё то, что ему пришли теперь сообщить.

— Ну что, Джон? Куда направился этот молодец?

— Он никуда не отправился, сэр. Он всё сидит на том же месте.

— Он всё сидит... Хорошо. Обнаружил он чем-нибудь свои намерения?

— Я думаю, сэр, что у него нет никаких намерений.

— У всякого человека есть намерения, Джон, — сказал Дикинсон с улыбкой сожаления к наивности дэблтоунского стража. — Поверьте мне, у всякого человека непременно есть какие-нибудь намерения. Если я, например, иду в булочную, — значит, я намерен купить белого хлеба, это ясно, Джон. Если я ложусь в постель, — очевидно, я намерен заснуть. Не так ли?

— Совершенно справедливо, сэр.

— Ну, а если бы... (тут лицо старого джентльмена приняло лукавое выражение), если бы вы увидели, что я хожу в полночь около железнодорожного склада, осматривая замки и двери... Понимаете вы меня, Джон?

— Как нельзя лучше, сэр... Однако... Если человек только сидит на скамье и вздыхает...

— Уэлл! Это, конечно, не так определённо. Он имеет право, как и всякий другой, сидеть на скамье и вздыхать хоть до утра. Посмотрите только, не станет ли он делать чего-нибудь похуже. Дэблтоун полагается на вашу бдительность, сэр! Не пойдёт ли незнакомец к реке, нет ли у него сообщников на барках, не ждёт ли он случая, чтобы ограбить железнодорожный поезд, как это было недавно около Мадисона... Пойдите ещё, Джон.

Дик Дикинсон прислушался: к станции подходил поезд. Судья посмотрел на Джона своими острыми глазами и сказал:

— Джон!

— Слушаю, сэр!

— Я сильно ошибаюсь, если вы найдёте его на месте. Он хотел обмануть вашу бдительность и достиг этого.

Он, вероятно, сделал своё дело и теперь готовится сесть в поезд. Поспешите.

Окно Дикинсона захлопнулось, а Джон Келли бегом отправился на вокзал. Человек без намерений всё сидел на прежнем месте, низко опустив голову. Джон Келли стал искать тени, подлиннее и погуще, чтобы пристроить к ней свою долговязую фигуру. Так как это не удавалось, то Келли решил, что ему необходимо присесть у стены склада. А затем голова Джона Келли сама собой прислонилась к стене, и он сладко заснул. Судья Дикинсон подождал ещё некоторое время, но, видя, что полисмен не возвращается, решил, что человек без намерений оказался на месте. Он хотел уже тушить свою лампу, когда ему доложили, что с поезда явился к нему человек по экстренному делу.

Действительно, в его комнату вошёл торопливой походкой человек довольно неопределённого вида, в котором, однако, опытный глаз судьи различил некоторые специфические черты детектива (сыщика).

— Вы здешний судья? — спросил незнакомец, поклонившись.

— Судья города Дэблтоуна, — ответил Дикинсон важно.

— Мне необходим приказ об аресте, сэр.

— А! Я так и думал... Человек высокого роста, атлетического сложения?.. Прибыл с предыдущим поездом?..

Сыщик посмотрел с удивлением на пронизательного судью и сказал:

— Как? Вам уже известно, что нью-йоркский дикарь?..

Судья Дикинсон быстро взглянул на сыщика и сказал:

— Ваши полномочия?

Новоприбывший потупился.

— Я так спешно отправился по следам, что не успел застаться специальными приказами. Но история так известна... Дикарь, убивший Голкинса...

— По последним телеграммам, — сказал холодно судья, — здоровье полисмена Голкинса находится в отличном состоянии. Я спрашиваю ваши полномочия?

— Я уже сказал вам, сэр... Дело очень важно, и притом — он иностранец.

— Иначе сказать, — вы часто облегчаете себе задачу с иностранцами. Я не дам приказа.

— Но, сэр... это опасный субъект.

— Полиция города Дэблтоуна исполнит свой долг, сэр, — сказал судья Дикинсон надменно. — Я не допущу,

чтобы впоследствии писали в газетах, что в городе Дэблтоуне арестовали человека без достаточных оснований.

Незнакомец вышел, пожав плечами, и отправился прежде всего на телеграф, а судья Дикинсон лёг спать, совершенно уверенный, что теперь у полиции города Дэблтоуна есть хорошая помощь по надзору за человеком без намерений. Но прежде, чем лечь, он послал еще телеграмму, вызывавшую на завтра мистера Евгения Нилова...

XXX

Наутро Джон Келли явился к судье.

— Ну, что скажете, Джон? — спросил у него Дикинсон.

— Всё в порядке, сэр. Только... Там за ним следит ещё кто-то.

— Знаю. Человек небольшого роста, в сером костюме.

Джон Келли с благоговением посмотрел на всезнающего судью и продолжал:

— Он всё сидит, сэр, опустив голову на руки. Когда поутру проходил железнодорожный сторож, он только посмотрел на него. «Как больная собака», — сказал Виллиамс.

— И ничего больше?

— Около незнакомца собирается толпа... Вся площадка и сквер около вокзала заняты народом, сэр.

— Что им нужно, Джон?

— Они, вероятно, тоже хотят узнать его намерения... И притом, разнёсся слух, будто это дикарь, убивший полисмена в Нью-Йорке...

Донесение Джона было совершенно справедливо. За ночь слухи о том, что с поездом прибыл странный незнакомец, намерения которого возбудили подозрительность м-ра Дикинсона, — успели вырасти, и наутро, когда оказалось, что у незнакомца нет никаких намерений и что он просидел всю ночь без движения, город Дэблтоун пришёл в понятное волнение. Около странного человека стали собираться кучки любопытных, сначала мальчики и подростки, шедшие в школы, потом приказчики, потом дэблтоунские дамы, возвращавшиеся из лавок и с базаров, — одним словом, весь Дэблтоун, постепенно просыпавшийся и принимавшийся за свои обыденные дела, перебивал на площадке городского сквера, у железнодорожной станции, стараясь, конечно, проникнуть в намерения незнакомца...

Но это было очень трудно, так как незнакомец всё сидел на месте, вздыхал, глядел на проходящих и порой

отвечал на вопросы непонятными словами. А между тем, у Матвея к этому времени уже было намерение. Рассмотрев внимательно своё положение, в эту долгую ночь, пока город спал, а невдалеке сновали тени полицейского Келли и приезжего сыщика, он пришёл к заключению, что от судьбы не уйдёшь, судьба же представлялась ему, человеку без языка и без паспорта, — в виде неизбежной тюрьмы... Он долго думал об этом и решил, что, раньше или позже, а без знакомства с американской кутузкой дело обойтись не может. Так пусть уж лучше раньше, чем позже. Он покажет знаками, что ничего не понимает, а об истории в Нью-Йорке здесь, конечно, никто не знает... Поэтому он даже вздохнул с облегчением и с радостной доверчивостью поднялся навстречу добродушному Джону Келли, который шёл к нему, расталкивая толпу.

Судья Дикинсон вышел в свою камеру, когда шум и говор раздались у его дома, и в камеру ввалилась толпа. Незнакомый великан кротко стоял посередине, а Джон Келли сиял торжеством.

— Он обнаружил намерение, г. судья, — сказал полисмен, выступая вперёд.

— Хорошо, Джон. Я знал, что вы оправдаете доверие города... Какое же именно намерение он обнаружил?

— Он хотел укусить меня за руку.

Мистер Дикинсон даже откинулся на своём кресле.

— Укусить за руку?.. Так это всё-таки правда? Уверены ли в этом, Джон Келли?

— У меня есть свидетели.

— Хорошо. Мы спросим свидетелей. Случай требует внимательного расследования. Не пришёл ещё мистер Нилов?

Нилова ещё не было. Матвей глядел на всё происшедшее с удивлением и неудовольствием. Он решил идти навстречу неизбежности, но ему казалось, что и это делается здесь как-то не по-людски. Он представлял себе это дело гораздо проще. У человека спрашивают паспорт, паспорта нет. Человека берут, и полицейский, с книгой подмышкой, ведёт его куда следует. А там уж, что будет, то есть как решит начальство.

Но здесь и это простое дело не умеют сделать как следует. Собралась зачем-то толпа, точно на зверя, все валят в камеру, и здесь сидит на первом месте вчерашний оборванец, правда, теперь одетый совершенно прилично, хотя без всяких знаков начальственного звания... Матвей стал озираться по сторонам с признаками негодования.

Между тем судья Дикинсон приступил к допросу.
— Прежде всего, установим национальность и имя, —
сказал он. — *How name* (ваше имя)?

Матвей молчал.

— *How nation* (ваша национальность)? — И, не получая ответа, судья посмотрел на публику. — Нет ли здесь кого-нибудь, знающего хоть несколько слов по-русски? Миссис Брайс! Кажется, ваш отец был родом из России?..

Из толпы вышла женщина лет сорока, небольшого роста, с голубыми, как и у Матвея, хотя и значительно выцветшими глазами. Она стала против Матвея и как будто начала припоминать что-то.

В камере водворилось молчание. Женщина смотрела на лозицианина. Матвей впился глазами в её глаза, тусклые и светлые, как лёд, но в которых пробивалось что-то, как будто старое воспоминание. Это была дочь поляка-эмигранта. Её мать умерла рано, отец спился где-то в Калифорнии, и её воспитали американцы. Теперь какие-то смутные воспоминания шевелились в её голове. Она давно забыла свой язык, но в её памяти еще шевелились слова песни, которой мать забавляла когда-то её, малого ребёнка. Вдруг глаза её засветились, и она приподняла над головой руку, щёлкнула пальцами, повернулась и запела по-польски, как-то странно, точно говорящая машина:

Наша мат-ка... ку-ропат-ка...
Рада бить дет-ей...

Матвей вздрогнул, рванулся к ней и заговорил быстро и возбуждённо. Звуки славянского языка дали ему надежду на спасение, на то, что его, наконец, поймут, что ему найдётся какой-нибудь выход...

Но глаза женщины уже потухли. Она помнила только слова песни, но и в ней не понимала ни слова. Потом поклонилась судье, сказала что-то по-английски и отошла...

Матвей кинулся за ней, крича что-то, почти в исступлении, но немец и Келли загородили ему дорогу. Может быть, они боялись, что он искушает эту женщину, как хотел укусить полисмена.

Тогда Матвей схватился за ручку скамейки и пошатнулся. Глаза его были широко открыты, как у человека, которому представилось страшное видение. И действительно, — ему, голодному, истерзанному и потрясённому, первый раз в жизни приёиделся сон наяву. Ему представилось совершенно ясно, что он ещё на корабле, стоит на самой корме, что голова у него кружится, что он па-

дает в воду. Это снилось ему не раз во время путешествия, и он думал после этого, что чувствуют эти бедняки, с разбитых кораблей, одни, без надежды, среди этого бездушного, бесконечного и грозного океана.

Теперь этот самый сон проносился перед его широко открытыми глазами. Вместо судьи Дикинсона, вместо полицейского Келли, вместо всех этих людей, вместо камеры, — перед ним ясно ходили волны, пенистые, широкие, холодные, без конца, без края... Они ходят, грохочут, плещут, поднимаются, топят... Он напрасно старается вынырнуть, крикнуть, позвать, схватиться, удержаться на поверхности... Что-то тянет его книзу. В ушах шумит, перед глазами зелёная глубина, таинственная и страшная. Это гибель. И вдруг к нему склоняется человеческое лицо, с светлыми застывшими глазами. Он оживает, надеется, он ждёт помощи. Но глаза тусклы, лицо бледно. Это лицо мертвеца, который утонул уже раньше...

Вся эта картина мелькнула на одно мгновение, но так ясно, что его сердце сжалось ужасом. Он глубоко вздохнул и схватился за голову... «Господи боже, святая дева, — бормотал он, — помогите несчастному человеку. Кажется, что в голове у меня неладно...»

Он протёр глаза кулаком и опять стал искать надежду на лицах этих людей.

А в это время полицейский Джон объяснил судье Дикинсону, при каких обстоятельствах обнаружили намерения незнакомца. Он рассказал, что, когда он подошёл к нему, тот взял его руку вот так (Джон взял руку судьи), потом наклонился вот этак...

И полицейский Джон, наклонившись к руке судьи, для большей живости оскалил свои белые зубы, придав всему лицу выражение дикой свирепости.

Эта демонстрация произвела сильное впечатление на публику, но впечатление, произведённое ею на Матвея, было ещё сильнее. Этот язык был и ему понятен. При виде манёвра Келли, ему стало сразу ясно очень многое: и то, почему Келли так резко отдёрнул свою руку, и даже, за что он, Матвей, получил удар в Центральном парке... И ему стало так обидно и горько, что он забыл всё.

— Неправда, — крикнул он, — не верьте этому подлому человеку...

И, возмущённый до глубины души клеветой, он кинулся к столу, чтобы показать судье, что именно он хотел сделать с рукой полисмена Келли...

Судья Дикинсон вскочил со своего места и наступил

при этом на свою новую шляпу. Какой-то дюжий немец, Келли и ещё несколько человек схватили Матвея сзади, чтобы он не искусал судью, выбранного народом Дэблтоуна; в камере водворилось волнение, небывалое в летописях города. Ближайшие к дверям кинулись к выходу, толпились, падали и кричали, а внутри происходило что-то непонятное и страшное...

Измученный, голодный, оскорблённый, доведенный до иступления, — лозищанин раскидал всех вцепившихся в него американцев, и только дюжий, как и он сам, немец ещё держал его сзади за локти, упираясь ногами... А он рвался вперёд, с глазами, налившимися кровью, и чувствуя, что он действительно начинает сходить с ума, что ему действительно хочется кинуться на этих людей, бить и, пожалуй, кусаться...

Неизвестно, что было бы дальше. Но в это время в камеру быстро вошёл Нилов. Он протолкался к Матвею, стал перед ним и спросил с участием, по-русски:

— Эй, земляк! Что это вы тут натворили?

При первых звуках этого голоса Матвей рванулся и, припав к руке новопришедшего, стал целовать её, рыдая, как ребёнок...

Через четверть часа камера мистера Дикинсона опять стала наполняться обывателями города Дэблтоуна, узнавшими, что по обстоятельствам дела намерение незнакомца разъяснилось в самом удовлетворительном смысле. В лице русского джентльмена, работающего на лесопилке, он нашёл земляка и адвоката, которому не стоило много труда опровергнуть обвинение. Судья Дикинсон получил вполне удовлетворительные ответы на вопросы: «Joug pame?» «Joug nation?» и на все другие, вытекавшие из обстоятельств дела. Гордый полным успехом, увенчавшим его разбирательство, — он великодушно забыл даже о новой шляпе и, быстро покончив с официальными отношениями, протянул обвиняемому руку, выразив при этом уверенность, что выбор именно Дэблтоуна из всех городов союза делает величайшую честь его проницательности... В заключение он предложил Матвею партикулярный вопрос:

— Гоу до ю лайк дис кэунтри, сэр?

— Он хочет знать, как вам понравилась Америка, — перевёл Нилов.

Матвей, который всё ещё дышал довольно тяжело, махнул рукой. — А! чтоб ей провалиться, — сказал он искренно.

— Что сказал джентльмен о нашей стране? — с любопытством переспросил судья Дикинсон, одновременно возбуждая великое любопытство в остальных присутствующих.

— Он говорит, что ему нужно время, чтобы оценить все достоинства этой страны, сэр...

— Вэри уэлл! Ответ, совершенно достойный благодарного джентльмена! — сказал Дикинсон тоном полного удовлетворения.

XXXI

На следующий день газета города Дэблтоуна вышла в увеличенном формате. На первой странице её красовался портрет мистера Мэтью, нового обитателя славного города, а в тексте, снабжённом достаточным количеством весьма громких заглавий, редактор её обращался ко всей остальной Америке вообще и к городу Нью-Йорку в особенности. «Отныне, — писал он, — город Дэблтоун может гордиться тем обстоятельством, что его судья, мистер Дикинсон, удачно разрешил вопрос, над которым тщетно ломали головы лучшие учёные этнографы Нью-Йорка. Знаменитый дикарь, виновник инцидента в Central park'e, известие о котором обошло всю Америку в столь искажённом виде, в настоящее время является гостем нашего города. После весьма искусного расследования, произведённого чрезвычайно сведущим в своём деле судьёй, м-ром Дикинсоном, — он оказался русским, уроженцем Лозищанской губернии (одной из лучших и самых просвещённых в этой великой и дружественной стране), христианином и, — добавим от себя, — очень кротким человеком, весьма приятным в обращении и совершенно лойяльным. Он обнаружил истинно христианскую радость, узнав о том, что здоровье полисмена Гопкинса, считавшегося убитым, находится в вожделенном состоянии и что этот полисмен уже приступил к исполнению своих обычных обязанностей. Тем лучше для полисмена Гопкинса, но, смеем прибавить, основываясь на мнении лучших юристов нашего города, что в этом вопросе является заинтересованным лицом единственно лишь сам полисмен Гопкинс, так как он сам виновен в постигшем его несчастии. Да, повторяем, он сам виновен, так как первый ударил кlobом по голове мирного иностранца, обратившегося к нему с выражением любви и доверия. Если судьи города Нью-Йорка думают иначе, если адвокат этого штата пожелает доказывать противное, или сам полисмен Гопкинс вознамерится искать убытки, то они бу-

дут иметь дело с лучшими юристами Дэблтоуна, выразившими готовность защищать обвиняемого безвозмездно. Едва ли, однако, в этом представится надобность после того, как мы разоблачим на этих столбцах ещё одну клевету, которой наши нью-йоркские собратия по перу, без достаточной проверки, очернили репутацию Мэтью Лозинского, нашего уважаемого гостя и, надеемся, — будущего согражданина. Дело в том, что он *вовсе не кусается*. Движение, которое полисмен Гопкинс истолковал в этом позорном смысле (что *вовсе не* делает чести прощительности нью-йоркской полиции), — имеет, наоборот, значение самого горячего привета и почтения, которым в Лозищанской губернии обмениваются взаимно люди самого лучшего круга. Он просто наклонился, чтобы поцеловать у Гопкинса руку. То же движение мы имели случай наблюдать с его стороны по отношению к судье Дикинсону, полисмену Джону Келли, а также к одному из его соотечественников, занимающему ныне очень скромное положение на лесопилке м-ра Дикинсона, но которому его таланты и образование, без сомнения, откроют широкую дорогу в этой стране. Нет сомнения, что если бы и у нас на это выражение высшей деликатности последовал грубый ответ по голове клобом, то полисмен города Дэблтоуна испытал бы горькую судьбу полисмена города Нью-Йорка, так как русский джентльмен обладает необыкновенной физической силой. Но Дэблтоун, — говорим это с гордостью, — не только разрешил этнографическую загадку, оказавшуюся не по силам кичливому Нью-Йорку, но ещё подал сказанному городу пример истинно христианского обращения с иностранцем, — обращения, которое, надеемся, изгладит в его душе горестные воспоминания, порождённые пребыванием в Нью-Йорке.

«Из судебной камеры мистер Нилон, — русский джентльмен, о котором сказано выше, — увёл соотечественника в своё жилище, находящееся в небольшом рабочем посёлке, около лесопилки. Значительная часть населения города Дэблтоуна, состоявшая преимущественно из юных джентльменов и лэди, провожала их до самого дома одобрительными криками, и даже после того, как дверь за ними закрылась, народ не расходился, пока мистер Нилон не вышел вновь и не произнёс небольшого спича на тему о будущем процветании славного города... Он закончил просьбой дать отдых его скромному соотечественнику, не привыкшему к столь шумным изъявлениям общественной симпатии».

Разумеется, автор красноречивой статьи не знал, что, когда граждане города Дэбльтоуна разошлись, Матвей вздохнул с облегчением и сказал:

— Что?.. совсем ушли?

— Да, — ответил Нилов, принявшийся готовить кофе на керосинке.

— А, чтоб их всех взяла холера!.. — от души сказал Матвей и как-то весь опустился.

Нилов только улыбнулся и не сказал ничего; он понимал, что столько пережитых ощущений могут свалить даже такого сильного человека. Поэтому он наскоро наполнил его горячим кофе и уложил спать.

XXXII

Матвей проспал целые сутки и даже несколько больше. Когда он проснулся, солнце уходило из светлой каморки, озаряя её последними лучами. Нилов, вернувшийся с работы, снимал с себя синюю блузу, всю в стружках и опилках. Стружки видны были даже в его волосах. Матвей некоторое время не мог сообразить, где он и что с ним происходит. Поэтому сначала он смотрел прищуренными глазами, как-то подозрительно следя за движениями молодого человека, боясь, что это сон, который сейчас сменится новой кутерьмой неприятного свойства.

Между тем, Нилов тихонько переоделся, сменив рабочий костюм лёгкой фланелевой парой, и, сев к столу, раскрыл какую-то книгу.

В этом виде он совсем не напоминал рабочего, и в памяти лозищанина ожил опять мимолётный образ, который мелькнул уже раз в вагоне. Ему вспомнился барский дом около Лозищей, выглядывавший из-за зелени сада. Между этим домом и посёлком шла давняя вражда и долгая тяжба из-за чиншевых земель. Она началась при отцах, продолжалась при детях и склонялась то на ту, то на другую сторону. Дело грозило большими запутанностями и неприятностями, как вдруг старый барин умер. В Лозищи явился его наследник и, созвав сход, — предложил покончить спор, уступив по всем пунктам. Некоторое время лозищане ещё шумели и упирались, не понимая причин этой уступчивости.

Но потом более проницательные люди сообразили, что, вероятно, барчук прокутился, наделал долгов и хочет поскорее спустить отцовское наследие, чему мешает тяжба. Лозищане постарались оттянуть ещё, что было можно, и

дело было кончено. После этого барчук исчез куда-то, и о нём больше не было слышно ничего определённого. Остались только какие-то смутные толки, довольно разноречивые, но во всех версиях неблагоприятные для молодого человека.

И вот теперь Матвею показалось, что перед ним этот самый человек, только что снявший рабочую блузу и сидящий за книгой. Он так удивился этому, что стал протирать глаза. Кровать под ним затрещала. Нилов повернулся.

— Что, земляк, выпались? — спросил он приветливо. — Ну, теперь давайте пить кофе.

Лозинский поднялся застенчиво и неловко, расправляя онемевшие члены. Вчера он обрадовался этому человеку, как избавителю, сегодня чувствовал себя как-то неловко в его присутствии. К тому же он увидел с смущением, что в комнате не было другой кровати, — значит, хозяин уступил свою, а его ноги были босы, — значит, Нилов снял с него, сонного, сапоги. Правда, он не разулся во всё время долгого пути, и от этого ноги его горели... Но всё-таки эти заботы причинили ему скорее неудовольствие. Он был теперь уверен, что это лозинский барчук и что толки были правдивы; он, значит, действительно спустил всё отцовское наследство и теперь несёт участь блудного сына на чужой стороне. Но так как всё-таки он оказал ему услугу и притом был барин, то Лозинский решил не подавать и виду, что узнал его, но в его поведении сквозило невольное почтение. Это вносило какое-то замешательство и неопределённость в их взаимные отношения. Нилов вёл себя просто, но сдержанно, Матвей конфузился и уходил в себя.

На следующий день, вернувшись с лесопилки, Нилов сказал, что Матвей может, если желает, получить работу: носить лес с барок. Матвей, конечно, согласился с радостью, и вскоре недавняя знаменитость, человек, о котором говорили все газеты Америки, — скромно переносил лес с барок на берег речки. Его сила и уверенность его обращения с тяжелыми дубовыми брёвнами доставили ему повышение, и, спустя недели две, он работал уже рядом с Ниловым, подавая лес на зубчатые колёса, где Нилов резал его на тонкие фанеры. К вечеру, оба засыпанные опилками, они возвращались домой.

Матвей нанял комнату рядом с Ниловым, обедать они ходили вместе в ресторан. Матвей не говорил ничего, но ему казалось, что обедать в ресторане — чистое безумие,

и он всё подумывал о том, что он устроится со временем поскромнее. Когда пришел первый расчёт, он удивился, увидя, что за расходами у него осталось ещё довольно денег. Он их припрятал, купив только смену белья.

Ещё через неделю Нилов сказал ему, что они отправятся вместе в Дэблтоун, где он, Нилов, будет читать лекцию. Они пришли в большой зал, весь набитый народом, который встретил их криками и свистом (в Америке это выражение одобрения). Затем всё стихло, судья Дикинсон сказал несколько слов, указывая то на Матвея, то на Нилова, а затем последний стал долго и свободно рассказывать что-то, по временам показывая места на большой карте. Публика, состоявшая в большинстве из рабочих людей, слушала с напряжённым вниманием и в конце опять устроила им оvation.

Когда после этого они пришли домой, Нилов вынул кучку денег и, разделив её на две половины, одну отдал Матвею.

— Это мы с вами заработали сегодня, — сказал он. — Это плата за лекцию. Я говорил им о нашей родине и о ваших похождениях. По справедливости половина принадлежит вам.

Матвей пробовал было отказаться, но потом принял деньги. За это время его отношение к Нилову сильно изменилось, и хотя он не всё понимал, однако совершенно отбросил мысль о блудном сыне. Получив деньги, он сконфуженно смотрел на Нилова... Ему хотелось бы выразить как-нибудь свою благодарность и почтение... Губы его тянулись к руке Нилова, колени подгибались для земного поклона... Но в лице Нилова, а может быть, и в тех неделях, которые они уже провели вместе, было что-то, удержавшее Матвея от этого излияния. Поэтому он взял деньги и, положив их около себя, сказал:

— А что... извините и не подумайте чего худого... Тут очень много денег?

— Не очень много, но достаточно, чтобы сделать себе хорошую пару платья, — ответил Нилов. — Вы ходите в одном и на работу, и в праздник.

— А! — сказал Матвей, махнув рукой. — Я простой человек, работник.

— Здесь все простые люди и работники считают себя не хуже других и не хотят ничем отличаться по внешности. Я советую вам обзавестись бельём и платьем.

Матвей потупился.

— Простите меня, — сказал он. — Я не то, чтобы там...

не слушался вас или что... Но... скажите: можно здесь работой скопить на дорогу?

— Куда?

— Назад, на родину! — сказал Матвей страстно. — Видите ли, дома я продал и избу, и коня, и поле... А теперь готов работать, как вол, чтобы вернуться и стать хоть последним работником там, у себя, на родной стороне...

Нилов прошёлся по комнате, о чём-то думая, и потом, остановившись против Лозинского, сказал:

— Слушайте, Лозинский. Заработать столько можно. Можно со временем и вернуться. Но... всякий человек должен знать, что он делает. Зачем вы ехали сюда?

— А! — ответил Матвей, махнув рукой. — Мало ли что приходит человеку в голову.

— Постарайтесь вспомнить, что вам приходило в голову.

Матвей наморщил лоб и сам удивился тому, как трудно идут из головы слова и мысли.

— А! Хотелось человеку, конечно... клоч вольной земли, чтобы было где разойтись плугом... Ну там... пару волов, хорошего коня... корову... крепкую телегу...

— А ещё?

Матвей чувствовал, что за всеми перечисленными пред-метами в душе остаётся ещё что-то, какой-то неясный осадок... Мелькнуло лицо Анны...

— Ну, потом... — продолжал он с усилием, — человек уже в возрасте. Своя хата, значит, уже и своя жена.

— И ещё что-нибудь?

— Ещё... если бы можно было молиться по-старому в своей церкви...

В голове его мелькнули ещё разговоры о свободе, но это было уже так неясно и неопределённо, что он не сказал об этом ни слова.

Нилов подождал ещё. Лицо его было серьёзно и несколько взволнованно.

— Всё это вы можете найти здесь! — сказал он решительно и резко, — всё, что вы искали. Зачем же вам уезжать?

И видя, что Матвей несколько огорчён его резким тоном, он прибавил:

— Вы пережили самое трудное: первые шаги, на которых многие здесь гибнут. Теперь вы уже на дороге. Поживите здесь, узнайте страну и людей... И если всё-таки вас потянет и после этого... Потянет так, что никто не в состоянии будет удержать... Ну, тогда...

В голосе Нилова звучало какое-то страстное возбуждение. Матвей заметил это и сказал:

— А вы сами... извините... ведь вы хотите уехать.

Лицо Нилова опять слегка омрачилось.

— Да, — ответил он. — У меня свои причины...

— Значит... вы не нашли для себя то, чего искали?

Нилов распахнул окно и некоторое время смотрел в него, подставляя лицо ласковому ветру. В окно глядела тихая ночь, сияли звёзды, невдалеке мигали огни Дэблтоуна, трубы заводов начинали куриться: на завтра разводили пары после праздничного отдыха.

— Здесь есть то, чего я искал, — ответил Нилов, повернув от окна взволнованное и покрасневшее лицо. — Но... слушайте, Лозинский. Мы до сих пор с вами играли в прятки... Ведь вы меня узнали?

— Я узнал вас, — смущённо сказал Матвей.

— И я вас узнал также. Не знаю, поймёте ли вы меня, но... за то одно, что мы здесь встретились с вами... и с другими, как равные... как братья, а не как враги... За это одно я буду вечно благодарен этой стране...

Матвей слушал с усилием и напряжением, не вполне понимая, но испытывая странное волнение...

— А если я всё-таки еду обратно, — продолжал Нилов, — то... видите ли... Здесь есть многое, чего я искал, но... этого не увезёшь с собою... Я уже раз уезжал и вернулся... Есть такая болезнь... Ну, всё равно. Не знаю, поймёте ли вы меня теперь. Может, когда-нибудь поймёте. На родине мне хочется того, что есть здесь... Свободы, своей, понимаете? Не чужой... А здесь... Здесь мне хочется родины...

Нилов смолк, и после этого оба они долго ещё смотрели в окно на ночное небо, на тихую, ласковую ночь чужой стороны. Нилов думал о том, что скоро он покинет всё это и оставит назади целую полосу своей жизни. А Матвею почему-то вспомнилось море и его глубина, загадочная, таинственная, непонятная... Так же непонятно казалось ему теперь многое в жизни, и так же манило ещё смутную мысль... И, вспоминая недавний разговор, он чувствовал, что не знал хорошо себя самого и что за всем, что он сказал Нилову, — за коровой и хатой, и полем, и даже за чертами Анны — чудится ещё что-то, что манило его и манит, но что это такое — он решительно не мог бы ни сказать, ни определить в собственной мысли... Но было это глубоко, как море, и заманчиво, как дали просыпающейся жизни...

Наша правдивая история близится к концу. Через некоторое время, когда Матвей несколько узнал язык, он перешёл работать на ферму к дюжему немцу, который, сам страшный силач, ценил и в Матвее его силу. Здесь Матвей ознакомился с машинами, и уже на следующую весну Нилов, перед своим отъездом, пристроил его в еврейской колонии инструктором. Сам Нилов уехал, обещав написать Матвею после приезда.

О жизни Матвея в колонии, а также историю американской жизни Нилова мы, быть может, расскажем в другой раз. А теперь нам придётся досказать немного.

Статья «Дэблтоунского курьера» об окончании похождений «дикаря» была перепечатана в нескольких газетах преимущественно провинциальных городов, недовольных «кичливостью» нью-йоркцев, вставших в данном случае в такую грубую ошибку. Нью-йоркские газеты обмолвились о ней лишь краткими и довольно сухими извлечениями фактического свойства, так как в это время на поверхности политической жизни страны появился один из крупных вопросов, поднявших из глубины взволнованного общества все принципы американской политики... нечто вроде бури, точно вихрем унесшей и портреты «дикаря», и весёлое личико мисс Лиззи, устроившей родителям сюрприз, и многое множество других знаменитостей, которые, как мотыльки, летают на солнышке газетного дня, пока их не развеет появление на горизонте первой тучи.

О Матвее и его истории скоро забыли, и ни Дыма, ни Анна не узнали, что он очутился в Дэблтоуне и потом перешёл в колонию, что здесь он был приписан к штату и подавал свой голос, после мучительных колебаний и сомнений (ему всё вспоминалась история Дымы в Нью-Йорке). И понемногу даже лицо его изменялось, менялся взгляд, выражение лица, вся фигура. А в душе всплывали новые мысли о людях, о порядках, о вере, о жизни, о боге, которому поклоняются, хотя и разное, по всему лицу земли, о многом, что никогда не приходило в голову в Лозицах. И некоторые из этих мыслей становились всё яснее и ближе...

А Анна всё жила в том же доме под № 1235, только барыня становилась всё менее довольна ею. Она два раза уже сама прибавляла ей плату, но «благодарности» как-то не видела. Наоборот, у Анны всё больше портился

характер, являлась беспредметная раздражительность и недостаток почтительности.

— Что делать... правду говорят, что это здесь в воздухе, — говорил муж старой барыни, а изобретатель, всё сидевший над чертежами и к которому старая барыня обращалась иногда с жалобами, зная его влияние на Анну, — только пожимал плечами.

— Я теперь далёк от всего этого, — говорил он, — но когда-то... одним словом, я думаю, что ей просто хотелось бы... собственной своей жизни... Понимаете ли вы: собственной своей жизни...

— Скажите, пожалуйста, — отвечала барыня с искренним изумлением. — Не обязана ли я ей доставлять, кроме десяти долларов, ещё собственную жизнь...

— Ну, это теперь меня не касается, — отвечал старый господин. — Всё это разрешит наука. Всё: и её, и вас, и всех... Дело, видите ли, в том, что...

Учёный повернулся на стуле и сказал серьёзным тоном:

— Человек изобретает нужную ему машину... Это мы все отлично знаем. А думали ли вы когда-нибудь о том, что и машина в свою очередь изобретает... вернее сказать, вырабатывает нужного ей человека... Вы удивлены? А между тем, это можно доказать с математической точностью. Стоит усвоить эту великую истину, и всё решено: вся задача сводится к тому, чтобы изобрести такую универсальную машину, которой нужен только свободный человек, понимаете? Тогда и только тогда разрешатся все эти мучительные вопросы... В этом будущем строе не будет уже ни господ, ни прислуги, ни рабовладельцев с их смешными притязаниями, ни рабов с их завистью и враждой... Понимаете вы меня?..

Старый господин приподнял очки и простодушно-радостным взглядом посмотрел в лицо хозяйки. Но на этом лице виднелось лишь негодование.

— Благодарю покорно! — сказала она. — Хорош ваш будущий строй... без прислуги! Я лучше согласна остаться при старом...

А дело с Анной шло всё хуже и хуже...

Через два года после начала этого рассказа два человека сошли с воздушного поезда на углу 4 Avenue и пошли по одной из перпендикулярных улиц, разыскивая дом № 1235. Один из них был высокий блондин с бородой и голубыми глазами, другой — брюнет, небольшой, но очень юркий, с бритым подбородком и франтовски под-

витыми усами. Последний вбёжал на лестницу и хотел позвонить, но высокий товарищ остановил его.

Он взошёл на площадку и оглянулся вдоль улицы. Всё здесь было такое же, как и два года назад. Так же дома, точно близнецы; походили друг на друга, так же солнце освещало на одной стороне опущенные занавески, так же лежала на другой тень от домов...

Глаза его с волнением видели здесь следы прошлого. Вот за углом как будто мелькнула чья-то фигура. Вот она появляется из-за угла, ступая так тяжело, точно на ногах у нее пудовые гири, и человек идёт, с тоской оглядывая незнакомые дома, как две капли воды похожие друг на друга... «Всё здесь такое же, — думал про себя Лозинский, — только... нет уже того человека, который блуждал по этой улице два года назад, а есть другой...»

Звонок затрещал, дверь открылась, из-за неё выглянуло лицо Анны, и дверь опять захлопнулась, заглушив испуганный крик девушки, точно она увидела призрак. Потом она опять выглянула в щёлку и сказала:

— Вы?.. Неужели это вы?

Старая барыня тоже с большим удивлением встретила этого человека и с трудом узнавала в нём простодушного лозищанина в белой свите и грубых сапогах, когда-то так почтительно поддерживавшего её взгляды на американскую жизнь и на основы общественности. Она внимательно присматривалась к нему сквозь свои очки и искренно находила, что он стал гораздо хуже. Правда, в нём не было вызывающей резкости и задора молодого Джона, но не было также ласковой и застенчивой покорности прежнего Матвея, которая так приятно ласкала глаз старой барыни. Кроме того, она находила, что чёрный сюртук сидел на нём, «как на корове седло».

— Садитесь, пожалуйста, — сказала она с лёгким оттенком иронии. Но она чувствовала с некоторой досадой, что ей всё-таки неловко было бы оставить стоять этого человека.

В сущности, она была человек недурной, и, когда Анна заявила ей об отказе от службы, — она поняла, что теперь у Анны есть уважительная причина...

— Ну, вот, — она нашла себе «свою собственную жизнь», — сказала она с оттенком горечи учёному господину, когда Анна попросилась с ними. — Теперь посмотрим, что вы скажете: пока ещё явится ваш будущий строй, а сейчас вот... некому даже убрать комнату.

— Гм... да... — задумчиво ответил изобретатель... —

Надо признать, что в этом есть доля неприятности. Конечно, со временем всё это устроится несомненно... Но... действительно, трудно будет придумать машину, которая бы делала это так приятно и ловко, как эта милая девушка...

Несколько дней после этого учёный чувствовал себя не в своей тарелке и находил, что даже выкладки даются ему как-то труднее.

— Гм... да... я должен признаться, — говорил он старой барыне, — мне недостаёт её лица и её добрых синих глаз... Конечно, со временем всё заменят машины.

Но тут он оборвал фразу под упорным ироническим взглядом старой барыни, которая процедила сквозь зубы:

— Даже синие глаза? Ну, это-то уж едва ли...

Перед отъездом из Нью-Йорка Матвей и Анна отправились на пристань — смотреть, как подходят корабли из Европы. И они видели, как, рассекая грудью волны залива, подошёл морской гигант, и как его опять подвели к пристани, и по мосткам шли десятки и сотни людей, неся сюда и своё горе, и свои надежды, и ожидания...

Сколько из них погибнет здесь, в этом страшном людском океане?..

Матвею становилось грустно. Он смотрел вдаль, где за синевой дымкой лёгкого тумана двигались на горизонте океанские валы, а за ними мысль, как чайка, летела дальше, на старую родину... Он чувствовал, что сердце его сжимается сильной, жгучею печалью...

И он понимал, что это оттого, что в нём родилось что-то новое, а старое умерло или ещё умирает. И ему до боли жаль было многого в этом умирающем старом; и нёвольно вспоминался разговор с Ниловым и его вопросы. Матвей сознавал, что вот у него есть клочок земли, есть дом, и тёлки, и коровы... Скоро будет жена... Но он забыл ещё что-то, и теперь это что-то плачет и тоскует в его душе...

Уехать... туда... назад... где его родина, где теперь Нилов со своими вечными исканиями!.. Нет, этого не будет: всё порвано, многое умерло и не оживет вновь, а в Лрзищах в его хате живут чужие. А тут у него будут дети, а дети детей уже забудут даже родной язык, как та женщина в Дэбльтоуне...

Он крепко вздохнул и посмотрел в последний раз на океан. Солнце село. Туманная дымка сгушалась, закрывая бесконечные дали. Над протянутой рукой «Свободы» вспыхнули огни...

Пароход опустел. Две чайки снялись с мачт и, качаясь в воздухе, понеслись по ветру в широкую туманную даль...

Как те, которые когда-то, так же отрываясь от мачт корабля, неслись туда... назад... к Европе, унося с собой из Нового света тоску по старой родине.

1895 г.

ПАРАДОКС

Очерк

I

Для чего собственно создан человек, об этом мы с братом получили некоторое понятие довольно рано. Мне, если не ошибаюсь, было лет десять, брату около восьми. Сведение это было преподано нам в виде краткого афоризма¹, или, по обстоятельствам, его сопровождавшим, скорее парадокса². Итак, кроме назначения жизни, мы одновременно обогатили свой лексикон этими двумя греческими словами.

Было это приблизительно около полудня, знойного и тихого июньского дня. В глубоком молчании сидели мы с братом на заборе, под тенью густого серебристого тополя и держали в руках удочки, крючки которых были спущены в огромную бадью с загнившей водой. О назначении жизни в то время мы не имели ещё даже отдалённого понятия, и, вероятно, по этой причине, вот уже около недели любимым нашим занятием было — сидеть на заборе, над бадьей, с опущенными в неё крючками из простых медных булавок и ждать, что вст-вот, по особой к нам милости судьбы, — в этой бадье и на эти удочки клюнет у нас «настоящая», живая рыба.

Правда, уголок двора, где помещалась эта волшебная бадья, и сам по себе, даже и без живой рыбы, представлял много привлекательного и заманчивого. Среди садов, огородов, сараев, двориков, домов и флигелей, составлявших совокупность близко известного нам места, — этот уголок вырезался как-то так удобно, что никому и ни на что не был нужен; поэтому мы чувствовали себя полными

¹ *Афоризм* — краткое изречение, мысль, выраженная в сжатой и яркой форме. — *Прим. ред.*

² *Парадокс* — мнение, идущее в разрез с общепринятым; утверждение, кажущееся на первый взгляд невероятным, но заключающее в себе истину. — *Прим. ред.*

его обладателями, и никто не нарушал здесь нашего одиночества.

Середину этого пространства, ограниченного с двух сторон палисадником и деревьями сада, а с двух других пустыми стенами сараев, оставлявшими узкий проход, — занимала большая мусорная куча. Стоптанная лапоть, кем-то перекинутый через крышу сарая, изломанное топорщице, побелевший кожаный башмак с отогнувшимся кверху каблуком и безличная масса каких-то истлевших предметов, потерявших уже всякую индивидуальность, — нашли в тихом углу вечный покой после более или менее бурной жизни за его пределами... На вершине мусорной кучи валялся старый-престарый кузов какого-то фантастического экипажа, каких давно уже не бывало в действительности, — то есть в каретниках, на дворах и на улицах. Это был какой-то призрачный обломок минувших времён, попавший сюда, быть может, ещё до постройки окружающих зданий и теперь лежавший на боку, с приподнятой кверху осью, точно рука без кисти, которую калека показывает на паперти, чтобы разжалобить добрых людей. На единственной половинке единственной дверки сохранились ещё остатки красок какого-то герба, — и единственная рука, закованная в стальные нарамники и державшая меч, высывалась непонятным образом из тусклого пятна, в котором чуть рисовалось подобие короны. Остальное всё распалось, растрескалось, облупилось и облезло в такой степени, что уже не ставило воображению никаких прочных преград; вероятно, поэтому старый скелет легко принимал в наших глазах все формы, всю роскошь и всё великолепие настоящей золотой кареты.

Когда нам приедались впечатления реальной жизни на больших дворах и в переулке, — то мы с братом удалялись в этот уединённый уголок, садились в кузов, — и тогда начинались здесь чудеснейшие приключения, какие только могут постигнуть людей, безрассудно пускающихся в неведомый путь, далёкий и опасный, в такой чудесной и такой фантастической карете. Мой брат, по большей части, предпочитал более деятельную роль кучера. Он брал в руки кнут из ременного обрезка, найденного в мусорной куче, затем серьёзно и молча вынимал из кузова два деревянных пистолета, перекидывал через плечо деревянное ружьё и втыкал за пояс огромную саблю, изготовленную моими руками из кровельного теса. Вид его, вооружённого таким образом с головы до ног, настраивал тотчас же и меня па соответствующий лад, и затем, усев-

шись каждый на своё место, мы отдавались течению нашей судьбы, не обмениваясь ни словом. Это не мешало нам с той же минуты испытывать общие опасности, приключения и победы. Очень может быть, конечно, что события не всегда совпадали с точки зрения кузова и козел, и я предавался упоению победы в то самое время, как кучер чувствовал себя на краю гибели... Но это ничему, в сущности, не мешало. Разве изредка я принимался неистово палить из окон, когда кучер внезапно натягивал вожжи, привязанные к обломку дышла, — и тогда брат говорил с досадой:

— Что ты это, ей-богу!.. Ведь это гостиница...

Тогда я приостанавливал пальбу, выходил из кузова и извинялся перед гостеприимным трактирщиком в причинённом беспокойстве, между тем как кучер распрягал лошадей, поил их у бадьи; и мы предавались мирному, хотя и короткому отдыху в одинокой гостинице. Однако случаи подобных разногласий бывали тем реже, что я скоро отдавался полёту чистой фантазии, не требовавшей от меня внешних проявлений. Должно быть, в щелях старого кузова засели с незапамятных времён, — выражаясь понынешнему, — какие-то флюиды старинных происшествий, которые и захватывали нас сразу в такой степени, что мы могли, молча, почти не двигаясь и сохраняя созерцательный вид, просидеть на своих местах от утреннего чаю до самого обеда. И в этот промежуток от завтрака и до обеда вмещались для нас целые недели путешествий, с остановками в одиноких гостиницах, с ночлегами в поле, с длинными просеками в чёрном лесу, с дальними огоньками, с угасающим закатом, с ночными грозами в горах, с утренней зарёй в открытой степи, с нападениями свирепых бандитов и, наконец, с туманными женскими фигурами, ещё ни разу не открывавшими лица из-под густого покрывала, — которых мы, с неопределённым замираньем души, спасали из рук мучителей на радость или на горе в будущем...

И всё это вмещалось в тихом уголке, между садом и сараями, где, кроме бадьи, кузсва и мусорной кучи, — не было ничего... Впрочем, были ещё лучи солнца, пригревавшие зелень сада и расцветивавшие палисадник яркими, золотистыми пятнами: были ещё две доски около бадьи и широкая лужа под ними. Затем, чуткая тишина, невнятный шопот листьев, сонное чириканье какой-то птицы в кустах и... странные фантазии, которые, вероятно, росли здесь сами по себе, как грибы в тенистом месте, — потому что нигде больше мы не находили их с такой лёг-

костью, в такой полноте и изобилии... Когда, через узкий переулок и через крыши сараев, долетал до нас досадный призыв к обеду или к вечернему чаю, — мы оставляли здесь, вместе с пистолетами и саблями, наше фантастическое настроение, точно скинутое с плеч верхнее платье, в которое наряжались опять тотчас по возвращении.

Однако с тех пор, как брату пришла оригинальная мысль вырезать кривые и узловатые ветки тополя, вязать на них белые нитки, навесить медные крючки и попробовать запустить удочки в таинственную глубину огромной бадьи, стоявшей в углу дворика, для нас на целую неделю померкли все прелести золотой кареты. Во-первых, мы сидели оба, в самых удивительных позах, на верхней перекладине палисадника, углом охватывавшего бадью и у которого мы предварительно обломали верхушки балясин. Во-вторых, над нами качался серебристо-зелёный шатёр тополя, переполнявший окружающий воздух зеленоватыми тенями и бродячими солнечными пятнами. В-третьих, от бадьи отделялся какой-то особенный запах, свойственный загнившей воде, в которой уже завелась своя особенная жизнь, в виде множества каких-то странных существ, вроде головастиков, только гораздо меньше... Как ни покажется это странно, — но запах этот казался нам, в сущности, приятным и прибавлял, с своей стороны, нечто к прелестям этого угла над бадьёй...

В то время, как мы сидели по целым часам на заборе, вглядываясь в зеленоватую воду, из глубины бадьи то и дело подымались стайками эти странные существа, напоминавшие собой гибкие медные булавки, головки которых так тихо шевелили поверхность воды, между тем как хвостики извивались под ними, точно крошечные змейки. Это был целый особый мирок, под этою зелёною тенью, и, если сказать правду, у нас не было полной уверенности в том, что в один прекрасный миг поплавок нашей удочки не вздрогнет, не пойдёт ко дну, и что после этого который-нибудь из нас не вытащит на крючке серебристую, трепещущую живую рыбку. Разумеется, рассуждая трезво, мы не могли бы не прийти к заключению, что событие это выходит за пределы возможного. Но мы вовсе не рассуждали трезво в те минуты, а просто сидели на заборе, над бадьёй, над колыхавшимся и шелтавшим зелёным шатром, в соседстве с чудесной каретой, среди зеленоватых теней, в атмосфере полусна и полусказки...

Вдобавок, мы не имели тогда ни малейшего понятия о назначении жизни...

Однажды, когда мы сидели таким образом, погруженные в созерцание неподвижных поплавок, с глазами, прикованными к зелёной глубине бадья, — из действительного мира, то есть со стороны нашего дома, проник в наш фантастический уголок неприятный и резкий голос лакея Павла. Он, очевидно, приближался к нам и кричал:

— Панычи, панычи, э-эй! Идите бо до покою!

«Итти до покою», — значило итти в комнаты, что нас на этот раз несколько озадачило. Во-первых, почему это просто «до покою», а не к обеду, который в этот день, действительно, должен был происходить ранее обыкновенного, так как отец не уезжал на службу. Во-вторых, почему зовёт именно Павел, которого посылал только отец в экстренных случаях, — тогда как обыкновенно от имени матери звала нас служанка Килимка. В-третьих, всё это было нам очень неприятно, как будто именно этот несвоевременный призыв должен вспугнуть волшебную рыбу, которая как раз в эту минуту, казалось, уже плывёт в невидимой глубине к нашим удочкам. Наконец Павел и вообще был человек слишком трезвый, отчасти даже насмешливый, и его излишне серьёзные замечания разрушили не одну нашу иллюзию.

Через полминуты этот Павел стоял, несколько даже удивленный, на нашем дворике и смотрел на нас, сильно сконфуженных, своими серьёзно-выпученными и слегка глуповатыми глазами. Мы оставались в прежних позах, но это только потому, что нам было слишком совестно, да и некогда уже скрывать от него свой образ действий. В сущности же, с первой минуты появления этой фигуры в нашем мире, — мы оба почувствовали с особенной ясностью, что наше занятие кажется Павлу очень глупым, что рыбу в бадьях никто не ловит, что в руках у нас даже и не удочки, а простые ветки тополя, с медными булавками, и что перед нами только старая бадья с загнившей водой.

— Э? — протянул Павел, приходя в себя от первоначального удивления. — А що се вы робите?

— Так... — ответил брат угрюмо.

Павел взял из моих рук удочку; осмотрел её и сказал:

— Разве ж это удилище? Удилища надо делать из орешника.

Потом пощупал нитку и сообщил, что нужен тут конский волос, да его ещё нужно заплести умеючи; потом обратил внимание на булавочные крючки и объяснил,

что над таким крючком, без зазубрины, даже и в пруду рыба только смеётся. Стащит червяка и уйдёт. Наконец, подойдя к бадье, он тряхнул её слегка своей сильной рукой. Неизмеримая глубина нашего зеленого омута колыхнулась, помутнела, фантастические существа жалобно заметались и исчезли, как бы сознавая, что их мир колеблется в самых устоях. Обнажилась часть дна, — простые доски, облипшие какой-то зелёной мутью, — а снизу поднялись пузыри и сильный запах, который на этот раз и нам показался уже не особенно приятным.

— Воняет, — сказал Павел презрительно. — От, идите до покою, пан кличе.

— Зачем?

— Идите, то и побачите.

Я и до сих пор очень ясно помню эту минуту столкновения наших иллюзий с трезвою действительностью в лице Павла. Мы чувствовали себя совершенными дураками и нам было совестно оставаться на верхушке забора, в позах рыбаков, но совестно также и слезать под серьёзным взглядом Павла. Однако, делать было нечего. Мы спустились с забора, бросив удочки как попало, и тихо побрели к дому. Павел ещё раз посмотрел удочки, пощупал пальцами размокшие нитки, повёл носом около бадьи, в которой вода всё ещё продолжала бродить и пускать пузыри, и, в довершение всего, толкнул ногой старый кузов. Кузов как-то жалко и беспомощно крякнул, шевельнулся, и ещё одна доска вывалилась из него в мусорную кучу...

Таковы были обстоятельства, предшествовавшие той минуте, когда нашему юному вниманию предложен был афоризм о назначении жизни и о том, для чего, в сущности, создан человек...

III

У крыльца нашей квартиры, на мощёном дворе, толпилась куча народа. На нашем дворе было целых три дома, один большой и два флигеля. В каждом жила особая семья, с соответствующим количеством дворни и прислуги, не считая ещё одиноких жильцов, вроде старого холостяка пана Уляницкого, нанимавшего две комнаты в подвальном этаже большого дома. Теперь почти всё это население высыпало на двор и стояло на солнцепёке, у нашего крыльца. Мы испуганно переглянулись с братом, разыскивая в своём прошлом какой-нибудь проступок, который подлежал бы такому громкому и публичному разби-

рательству. Однако отец, сидевший на верхних ступеньках, среди привилегированной публики, повидимому, находился в самом благодушном настроении. Рядом с отцом вилась струйка синего дыма, что означало, что тут же находится полковник Дударев, военный доктор. Немолодой, расположенный к полноте, очень молчаливый, — он пользовался во дворе репутацией человека необыкновенно учёного, а его молчаливость и бескорыстие снискали ему общее уважение, к которому примешивалась доля страха, как к явлению, для среднего обывателя не вполне понятному... Иногда, среди других фантазий, мы любили воображать себя доктором Дударевым, и если я замечал, что брат сидит на крыльце или на скамейке, с вишнёвой палочкой в зубах, медленно раздувает щёки и тихо выпускает воображаемый дым, — я знал, что его не следует тревожить. Кроме вишнёвой палочки, требовалось ещё особенным образом наморщить лоб, отчего глаза сами собой немного тускнели, становились задумчивы и как будто печальны. А затем уже можно было сидеть на солнце, затягиваться воображаемым дымом из вишнёвой ветки и думать что-то такое особенное, что, вероятно, думал про себя добрый и умный доктор, молча подававший помощь больным и молча сидевший с трубкой в свободное время. Какие это собственно были мысли, сказать трудно; прежде всего, они были важны и печальны, а затем, вероятно, всё-таки довольно приятны, судя по тому, что им можно было предаваться подолгу...

Кроме отца и доктора, среди других лиц, — мне бросилось в глаза красивое и выразительное лицо моей матери. Она стояла в белом переднике, с навёрнутыми рукавами, очевидно, только что оторванная от вечных забот по хозяйству. Нас у неё было шестеро, и на её лице ясно виделось сомнение: стоило ли выходить сюда в самый разгар хлопотливого дня. Однако, скептическая улыбка видимо сплывала с её красивого лица, и в синих глазах уже мелькало какое-то испуганное сожаление, обращённое к предмету, стоявшему среди толпы, у крыльца...

Это была небольшая, почти игрушечная телега, в которой как-то странно, — странно почти до болезненного ощущения от этого зрелища, — помещался человек. Голова его была большая, лицо бледно, с подвижными, острыми чертами и большими, пронзительными бегающими глазами. Туловище было совсем маленькое, плечи узкие, груди и живота не было видно из-под широкой, с сильной проседью бороды, а руки я напрасно разыскивал испуганными

глазами, которые, вероятно, были открыты так же широко, как и у моего брата. Ноги странного существа, длинные и тонкие, как будто не умещались в тележке и стояли на земле, точно длинные лапки паука. Казалось, они принадлежали одинаково этому человеку, как и тележке, и все вместе каким-то беспокойным, раздражающим пятном рисовалось под ярким солнцем, точно в самом деле какое-то паукообразное чудовище, готовое внезапно кинуться на окружившую его толпу.

— Идите, идите, молодые люди, скорее... Вы имеете случай увидеть интересную игру природы, — фальшиво-ласкающим голосом сказал нам пан Уляницкий, проталкиваясь за нами через толпу.

Пан Уляницкий был старый холостяк, появившийся на нашем дворе бог весть откуда. Каждое утро, в известный час и даже в известную минуту, его окно открывалось и из него появлялась сначала красная ермолка с кисточкой, потом вся фигура в халате... Кинув беспокойный взгляд на соседние окна (нет ли где барышень), — он быстро выходил из окна, прикрывая что-то полой халата, и исчезал за углом. В это время мы стремглав кидались к окну, чтобы заглянуть в его таинственную квартирку. Но это почти никогда не удавалось, так как Уляницкий быстро, как-то крадучись, появлялся из-за угла, мы кидались врассыпную, а он швырял в нас камнем, палкой, что попадало под руку. В полдень он появлялся одетым с котелочки и очень любезно, как ни в чём не бывало, заговаривал с нами, стараясь навести разговор на живущих во дворе невест. В это время в голосе его звучала фальшивая ласковость, которая всегда как-то резала нам уши...

— Уважаемые господа, обыватели и добрые люди! — заговорил вдруг каким-то носовым голосом высокий субъект, с длинными усами и беспокойными, впалыми глазами, стоявший рядом с тележкой. — Так как, повидимому, с прибытием этих двух молодых людей, дай им бог здоровья на радость почтенным родителям... все теперь в сборе, то я могу объяснить уважаемой публике, что перед нею находится феномен, или, другими словами, чудо природы, шляхтич из Заславского повета Ян Криштоф Залуский. Как видите, у него совершенно нет рук и не было от рождения.

Он скинул с феномена курточку, в которую легко было бы одеть ребёнка, потом расстегнул ворот рубахи. Я зажмурился, — так резко и болезненно ударило мне в глаза обнажённое уродство этих узких плеч, совершенно лишённых даже признаков рук.

— Виделя? — повернулся долгоусый к толпе, отступая от тележки, с курткой в руках.

— Без обману... — добавил он, — без всякого ошуканьства... — И его беспокойные глаза обежали публику с таким видом, как будто он не особенно привык к доверию со стороны своих ближних.

— И однако, уважаемые господа, сказанный феномен, родственник мой, Ян Залуский, — человек очень просвещённый. Голова у него лучше, чем у многих людей с руками. Кроме того, он может исполнять всё, что обыкновенные люди делают с помощью рук. Ян, прошу тебя покорно: поклонись уважаемым господам.

Ноги феномена пришли в движение, причём толпа шагнула от неожиданности. Не прошло и нескольких секунд, как с правой ноги, при помощи левой, был снят сапог. Затем нога поднялась, захватила с головы феномена большой порыжелый картуз, и он с насмешливой галантностью приподнял картуз над головой. Два черных, внимательных глаза остро и насмешливо впились в уважаемую публику.

— Господи боже!.. Иисус-Мария... Да будет похвалено имя господне, — пронеслось на разных языках в толпе, охваченной брезгливым испугом, и только один лакей Павел загоготал в заднем ряду так нелепо и громко, что кто-то из дворни счёл нужным толкнуть его локтем в бок. После этого всё стихло. Черные глаза опять внимательно и медленно прошли по нашим лицам, и феномен произнёс среди тишины ясным, хотя слегка дребезжавшим голосом:

— Обойди!

Долгоусый субъект как-то замялся, точно считал приказ преждевременным. Он кинул на феномена нерешительный взгляд, но тот, уже раздражённо, крикнул:

— Ты глуп... обойди!...

Полковник Дударев пустил клуб дыма и сказал:

— Однако, почтенный феномен, вы, кажется, начинаете с того, чем надо кончать.

Феномен быстро взглянул на него, как будто с удивлением, и затем ещё настойчивее повторил долгоусому:

— Обойди, обойди!

Мне казалось, что феномен посылает долгоусого на какие-то враждебные действия. Но тот только снял с себя шляпу и подошёл к лестнице, низко кланяясь и глядя как-то вопросительно, как бы сомневаясь. На лестнице более всего подавали женщины: на лице матери я увидел при этом такое выражение, как будто она всё ещё испыты-

вает нервную дрожь; доктор тоже бросил монету. Уляницкий смерил долгоусого негодующим взглядом и затем стал беспечно смотреть по сторонам. Среди дворни и прислуги не подал почти никто. Феномен внимательно следил за сбором, потом тщательно пересчитал ногами монеты и поднял одну из них кверху, иронически поклонившись Дудареву.

— Пан доктор... Очень хорошо... благодарю вас.

Дударев равнодушно выпустил очень длинную струйку дыма, которая распустилась султаном на некотором расстоянии, но мне почему-то показалось, что ему досадно, или он чего-то слегка застыдился.

— А! То есть удивительное дело, — сказал своим фальшивым голосом пан Уляницкий, — удивительно, как он узнал, что вы — доктор (Дударев был в штатском пиджаке и белом жилете с медными пуговицами).

— О! Он знает прошедшее, настоящее и будущее, а человека видит насквозь, — сказал с убеждением долгоусый, почерпнувший, повидимому, значительную долю этой уверенности в удачном первом сборе.

— Да, я знаю прошедшее, настоящее и будущее, — сказал феномен, поглядев на Уляницкого, и затем сказал долгоусому: — Подойди к этому пану... Он хочет положить монету бедному феномену, который знает прошедшее каждого человека лучше, чем пять пальцев своей правой руки...

И все мы с удивлением увидели, как пан Уляницкий с замешательством стал шарить у себя в боковом кармане. Он вынул медную монету, подержал её в тонких, слегка дрожавших пальцах с огромными ногтями и... всё-таки опустил её в шляпу.

— Теперь продолжай, — сказал феномен своему провожатому. Долгоусый занял своё место и продолжал:

— Я вожу моего бедного родственника в тележке потому, что ходить ему очень трудно. Бедный Ян, дай я тебя подыму...

Он помог феномену подняться. Калека стоял с трудом, — огромная голова подавляла это тело карлика. На лице виднелось страдание, тонкие ноги дрожали. Он быстро опустился опять в свою тележку.

— Однако, он может передвигаться и сам.

Колёса тележки вдруг пришли в движение, дворня с криком расступилась; странное существо, перебирая по земле ногами и ещё более походя на паука, — сделало большой круг и опять остановилось против крыльца. Феномен побледнел от усилия, и я видел теперь только два огромных глаза, глядевших на меня с тележки...

— Ногами он чешет у себя за спиной и даже совершает свой туалет.

Он подал феномену гребёнку. Тот взял её ногой, проворно расчесал широкую бороду и, опять поискавши глазами в толпе, — послал ногой воздушный поцелуй экономке домовладелицы, сидевшей у окна большого дома с несколькими «комнатными барышнями». Из окна послышался визг, Павел фыркнул и опять получил тумака.

— Наконец, господа, ногою он крестится.

Он сам скинул с феномена фуражку. Толпа затихла. Калека поднял глаза к небу, на мгновение лицо его застыло в странном выражении. Напряжённая тишина еще усилилась, пока феномен с видимым трудом поднимал ногу ко лбу, потом к плечам и груди. В задних рядах послышался почти истерический женский плач. Между тем, феномен кончил, глаза его ещё злее прежнего обежали по лицам публики, и в тишине резко прозвучал усталый голос:

— Обойди!

На этот раз долгоусый обратился прямо к рядам простой публики. Вздыхая, порой крестясь, кой-где со слезами, простые люди подавали свои крохи, кучера заворачивали полы кафтанов, кухарки наскоро сбегали по кухням и, проталкиваясь к тележке, совали туда свои подаяния. На лестнице преобладало тяжёлое, не совсем одобрительное молчание. Впоследствии я замечал много раз, что простые сердца менее чутки к кощунству, хотя бы только слегка прикрытому обрядом.

— Пан доктор?.. — вопросительно протянул феномен, но, видя, что Дударев только насупился, он направил долгоусого к Уляницкому и напряженно, с какой-то злостью следил за тем, как Уляницкий, видимо, против воли, — положил ещё монету.

— Извините, — повернулся вдруг феномен к моей матери... — Человек кормится, как может.

В его голосе была какая-то особенная, жалкая нота. Доктор вдруг выпустил бесконечную струйку синего дыма и, вынув серебряную монету, кинул её на мостовую. Феномен поднял её, поднёс ко рту и сказал:

— Пан доктор, я отдам это первому бедняку, которого встречу... Поверьте слову Яна Залуского. Ну, что же ты стал, продолжай, — накинута он вдруг на своего долгоусого провожатого.

Впечатление этой сцены ещё некоторое время держалось в толпе, пока феномен принимал ногами пищу, снимал с себя куртку и вдевал нитку в иглу.

— Наконец, уважаемые господа, — провозгласил долгоусый торжественно, — ногами он подписывает своё имя и фамилию.

— И пишу поучительные афоризмы, — живо подхватил феномен. — Пишу поучительные афоризмы всем вообще или каждому желающему порознь, ногами, за особую плату, для душевной пользы и утешения. Если угодно, уважаемые господа. Ну, Матвей, доставай канцелярию.

Долгоусый достал из сумки небольшую палку, феномен взял ногой перо и легко написал на бумаге свою фамилию: «Ян Криштоф Залуский, шляхтич-феномен из Заславского повета».

— А теперь, — сказал он, насмешливо поворачивая голову, — кому угодно получить афоризм?.. Поучительный афоризм, уважаемые господа, от человека, знающего настоящее, прошедшее и будущее...

Острый взгляд феномена пробежал по всем лицам, останавливаясь то на одном, то на другом, точно гвоздь, который он собирался забить глубоко в того, на ком остановится его выбор. Я никогда не забуду этой немой сцены. Урод сидел в своей тележке, держа гусиное перо в приподнятой правой ноге, как человек, ожидающий вдохновения. Было что-то цинически карикатурное во всей его фигуре и позе, в саркастическом взгляде, как будто искавшем в толпе свою жертву. Среди простой публики взгляд этот вызывал тупое смятение, женщины прятались друг за друга, то смеясь, то как будто плача. Пан Уляницкий, когда очередь дошла до него, растерянно улыбнулся и выразил готовность достать из кармана ещё монету. Долгоусый проворно подставил шляпу... Феномен обменялся взглядом с моим отцом, скользнул мимо Дударева, почтительно поклонился матери, и внезапно я почувствовал этот взгляд на себе...

— Подойди сюда, малец, — сказал он, — и ты тоже, — позвал он также брата.

Все взгляды обратились на нас, с любопытством или сожалением. Мы рады были бы провалиться сквозь землю, но уйти было некуда; феномен пронизывал нас чёрными глазами, а отец смеялся:

— Ну, что ж, ступайте, — сказал он таким тоном, каким порой приказывал идти в темную комнату, чтобы отучить от суеверного страха.

И мы оба вышли с тем же чувством содрогания, с каким, исполняя приказ, входили в темную комнату... Маленькие и смущённые, мы остановились против тележки, под

взглядом странного существа, смеявшегося нам навстречу. Мне казалось, что он делает над нами что-то такое, от чего нам будет после стыдно всю жизнь, стыдно в гораздо большей степени, чем в ту минуту, когда мы слезали с забора под насмешливым взглядом Павла... Может быть, он расскажет... но что же? Что-нибудь такое, что я сделаю в будущем, и все будут смотреть на меня с таким же содроганием, как несколько минут назад при виде его уродливой наготы... Глаза мои застилались слезами, и, точно сквозь туман, мне казалось, что лицо странного человека в тележке меняется, что он смотрит на меня умным, задумчивым и смягчённым взглядом, который становится всё мягче и всё страннее. Потом он быстро заскрипел пером, и его нога протянулась ко мне с белым листком, на котором чернела ровная, красивая строчка. Я взял листок и беспомощно оглянулся кругом.

— Прочитай, — сказал, улыбаясь, отец.

Я взглянул на отца, потом на мать, на лице которой виднелось несколько тревожное участие, и механически произнёс следующую фразу:

— «Человек создан для счастья, как птица для полёта...»

Я не сразу понял значение афоризма и только по благодарному взгляду, который мать кинула на феномена, понял, что всё кончилось для нас благополучно. И тотчас же опять раздался еще более прежнего резкий голос феномена:

— Обойди!

Долгоусый грациозно кланялся и подставлял шляпу. На этот раз, я уверен, больше всех дала моя мать. Уляницкий эмансипировался и только величественно повел рукой, показывая, что он и без того был слишком великодушен. Последним кинул монету в шляпу мой отец.

— Хорошо сказано, — засмеялся он при этом, — только, кажется, это скорее парадокс, чем поучительный афоризм, который вы нам обещали.

— Счастливая мысль, — насмешливо подхватил феномен. — Это афоризм, но и парадокс вместе. Афоризм сам по себе, парадокс в устах феномена... Ха-ха! Это правда... Феномен тоже человек, и он менее всего создан для полёта...

Он остановился, в глазах его мелькнуло что-то странное, — они как будто затуманились...

— И для счастья тоже... — прибавил он тише, как будто про себя. Но тотчас же взгляд его сверкнул опять холодным открытым цинизмом,

— Га! — сказал он громко, обращаясь к долгоусому. — Делать нечего, Матвей: обойди почтенную публику ещё раз.

Долгоусый, успевший надеть свою шляпу и считавший, повидимому, представление законченным, — опять замялся. Повидимому, несмотря на сильно помятую фигуру и физиономию, не внушавшую ни симпатии, ни уважения, — в этом человеке сохранялась доля застенчивости. Он нерешительно смотрел на феномена.

— Ты глуп! — сказал тот жёстко. — Мы получили с уважаемых господ за афоризм, а тут оказался ещё парадокс... Надо получить и за парадокс... За парадокс, почтенные господа!.. За парадокс бедному шляхтичу-феномену, который кормит ногами многочисленное семейство...

Шляпа обошла ещё раз по крыльцу и по двору, который к тому времени наполнился публикой чуть не со всего переулка.

IV

После обеда я стоял на крыльце, когда ко мне подошёл брат.

— Знаешь что, — сказал он, — этот... феномен... ещё здесь.

— Где?

— В людской. Мама позвала их обоих обедать... И долгоусый тоже. Он его кормит с ложки...

В эту самую минуту из-за угла нашего дома показалась худощавая и длинная фигура долгоусого. Он шел, наклонясь, с руками назад, и тащил за собою тележку, в которой сидел феномен, подобравши ноги. Проезжая мимо флигелька, где жил военный доктор, — он серьёзно поклонился по направлению к окну, из которого поыхивал по временам синий дымок докторской трубки, и сказал долгоусому: «Ну, ну, скорее!» Около низких окон Уляницкого, занавешенных и уставленных геранью, он вдруг зашевелился и крикнул:

— До свиданья, благодетель... Я знаю прошедшее, настоящее и будущее, как пять пальцев моей правой руки... которой у меня, впрочем, нет... ха-ха! Которой у меня нет, милостивый мой благодетель... Но это не мешает мне знать прошедшее, настоящее и будущее!

Затем тележка выкатилась за ворота...

Как будто сговорившись, мы с братом бегом обогнули флигель и вышли на небольшой задний дворик за домами. Переулок, обогнув большой дом, подходил к этому месту,

я мы могли здесь ещё раз увидеть феномена. Действительно, через полминуты в переулке показалась долговязая фигура, тащившая тележку. Феномен сидел, опустившись. Лицо у него казалось усталым, но было теперь проще, будничнее и приятнее.

С другой стороны, навстречу, в переулок вошёл старый нищий, с девочкой лет восьми. Долгоусый кинул на нищего взгляд, в котором на мгновение отразилось беспокойство, но тотчас же он принял беззаботный вид, стал беспечно глядеть по верхам и даже как-то некстати и фальшиво затянул вполголоса песню. Феномен наблюдал все эти наивные эволюции товарища, и глаза его искрились саркастической усмешкой.

— Матвей! — окликнул он, но так тихо, что долгоусый только прибавил шаг.

— Матвей!

Долгоусый остановился, посмотрел на феномена и как-то просительно произнёс:

— А! Ей-богу, глупство!..

— Доставай, — кратко сказал феномен.

— Ну!

— Доставай.

— Ну-у? — совсем жалобно протянул долгоусый, однако, полез в карман.

— Не там, — сказал холодно феномен. — Сороковец доктора у тебя в правом кармане... Дедушка, постой на минуту.

Нищий остановился, снял шляпу и уставился на него своими выцветшими глазами. Долгоусый, с видом человека, смертельно оскорблённого, достал серебряную монету и кинул в шляпу старика.

— Дьявол вас тут носит, дармоедов, — пробормотал он, принимаясь опять за дышло. Нищий кланялся, держа шляпу в обеих руках. Феномен захохотал, откинув голову назад... Тележка двинулась по переулку, приближаясь к нам.

— А ты сегодня в добром гуморе, — угрюмо и язвительно сказал долгоусый.

— А что? — с любопытством сказал феномен.

— Так... пишешь приятные афоризмы и раздаёшь голодранцам по сороковцу... Какой, подумают люди, счастливец!

Феномен захохотал своим резким смехом, от которого у меня что-то прошло по спине, и потом сказал:

— Ха! Надо себе позволить иногда... притом же ничего не потеряли... Ты видишь, и приятные афоризмы иногда

делают сбор. У тебя две руки, но твоя голова ничего не стоит, бедный Матвей!.. Человек создан для счастья, только счастье не всегда создано для него. Понял? У людей бывают и головы, и руки. Только мне забыли приклеить руки, а тебе по ошибке поставили на плечи пустую тыкву... Ха! Это неприятно для нас, однако, не изменяет общего правила...

Под конец этой речи неприятные ноты в голосе феномена исчезли, и в лице появилось то самое выражение, с каким он писал для меня афоризм. Но в эту минуту тележка поровнялась с тем местом, где мы стояли с братом, держась руками за балясины палисадника и уткнув лица в просветы. Заметив нас, феномен опять захохотал неприятным смехом.

— А! Лоботрясы! Пришли ещё раз взглянуть на феномена бесплатно? Вот я вас тут! У меня есть такие же племянники, я кормлю и секу их ногами... Не хотите ли попробовать?.. Это очень интересно. Ха-ха-ха! Ну, бог с вами, не трону... Человек создан для счастья. Афоризм и парадокс вместе, за двойную плату... Кланяйтесь доктору от феномена и скажите, что человеку надо кормиться не тем, так другим, а это трудно, когда природа забыла приклеить руки к плечам... А у меня есть племянники, настоящие, с руками... Ну, прощайте и помните: человек создан для счастья...

Тележка покатила, но уже в конце переулка феномен ещё раз повернулся к нам, кивнул головой кверху, на птицу, кружившуюся высоко в небе, и крикнул ещё раз: — Создан для счастья. Да, создан для счастья, как птица для полёта.

Затем он исчез за углом, а мы с братом долго ещё стояли, с лицами между балясин, и смотрели то на пустой переулок, то на небо, где, широко раскинув крылья, в высокой синеве, в небесном просторе, вся залитая солнцем, продолжала кружиться и парить большая птица...

А потом мы пошли опять в свой угол, добыли удочки и принялись было в молчании поджидать серебристую рыбу в загнившей бадье...

Но теперь это почему-то не доставляло нам прежнего удовольствия. От бадьи несло вонью, её глубина потеряла свою заманчивую таинственность, куча мусора, как-то скучно освещённая солнцем, как бы распалась на свои составные части, а кузов казался дрянной старой рухлядью...

Ночью оба мы спали плохо, вскрикивали и плакали без причины. Впрочем, причина была: в дремоте обоим нам

являлось лицо феномена и его глаза, то холодные и циничные, то подёрнутые внутренней болью.

Мать вставала и крестила нас, стараясь этим защитить своих детей от первого противоречия жизни, острой занозой вонзившегося в детские сердца и умы...

1894 г.

МОЁ ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО С ДИККЕНСОМ

I

Первая книга, которую я начал читать по складам, а дочитал до конца уже довольно бегло, был роман польского писателя Корженевского, — произведение талантливое и написанное в хорошем литературном тоне. Никто после этого не руководил выбором моего чтения, и одно время оно приняло пестрый, случайный, можно даже сказать, авантюристский характер.

Я следовал в этом за моим старшим братом.

Он был года на 2½ старше меня. В детстве это разница значительная, а брат был в этом отношении честолюбив. Стремясь отгородиться всячески от «детей», он присвоил себе разные привилегии. Во-первых, завел тросточку, с которой расхаживал по улицам, размахивая ею особенным образом. Эта привилегия была за ним признана. Старшие смеялись, но тросточки не отнимали. Было несколько хуже, что он запасся также табаком и стал приучаться курить тайком от родителей, но при нас, младших. Из этого, положим, ничего не вышло: его тошнило, и табак он хранил больше из тщеславия. Но когда отец как-то узнал об этом, то сначала очень рассердился, а потом решил: «Пусть малый лучше читает книги». Брат получил «два злотых» (30 коп.) и подписался на месяц в библиотеке пана Буткевича, торговавшего на Киевской улице бумагой, картинками, нотами, учебниками, тетрадами, а также дававшего за плату книги для чтения. Книг было не очень много и больше всё товар по тому времени ходкий: Дюма, Евгений Сю, Купер, Тайны разных дворов и, кажется, уже тогда знаменитый Рокамболь...

Брат и этому своему новому праву придавал характер привилегии. Когда я однажды попытался заглянуть в книгу, оставленную им на столе, он вырвал ее у меня из рук и сказал:

— Пошёл! Тебе ещё рано читать романы.

После этого я лишь тайком, в его отсутствие, брал книги и, весь настороже, глотал страницу за страницей.

Это было странное, пёстрое и очень пряное чтение. Некогда было читать сплошь, приходилось знакомиться с завязкой и потом следить за нею в разбивку. И теперь многое из прочитанного тогда представляется мне, точно пейзаж под плывущими туманами. Появляются, точно в прогалинах, ярко светящиеся островки и исчезают... Д'Артаньян, выезжающий из маленького городка на смешной кляче, фигуры его друзей мушкетеров. убийство королевы Марго, некоторые злодейства иезуитов из Сю... Все эти образы появлялись и исчезали, вспугнутые шагами брата, чтобы затем возникнуть уже в другом месте (в следующем томе), без связи в действии, без определившихся характеров. Поединки, нападения, засады, любовные интриги злодейства и неизбежное их наказание. Порой мне приходилось расставаться с героем в самый критический момент, когда его насквозь пронзали шпагой, а между тем, роман ещё не был кончен и, значит, оставалось место для самых мучительных предположений. На мои робкие вопросы — ожил ли герой и что случилось с его возлюбленной в то время, когда он влачил жалкое существование со шпагой в груди, — брат отвечал с суровой важностью:

— Не трогай моих книг! Тебе ещё рано читать романы.

И прятал книги в другое место.

Через некоторое время, однако, ему надоело бегать в библиотеку, и он воспользовался ещё одной привилегией своего возраста: стал посылать меня менять ему книги...

Я был этому очень рад. Библиотека была довольно далеко от нашего дома, и книга была в моём распоряжении на всём этом пространстве. Я стал читать на ходу...

Эта манера придавала самому процессу чтения характер своеобразный и, так сказать, азартный. Сначала я не умел примениться как следует к уличному движению, рисковал пропасть под извозчиков, натыкался на прохожих. До сих пор помню солидную фигуру какого-то поляка с седыми подстриженными усами и широким лицом, который, когда я ткнулся в него, взял меня за воротник и с насмешливым любопытством рассматривал некоторое время, а потом отпустил с какой-то подходящей сентенцией. Но со временем я отлично выучился лавировать среди опасностей, издали замечая через обрез книги ноги встречаемых... Шёл я медленно, порой останавливаясь за углами,

жадно следя за событиями, пока не подходил к книжному магазину. Тут я наскоро смотрел развязку и со вздохом входил к Буткевичу. Конечно, пробелов оставалось много. Рыцари, разбойники, защитники невинности, прекрасные дамы — всё это каким-то вихрем, точно на шабаше, мчалось в моей голове под грохот уличного движения и обрывалось бессвязно, странно, загадочно. дразня, распаяя, но не удовлетворяя воображение. Из всего «Кавалера De maison rouge» я помнил лишь то, как он, переодетый яacobинцем, отсчитывает шагами плиты в каком-то зале и в конце выходит из-под эшафота, на котором казнили прекраснейшую из королев, с платком, обагрённым её кровью. К чему он стремился и каким образом попал под эшафот, я не знал очень долго.

Думаю, что это чтение принесло мне много вреда, пролагая в голове странные и ни с чем несообразные извилины приключений, затушёвываая лица, характеры, приучая к поверхностности...

II

Однажды я принёс брату книгу, кажется, сброшюрованную из журнала, в которой, перелистывая дорогой, я не мог привычным глазом разыскать обычную нить приключений. Характеристика какого-то высокого человека, сурового, неприятного. Купец. У него контора, в которой «привыкли торговать кожами, но никогда не вели дел с женскими сердцами»... Мимо! Что мне за дело до этого неинтересного человека! Потом какой-то дядя Смоль ведёт странные разговоры с племянником в лавке морских принадлежностей. Вот, наконец... старуха похищает девочку, дочь купца. Но и тут всё дело ограничивается тем, что нищенка снимает с неё платье и заменяет лохмотьями. Она приходит домой, её поят тёпленьким и укладывают в постель. Жалкое и неинтересное приключение, к которому я отнёсся очень пренебрежительно: такие ли приключения бывают на свете. Книга внушила мне решительное предубеждение, и я не пользовался случаями, когда брат оставлял её.

Но вот однажды я увидел, что брат, читая, расхохотался, как сумасшедший, и потом часто откидывался, смеясь, на спинку раскачиваемого стула. Когда к нему пришли товарищи, я завладел книгой, чтобы узнать, что же такого смешного могло случиться с этим купцом, торговавшим кожами,

Некоторое время я бродил ощупью по книге, шаткаясь, точно на улице, на целые вереницы персонажей, на их разговоры, но ещё не схватывая главного: струи диккенсовского юмора. Передо мной промелькнула фигурка маленького Павла, его сестры Флоренсы, дяди Смоля, капитана Тудля с железным крючком вместо руки... Нет, всё ещё неинтересно... Тут с его любовью к жилетам... Дурак... Стоило ли описывать такого болвана?..

Но вот, перелистав смерть Павла (я не любил описания смертей вообще), я вдруг остановил свой стремительный бег по страницам и застыл, точно заколдованный:

«— Завтра поутру, мисс Флой, папа уезжает...»

— Вы знаете, Сусанна, куда он едет? — спросила Флоренса, опустив глаза в землю».

Читатель, вероятно, помнит дальше! Флоренса тоскует о смерти брата. Мистер Домби тоскует о сыне... Мокрая ночь. Мелкий дождь печально дребезжал в заплаканные окна. Зловещий ветер пронзительно дул и стонал вокруг дома, как будто ночная тоска обуяла его. Флоренса сидела одна в своей траурной спальне и заливалась слезами. На часах башни пробило полночь...

Я не знаю, как это случилось, но только с первых строк этой картины, — вся она встала передо мной, как живая, бросая яркий свет на всё, прочитанное урывками до тех пор.

Я вдруг живо почувствовал и смерть незнакомого мальчика, и эту ночь, и эту тоску одиночества и мрака, и уединение в этом месте, обвеянном грустью недавней смерти... И тоскливое падение дождевых капель, и стон, и завывание ветра, и болезненную дрожь чахоточных деревьев... И страшную тоску одиночества бедной девочки и сурового отца. И её любовь к этому сухому, жёсткому человеку, и его страшное равнодушие...

Дверь в кабинет отворена... не более, чем на ширину волоса, но всё же отворена... а всегда он запирался. Дочь с замирающим сердцем подходит к щели. В глубине мерцает лампа, бросающая тусклый свет на окружающие предметы. Девочка стоит у двери. Войти или не войти? Она тихонько отходит. Но луч света, падающий тонкой нитью на мраморный пол, светил для неё лучом небесной надежды. Она вернулась, почти не зная, что делает, ухватилась руками за половинки приотворенной двери и... вошла.

Мой брат зачем-то вернулся в комнату, и я едва успел выйти до его прихода. Я остановился и ждал. Возьмёт книгу? И я не узнаю сейчас, что будет дальше. Что сде-

ласт этот суровый человек с бедной девочкой, которая идёт вымалывать у него капли отцовской любви. Оттолкнёт? Нет, не может быть. Сердце у меня билось болезненно и сильно. Да, не может быть. Нет на свете таких жестоких людей. Наконец, ведь это же зависит от автора, и он не решится оттолкнуть бедную девочку опять в одиночество этой жуткой и страшной ночи... Я чувствовал страшную потребность, чтобы она встретила, наконец, любовь и ласку. Было бы так хорошо... А если?

Брат выбежал в шапке, и вскоре вся его компания прошла по двору. Они шли куда-то, вероятно надолго. Я кинулся опять в комнату и схватил книгу.

«...Ее отец сидел за столом в углублении кабинета и приводил в порядок бумаги... Пронзительный ветер завывал вокруг дома... Но ничего не слышал мистер Домби. Он сидел, погружённый в свою думу, и дума эта была тяжелее, чем лёгкая поступь робкой девушки. Однако, лицо его обратилось на неё, суровое, мрачное лицо, которому догорающая лампа сообщила какой-то дикий отпечаток. Угрюмый взгляд его принял вопросительное выражение.

— Папа! Папа! Поговори со мной...

Он вздрогнул и быстро вскочил со стула.

— Что тебе надо? Зачем ты пришла сюда?

Флоренса видела: он знал — зачем? Яркими буквами пламенела его мысль на диком лице... Жгучею стрелой впиалась она в отверженную грудь и вырвала из неё протяжный замирающий крик страшного отчаяния.

Да припомнит это мистер Домби в грядущие годы. Крик его дочери исчез и замер в воздухе, но не исчезнет и не замрёт в тайниках его души. Да припомнит это мистер Домби в грядущие годы!..»

Я стоял с книгой в руках, ошеломлённый и потрясённый и этим замирающим криком девушки, и вспышкой гнева, и отчаяния самого автора... Зачем же, зачем он написал это?.. Такое ужасное и такое жестокое. Ведь он мог написать иначе... Но нет. Я почувствовал, что он не мог, что было именно так, и он только видит этот ужас и сам так же потрясён, как и я... И вот, к замирающему крику бедной одинокой девочки, присоединяется отчаяние, боль и гнев его собственного сердца...

И я повторял за ним с ненавистью и жадной мщенья: да, да, да! Он припомнит, непременно, непременно припомнит это в грядущие годы...

Эта картина сразу осветила для меня, точно молния, все обрывки, так безразлично мелькавшие при поверхностном

чтении. Я с грустью вспомнил, что пропустил столько времени... Теперь я решил использовать остальное: я жадно читал ещё часа два, уже не отрываясь до прихода брата... Познакомился с милой Полли, кормилицей, ласкавшей бедную Флоренсу, с больным мальчиком, спрашивавшим на берегу, о чём говорит море, с его ранней большой детской мудростью... И даже влюблённый Тутс показался мне уже не таким болваном... Чувствуя, что скоро вернётся брат, я нервно глотал страницу за страницей, знакомясь ближе с друзьями и врагами Флоренсы... И на заднем фоне всё время стояла фигура мистера Домби, уже значительная потому, что обречённая ужасному наказанию. Завтра на дороге я прочту о том, как он, наконец, «вспомнит в грядущие годы»... Вспомнит, но, конечно, будет поздно... Так и надо!..

Брат ночью дочитывал роман, и я слышал опять, как он то хохотал, то в порыве гнева ударял по столу кулаком...

III

Наутро он мне сказал:

— На вот, снеси. Да смотри у меня: недолго.

— Слушай, — решился я спросить, — над чем ты так смеялся вчера?..

— Ты ещё глуп и всё равно, — не поймёшь... Ты не знаешь, что такое юмор... Впрочем, прочти вот тут... Мистер Тутс объясняется с Флоренсой, и то и дело погружается в кладезь молчания...

И он опять захохотал заразительно и звонко.

— Ну, иди. Я знаю; ты читаешь на улицах, и евреи называют тебя уже мешигинер¹. При том же тебе ещё рано читать романы. Ну, да этот, если поймёшь, можно. Только всё-таки смотри, не ходи долго. Через полчаса быть здесь! Смотри, я записываю время...

Брат был для меня большой авторитет, но всё же я знал твёрдо, что не вернусь ни через полчаса, ни через час. Я не предвидел только, что в первый раз в жизни устрою нечто вроде публичного скандала...

Привычным шагом, но медленнее обыкновенного отправился я вдоль улицы, весь погруженный в чтение, но тем не менее искусно лавируя по привычке среди встречных. Я останавливался на углах, садился на скамейки, где они были у ворот, машинально подымался и опять брёл дальше, уткнувшись в книгу. Мне уже трудно было попреж-

¹ Мешигинер — сумасшедший. — Прим. ред.

нему следить только за действием по одной ниточке, не оглядываясь по сторонам и не останавливаясь на второстепенных лицах. Всё стало необыкновенно интересно, каждое лицо зажило своею жизнью, каждое движение, слово, жест врезывались в память. Я невольно захохотал, когда мудрый капитан Бенсби, при посещении его корабля изящной Флоренсой, спрашивает у капитана Тутля: — Товарищ, чего хотела бы хлебнуть эта дама? — Потом разыскал объяснение влюблённого Тутса, выпаливающего залпом: — Здравствуйте, мисс Домби, здравствуйте. Как ваше здоровье, мисс Домби? Я здоров, слава богу, мисс Домби, а как ваше здоровье?..

После этого, как известно, юный джентльмен сделал весёлую гримасу, но, находя, что радоваться нечему, испустил глубокий вздох, а рассудив, что печалиться не следовало, сделал опять весёлую гримасу и, наконец, опустился в клдезь молчания, на самое дно...

Я, как и брат, расхохотался над бедным Тутсом, обратив на себя внимание прохожих. Оказалось, что провидение, руководству которого я вручал свои беспечные шаги на довольно людных улицах, привело меня почти к конгпу пути. Впереди виднелась Киевская улица, где была библиотека. А я в увлечении отдельными сценами ещё далеко не дошёл до тех «грядущих годов», когда мистер Домби должен вспомнить свою жестокость к дочери...

Вероятно, ещё и теперь недалеко от Киевской улицы, в Житомире, стоит церковь св. Пантелеймона (кажется, так). В то время между каким-то выступом этой церкви и соседним домом было углубление, вроде ниши. Увидя этот затишный уголок, я зашёл туда, прислонился к стене и... время побежало над моей головой... Я не замечал уже ни уличного грохота, ни тихого полёта минут. Как зачарованный, я глотал сцену за сценой, без надежды дочитать сплошь до конца и не в силах оторваться. В церкви ударили к вечерне. Прохожие порой останавливались и с удивлением смотрели на меня в моём убежище... Их фигуры досадливыми неопределёнными пятнами рисовались в поле моего зрения, напоминая об улице. Молодые евреи — народ живой, юркий и насмешливый — кидали иронические замечания и о чём-то назойливо спрашивали. Одни проходили, другие останавливались... Кучка росла.

Один раз я вздрогнул. Мне показалось, что прошёл брат торопливой походкой и размахивая тросточкой... «Не может быть», — утешил я себя, но всё-таки стал быстрее перелистывать страницы... Вторая женитьба мистера Дом-

би... Гордая Эдифь... Она любит Флоренсу и презирает мистера Домби. Вот, вот, сейчас начнётся... «Да вспомнит мистер Домби...»

Но тут моё очарование было неожиданно прервано: брат, успевший сходить в библиотеку и возвращавшийся оттуда в недоумении, не найдя меня, обратил внимание на кучку еврейской молодёжи, столпившейся около моего убежища. Ещё не зная предмета их любопытства, он протолкался сквозь них и... Брат был вспыльчив и считал нарушенными свои привилегии. Поэтому он быстро вошёл в мой приют и схватил книгу. Инстинктивно я старался удержать её, не выпуская из рук и не отрывая глаз... Зрители шумно ликовали, оглашая улицу хохотом и криками...

— Дурак! Сейчас закроют библиотеку, — крикнул брат и, выдернув книгу, побежал по улице. Я в смущении и со стыдом последовал за ним, ещё весь во власти прочитанного, провожаемый гурьбой еврейских мальчишек. На последних, торопливо переброшенных страницах передо мной мелькнула идиллическая картина: Флоренса замужем. У неё мальчик и девочка, и... какой-то седой старик гуляет с детьми и смотрит на внучку с нежностью и печалью...

— Неужели... они помирились? — спросил я у брата, которого встретил на обратном пути из библиотеки, довольного, что ещё успел взять новый роман и, значит, не остался без чтения в праздничный день. Он был отходчив и уже только смеялся надо мной.

— Теперь ты уже окончательно мешигинер... Приобрёл прочную известность... Ты спрашиваешь: простила ли Флоренса? Да, да... Простила. У Диккенса всегда кончается торжеством добродетели и примирением.

Диккенс... Детство неблагоприятно: я не смотрел фамилию авторов книг, которые доставляли мне удовольствие, но эта фамилия, такая серебристо-звонкая и приятная, сразу запала мне в память...

Так вот, как я впервые, — можно сказать на ходу, — познакомился с Диккенсом...

